

ЗНАМЯ

МЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

4 72

0175613.

1942

9

ЗНАМЯ

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СЕНТЯБРЬ

КНИГА ДЕВЯТАЯ

ОГИЗ

МОСКВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1942

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
А. ТВАРДЗВСКИЙ — Василий Теркин, поэма	3
Л. СОЛОВЬЕВ — Черноморец, повесть	24
Стихи: Е. ШЕВЕЛЕВА — Пыль земли; ИВАН НЕХИДА — Все равно победим; И. ФЕФЕУ — Клятва бойца	96
М. ПЛАТОШКИН — Дядя Мила, рассказ	98
Стихи: Л. КАХИЕВ — Песни войны; АН. ТАРАСЕНКОВ — Артобстрел	108
А. ЕРУСАЛИМСКИЙ — Письма из Ирана	110
С ФРОНТА	
НИКОЛАЙ СТАРЖИЧ — Десантники	128
АЛЕСЬ КУЧАР — На партизанской земле	152
НА ВОЕННЫЕ ТЕМЫ	
А. В. ГОЛУБЕВ — Лето 1942 года	163
К. ОСИЛОВ — Кутузов	171
* * *	
Н. КОМОВСКАЯ — Сказка в госпитале	181
Р. МИЛЛЕР-БУДНИЦКАЯ — Утверждение жизни	190

А. ТВАРДОВСКИЙ
ВАСИЛИИ ТЕРКИН

Книга про бойца

На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода,
Лучше нет простой, природной,—
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки какой угодно,
Из ручья, из-под льда,—
Лучше нет воды холодной—
Лишь вода была б вода.

На войне, в быту суровом,
В трудной жизни боевой,
На снегу, под хвойным кровом,
На столышке полевой,—
Лучше нет простой, здоровой,
Доброй нищи фронтовой.
Важно только, чтобы повар,
Был бы повар—парень свой.

Чтобы числился не даром,
Чтоб подчас не спал ночей—
Лишь была б она с разгару,
Да была б она с наваром,
Да была бы с пылу, с жару,—
Подобрей, погорячей.

Чтоб идти в любую драку,
Силу чувствуя в плечах,
Бодрость чувствуя. Однако
Дело тут не только в щак...

Жить без нищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутой

Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.

Не прожить, как без махорки.
От бомбежки до другой
Без хорошей поговорки
Или присказки какой.
Без тебя, Василий Теркин,
Вася Теркин—мой герой.

А всего много пуше,
Не прожить наперьяка—
Без чего? Без правды суней,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька...

Что ж еще? И все, пожалуй
Словом, книга про бойца.
Без начала, без конца.

Почему так—без начала?
Потому что срока мало
Начинать ее сначала.
Почему же без конца?
Просто жалко молодца.

С первых дней години горькой,
В тяжкий час земли родной,
Не шутя, Василий Теркин,
Подружались мы с тобой.

Я забыть того не вправе,
Чем твоей обязан славе,
Чем и где помог ты мне.

Делу время, час забаве,
Дорог Теркина на войне.

Как же вдруг его покину?
Старой дружбы верю счет
Словом, мину с середины
И начнем. А там пойдет.

1. НА ПРИВАЛЕ

— Дельный, что и говорить,
Был старик тот самый,
Что придумал суп варить
На колесах прямо.

Суп — во-первых. Во-вторых —
Кашу в норму прочной.
Нет, старик, он был старик
Чуткий, — это точно.

Слышь, подкивь еще одну
Ложечку такую,
Я вторую, брат, войну
На веку войну.

Что мне завтра предстоит,
Это неизвестно,
Только я свой аппетит
Не забыл под Брестом.

Оцеш, добавь чуток...
Покосился повар:
«Ничего себе едок,
Парень этот новый».

Ложку лишнюю кладет,
Может не сердито:
— Вам бы, знаете, во флот
С валивым аппетитом.

Тот:— Спасибо. Я как раз
Не бывал во флоте,
Мне бы лучше, вроде вас,
Поваром в пехоте.

И, усевшись под сосной,
Снова вспомнил: да, мол,
Не старик — отец родной
Был старик тот самый...

С мелкой каплей дождевой
Кашу ест, сутулясь,
«Свой?» — бойцы между собой, —
«Свой!» — переглянулись.

И уже, пригревшись, опал
Крепко полк усталый,
В первом взводе сон пропал,
Вопреки уставу.

Прислонясь к стволу сосны,
Морщась от махорки,
На войне насчет войны
Вел беседу Теркин.

— Вам, ребята, с середины
Начинать. А я скажу:
Я не первые ботинки
Без починки здесь пошу.

Вот вы прибыли на место,
Ружья в руки — и войну!
А кому из вас известно,
Что такое сабантуй?

— Сабантуй — какой-то праздник?
Или что там — сабантуй?
— Сабантуй бывает разный,
А не знаешь, — не толкуй.

Вот под первого бомбежкой
Полежишь с охоты в лежку,
Жив остался — не горюй:
Это — малый сабантуй.

Отдыхишь, покушай плотно,
Закури и в ус не дуй.
Хуже, брат, как мнимостный
Вдруг начнется сабантуй.

Тот поймет тебя поглубь, —
Землю-матушку целуй.
Но, имей в виду, голубчик,
Это — средний сабантуй.

Сабантуй — тебе наука,
Враг лютует — сам лютуй.
Но совсем иная штука
Это — главный сабантуй.

Парень смолкнул на минуту,
Чтоб прочистить мундштучок,
Словно исподволь кому-то
Подмигнул: держись, дружок...

— Вот ты выпел спозаранку,
Глянул,— в пот тебя и в дрожь...
Прет немецких тыща танков...
— Тыща танков? Ну, брат, врешь!

— А с чего мне врать, дружище?
Рассуди, какой расчет?
— Но зачем же сразу — тыща?
— Хорошо. Пускай пятьсот.

— Ну, пятьсот. Скажи по чести,
Не пугай, как старых баб.
— Ладно. Что там триста, двести —
Повстречай один хотя б...

— Что ж, в газетке лозунг точен:
Не беги в кусты да в хлеб.
Он-то с виду грозен очень,
А на деле глух и слеп.

— То-то слеп. Лежишь в канаве,
А на сердце маята:
Вдруг как сослепу задавит,—
Ведь не видит ни черта...

Повторить согласен слова:
Что не знаешь — не толкуй.
Сабантуй — одно лишь слово —
Сабантуй. Но сабантуй

Может в голову ударить
Или, попросту, в башку.
Вот у нас один был парень...
Дайте, что ли, табачку...

Балагуру смотрят в рот,
Слово ловят жапо.
Хорошо, когда кто бред
Весело и складно.

В стороне лесной, глухой,
При злхой погоде
Хорошо, как есть такой
Парень на походе.

Хорошо — кому к лицу
Вздор незаметливый,
Хорошо, когда в лесу —
Дом тебе родимый...

И несмело у него
Просят: — Ну-ка, на почь
Расскажи еще чего,
Василий Иванович...

Ночь глуха, земля сыра,
Чуть костер дымится...
— Ну, ребята, спать пора,
Начинай стелиться.

К рукаву прижав лицом,
На пригретом взгорке
Меж товарищей-бойцов
Лег Василий Теркин.

Тяжела, мокра шинель,
Дождь работал добрый.
Крыша — небо, хата — слъ,
Корни жмут под ребра.

Но не видно, чтобы он
Удручен был этим,
Чтобы сон ему не в сон
Где-нибудь на свете.

Вот он шолы подтянул,
Укрывая спину,
Чью-то тепу помянул,
Печку и перину.

И припник к земле сырой,
Одолен истомой,
И лежит он, мой герой,
Спит себе, как дома.

Спит — хоть голоден, хоть сыт,
Хоть один, хоть в куче.
Спать за прежний педосыл,
Спать в запас научен.

И едва ль герою снится
Всякой ночью тяжкий сон,
Как от западной границы
Отступал к востоку он.

Как прошел он, Вася Теркин,
Из запаса рядовой,
В проселочной гимнастерке
Сотни верст земли родной.

До чего земля большая,
Величайшая земля!
И была б она чужая,
Чья-нибудь. А то — своя.

Спит герой, храпит — п точка.
Принимает все, как есть.
Ну, своя — так это ж точно.
Ну, война — так я же здесь.

Спит, забыв о трудном лете.
Сон, забота, не бунтуй.
Может, завтра на рассвете
Будет новый сабантуй.

Спят бойцы, как сон застал,
Под сосною вползат.
Часовые на постах
Мокнут одиноко.

Эти не видно. Ночь вокруг.
И бойцу взгрустнется.
Только что-то вспомнит вдруг,
Вспомнит, усмехнется.

И как будто сон пропал,
Смех пропал зевоту...
— Хорошо, что он попал,
Теркин, в нашу роту...

* * *

Теркин — кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он, обыкновенный.

Впрочем, парень хоть куда.
Парень в этом роде
В каждой роте есть всегда,
Да и в каждом взводе.

И чтоб знали, чем силен,
Скажем откровенно:
Красотой паделен
Не был он отменной.

Не высок, не то, чтоб мал,
Но герой — героем,
На Карельском воевал,
За рекой Сестрою.

И не знаем, почему, —
Спрашивать не стали, —
Почему тогда ему
Не дали медали.

С этой темы повернем,
Скажем, для порядка:
Может, в списке наградном
Вышла опечатка.

Не гляди, что на груди,
А гляди, что впереди!

С прошлогодного июля
Слова Теркина на войне.
— Видно, бомба или пуля
Не наплась еще по мне.

Был штыком задет в атаке —
Зажгло, как на собаке.
Трижды был я окружен,
Трижды — вот он! — вышел вон.

И хоть было беспокойно —
Оставался невредим
Под косым и под трехслойным,
Под навесным и прямым...

И не раз в пути привычном,
У дорог, в пыли колонны,
Был рассеян я частично,
А частично истреблен.

Но, однако,
Жив вояка!
Бь кухне с места, с места в бой.
Курит, ест и пьет со вкусом
На позиции любой.

Как ни трудно, как ни худо —
Не славай, вперед гляди.

Это присказка повуда,
Сказка будет впереди.

II. ПЕРЕД БОЕМ

— Доложу хотя бы вкратце,
Как пришлось нам в счет войны
С тыла к фронту пробираться
С той, с немецкой стороны.
Как с немецкой, с той, варяжской
Стороны, как говорят,
Вслед за властью за советской,
Вслед за фронтом шел наш брат..

Шел наш брат, худой, голодный,
Потерявший связь и часть,
Шел по-ротню и по-вздоно,
И компаней свободной,
И один, как перст, подчас.

Полям шел, лесною кромкой,
Избегая лишних глаз,
Подходил к селу в потемках,
И служил ему котомкой
Боевой противогаз.

Шел он, серый, бородатый,
И, цепляясь за порог,
Заходил в любую хату.
Словно чем-то виноватый
Перед ней. А что он мог.

И по горькой той привычке,
Как в пути велела честь,
Он просил сперва водички,
А потом просил поесть.

Тетка — где ж она откажет, —
Хоть какой, а все же ты свой,
Ничего тебе не скажет,
Только всхлипнет над тобой.

Только молвит, провожая:
— Вернитесь дай вам бог!..

То была печаль большая,
Как брели мы на восток...

Шли худые, или босые
В неизвестные края:
Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя?

Шли, однако. Шел и я...

Я дорогою постылой
Пробирался не один.
Человек нас десять было,
Были у нас и командир.

Из бойцов. Мужичина дельный.
Местность эту знал вокруг.
Я ж, как более идейный,
Были там как бы политрук...

Шли бойцы за нами следом,
Цепляя пленный край,
И одну политбеседу
Повторял: — Не унывай!

Не зарвемся, так прорвемся,
Будем живы — не помрем.
Срок придет, назад вернемся,
Что отдали — все вернем.

Самого б меня спросили,
Ровно столько знал и я:
Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя?

Командир шагал упрямо,
Тоже, исподволь смотро,
Что-то он все думал, думал...
— Брось ты думать, — говорю.

Говорю ему душевно
Он в ответ и молвит вдруг:
— По пути моя деревня,
Что ты скажешь, политрук?

Раз деревня по дороге,
Раз душа застыла в нем, —
Тут какой бы ни был строгий,
А сказал бы ты: — Зайдем...

И, дождавшись ночи поздней,
Огородом, коноплей,
Осторожный и серьезный,
Вел он всех к себе домой.

Вот как было с нашим братом,
Что попал домой с войны:
Заходи в родную хату,
Пробираясь вдоль стены.

Знай вперед, что толку мало
От родимого угла,
Что война и тут ступала,
Впереди тебя прошла.

Что тебе своей побывкой
Не порадовать жену:
Забегал, поспал урывком,
Догоняй опять войну.

А кому оно по силе:
То — война, а то — семья.
Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя?..

Вот хозяин сел, разулся,
Руку правую — на стол,
Будто с мельницы вернулся,
С поля к ужину пришел.

Будто так, а все иначе.
— Ну, жена, топн-ка печь,
Всем довольствием горячим
Мне команду обеспечить.

Дети спят. Жена хлопочет
В торыльи, грустный праздник свой.
Как ни мало этой ночи,
А и та не ей одной.

Расторопными руками
Жарит, варит поскорей,
Полотенца с пегухами
Достаёт, как для гостей.

Напоила, накормила,
Уложила на покой,
Да с такой заботой милой,
С доброй ласкою такой,

Словно мы иной порою
Запернули в этот дом,
Словно были мы герои,
И не малые пригом.

Сам хозяин, старший воин,
Что сидел среди гостей,
Вряд ли был когда доволен
Так хозяйкою своей.

Вряд ли всей она ухваткой
Хоть когда-нибудь была,
Как при этой встрече краткой
Так родна и так мила.

И болел он, парень честный,
Пошамал, отец семьи,
На кого в плену безвестном
Покидал жену с детьми...

Кончив сборы, разговоры,
Улетел в бойцы в дому.
Лег хозяин. Но не скоро
Подожла она к нему.

Тихо зыгкала посулой,
Что-то шила при огне.
А хозяин ждет оттуда,
Из угла. Неловко мне.

Все товарищи уснули,
А меня не гнет ко сну.
Дай-ка лучше в карауле
На крыльчике прижорну.

Взял шинель, да по присловью
Смастерил себе постель,
Что под низ, и в изголовье,
И на верх, — и все шинель.

Эх, суконная, казенная,
Военная шинель,
У юстра в лесу прожженная,
Отменная шинель.

Знаменитая, пробитая,
В бою огнем врага,
Да своей рукой зашита —
Кому не дорога!

Упадешь ля, как подкошенный,
Пораненный, наш брат,
На шинели той поношенной
Снесут тебя в салбат.

А убьют, так тело мертвое
Твое — с другими в ряд —
Той шинельюю потертою
Укроют — спи, солдат!

Спи, солдат. При жгущей краткой
Ни в дороге, ни в дому
Не пришлось поспать порядком
Ни с женой, ни одному.

Стук в сенях. Хозяин вышел
На крыльцо. — Ты что — попить?
Покурить? — Да шет, дровишек
Для хозяйки нарубить.

Вот не спится человеку,
Словно дома — на войне.
Зашагал на дровосеку,
Рубит хворост при луне.

Тюк да тюк. До света рубит.
Коротка солдату почь.
Знать, жепу жалест, любит,
Да не знает чем помочь.

Рубит, рубит. На рассвете
Покидает дом боцц...
А под свет проснулася дети,
Поглядят — пришел отец.

Поглядят — бойцы чужие,
Ружья, размые ремни.
И ребята, как болящие,
Словно поняли оий.

И заплакали ребята.
И подумать было тут:
Может, львице в эту хату
Немцы с ружьями войдут...

И доньна плач тот детский
В ранний час лехого дня
С той немощной, с той зарежной
Стороны зовет меня.

Я б мечтал, не ради славы,
Перед утром боевым,
Я б желал на берег правый,
Вой пройдя, вступить живым.

И скажу я без утайки,
Приведись мне там штыки,
Я хотел бы к той хозяйке
Постучаться по пути.

Попросить воды напиться —
Не затем, чтоб сесть за стол,
А затем, чтоб поклониться
Доброй женщине простой.

Про хозяйку ли спросит —
«Полагаю — жив, здоров».
Взять топор, шипелку сбросить,
Нарубить хозяйке дров.

Потому, хозяин-барин.
Ничего нам не сказал.
Может, нынче землю парит,
За которую стоял.

Впрочем, что там думать, братцы
Надо немца бить спешить.
Вот и все, что Теркин вкратце
Вам имеет доложить.

III. ПЕРЕПРАВА

Переправа, переправа!
Берег левый, берет правый.
Снег шершавый. Бровка льда...

Кому память, кому слава,
Кому темная вода, —
Ни приметы, ни следа.

Ночью, первым из колонны,
Обломав у края лед,
Погрузился на понтоны
Первый взвод.

Погрузился, оттолкнулся
И пошел. Второй за ним.
Приготовился, пригнулся
Третий следом за вторым.

Как плоты, пошли понтоны,
Громыкнул один, другой
Басовым железным тоном,
Точно крыша под ногой.

И плывут бойцы куда-то,
Притаив штыки в тени.
И совсем свои ребята
Сразу — будто не они.

Сразу будто не похожи
На своих, на тех ребят.
Как-то все дружнее и строже,
Как-то все тебе дороже
И родней, чем час назад...

Поглядеть — и впрямь ребята!
Как, по правде, желторот,
Холостой ли он, жепатый,
Этот гризевый народ.

Но уже идут ребята,
На войне живут бойцы,
Как когда-нибудь в двадцатом
Их товарищи-отцы.

Тем путем идут суровым,
Что и двести лет назад
Проходил с ружьем кремневым
Русский труженник-солдат.

Мимо их висков вихрастых,
Возле их мальчишеских глаз
Смерть в бою свистела часто,
И минет ли в этот раз?..

Налегли, гребут, потея,
Управляются с шестом.
А вода ревет, правее —
Под подорванным мостом.

Вот уже на середине,
Их относит и кружит...
А вода ревет в теснине,
Жухлый лед в куски крошит,

Меж погнутых балок формы
Бьется в пене и в пыли...
А уж первый взвод, наверно,
Достает шестом земли.

Позали шумит протока,
И кругом чужая ночь.
И уже он так далеко,
Что ни крикнуть, ни помочь.

И черпает там зубчатый,
За холодной чертой,
Недоступный, непочатый
Лес пад черною водой.

Переправа, переправа!
Берег правый, как стена.
Этой ночи след кровавый
В море вынесла волна...

Было так: из тьмы глубокой
Огнешный взметнув клинок,
Луч прожектора протоку
Пересек наискосок...

И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтон — в ряд.
Густо было тут народу,
Наших стриженых ребят.

И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди — теплые, живые —
Шли на дно, на дно, на дно.

Под огнем неразбериха.
Где свои, где кто, где связь?..
Только вскоре стало тихо —
Переправа сорвалась...

Переправа, переправа!
Стужа, холод, ночь — как год...
Но вцепился в берег правый,
Там остался первый взвод.

И о нем молчат ребята
В боевом родном кругу,
Словно чем-то виноваты,
Кто на этом берегу.

Не впадать конца ночлегу,
За ночь грудю взялась
Попалам со льдом и снегом
Перемешанная грязь.

И, усталая с похода, —
Чтоб там ни было — жива, —
Дремлет, скорчившись, пехота,
Всунув руки в рукава.

Дремлет, скорчившись, пехота,
И в лесу, в ячи глухой,
Сапогами пахнет, потом,
Мерзлой хвоей и махрой.

Чутко дышит берег этот
Вместе с теми, что на том,
Под обрывом, жгут рассвета,
Греют землю животом.

Ждут рассвета, ждут подмоги,
Духом пацать не хотят.
Ночь проходит, нет дороги
Ни вперед и ни назад...

А быть может, там с полюючи
Порошит снежок им в очи
И уже давно
Он не тает в их глазницах
И пыльной лежит на лицах,—
Мертвым все равно.

Стужи, холода не слышат,
Смерть за смертью не страшна,
Хоть еще паек им пишет
Первой роты старшина.

Старшина паек им пишет,
А по почте полевой
Не быстрее идут, не тише
Письма старые домой,

Что еще ребята сами
На привале при огне
Где-нибудь в лесу писали
Друг у друга на сани...

Из Рязани, из Казани,
Из Спири, из Москвы —
Спят бойцы. Свое сказали
И уже — навеки правды.

И тверда, как камень, гряда,
Где застыли их следы...
Может так, а может — чудо!
Хоть бы знак какой оттуда —
И беда б за пол-беды.

Долги ночи, жесткие зори
В декабре — к зиме седой.
Два бойца сидят в дозоре
Над холодной водой.

То ли снится, что ли мнится —
Показалось что шиветь?

То ли швей на ресницах,
То ли выправду что-то есть?

Видят, маленькая точка
Показалась вдалеке.
То ли чурка, то ли бочка
Проплывает по реке.

— Нет, не чурка и не бочка,—
Просто глазу маята.
— Не пловец ли одиночка?
— Шутись, брат. Вода не та.

— Да, вода. Помыслить странно.
Даже рыбам холода.
— Не из наших ли вчерашних
Поднялся какой со дна?..

Оба разом присмирели.
И сказал один боец.
— Нет, он выплыл бы в шинели,
С полной выкладкой, мертвец.

Оба здорово продрогли,—
Как бы ни было — впервой...
Подосел сержант с биноклем,
Присмотрелся: — Нет, живой.

— Нет, живой. Без гимнастерки...
— А не фриц? Не к нам ли в тыл?
— Нет, а может, это Теркян? —
Кто-то робко пошутил.

— Стой, ребята, не соваться,
Толку нет спускать понтоя.
— Разрешите попытаться...
— Что пытаться? Братцы! Он!

И у заберегов корку
Ледяную обломав,
Он, как он, Василий Теркин
Встал живой, добрался вплавь.

Гладкий, голый, как из балл,
Встал, шатаясь тяжело.
Ни зубами, ни губами
Не работает — светло.

Подхватили, обвязали,
Дали валенки с ноги.

Пригрозили, приказали:
Можешь, нет ли, а беги.

Под горой, в штабной избушке,
Парня тотчас на кровать
Положили для просушки,
Стали спиртом растирать.

Растирали, растирали,
Вдруг он молчит, как во сне:
— Доктор, доктор, а нельзя ли
Изнутри погреться мне?

Чтоб не все на кожу тратить.
Дали стопку — начал жить!
Припомнился на кровати:
— Разрешите доложить...

Взвод на правом берегу
Жив-здоров, назло врагу.
Лейтенант всего лишь просит
Огоньку туда подбросить,
А уж следом за огнем
Встанем, ноги разомкнем,
Что там есть перекалечим —
Переправу обеспечим...
Доложил по форме, слово
Тотчас плыть ему назад.
— Молодец, — сказал полковник, —
Молодец! Спасибо, брат!..

И с улыбкою перобкой
Говорит тогда боец:
— А еще нельзя ли стопку,
Потому как молодец?..

Посмотрел полковник строго,
Покосился на бойца.
— Молодец, а будет много —
Сразу две!
— Так два ж конца...

И, не дрогнув даже глазом,
Сам глядит — ни дать, ни взять, —
Терпели только ждет приказа,
Чтобы тотчас выполнять...

Переправа, переправа!
Пушки бьют в крошечной мгле.
Бой идет святой и правый,
Смертный бой, но ради славы —
Ради жизни на земле.

IV. О ВОЙНЕ

✓
— После боя, кто обывек,
Так о смерти судит:
Многих наших нет в живых.
Что ж, и нас же будет.

Если можно доложить
Коротко и просто:
Я большой охотник жить
Лет до девяноста.

А война — про все забудь,
И пенять не вправе;
Собирался в дальний путь,
Да и приказ: отставить!

Грядущ год, пришел черед,
Нынче мы в ответе
За Россию, за народ,
И за все на свете.

От Ивана до Фомы,
Мертвые ль, живые,
Все мы вместе — это мы,
Тот народ. Россия.

И поскольку это мы,
То скажу вам, братцы,
Нам из этой кутерьмы
Никуда податься.

Тут не скажешь: я — не я,
Ничего не знаю,
Не докажешь, что твоя
Нынче хата с краю.

Невелик тебе расчет
Думать в одиночку.
Бомба — дура. Попадет
Сдуру прямо в точку.

На войне себя забудь,
 Смелымь будь со страха.
 Рвись до немца грудь на грудь:
 Драка — значат, драка!

И принять не премину,
 Дам свою оценку,
 Тут не то, что в старину —
 Стенкою на стенку.

Тут не то, что на кулак,
 Поглядим, чей дюже!
 Я сказал бы даже так:
 Тут гораздо хуже.

Ну, да что о том судить,
 Как, друзья, ни горько,
 Как ни что, а надо бить,
 Бить его — и только.

Раз война — про все забудь,
 И пяять не вправе;
 Собирался в дальний путь,
 Дан приказ: отставить!

Сколько жил — на том конец,
 От хлопот свободен.
 И тогда ты тот боец,
 Что для боя годен.

И пойдешь в огонь любой,
 Выполнишь задачу,
 И, глядишь, еще живой
 Будешь сам впридачу.

А застывает смертный час —
 Значит, помер вышел.
 В рифму что-нибудь про нас
 После нас паплют.

Да прикрасят, да прихврут,
 От себя добавят
 Чего не было. Но тут
 Дела не поправить.

Горевать из пустяков
 Нам не стоит, братцы.
 Го ж стихи. А от стихов
 Дети не родятся.

На могилы, рвы, канавы,
 На клубки колючки ржавой,
 На поля, холмы дырявой,
 Изувеченной земли,
 На болотный лес корявый,
 На кусты — снега легли.

И густой поземкой белой
 Востер поле заволок.
 Вьюга в трубах обгорелых
 Загудела у дорог.

И в снегах непроходимых
 Эти мирные края
 В эту памятную зиму
 Оружийным пахли дымом,
 Не людским дымком жилья.

И в лесах, на мерзлой гряде,
 По землянкам без огней,
 Возле танков и орудий
 И простуженных коней
 На войне встречали люди
 Долгий счет ночей и дней.

И лихой, нещадной стужей
 Не бравили, как ни зла.
 Лишь бы немцу было хуже, —
 О себе ли речь там шла!

И желал наш добрый парень:
 Пусть померзнет немец-барин.
 Немец-барин не привык,
 Русский стернит — он мужик...

Шумным хлопом рукавичным,
 Топотней по целине
 Спозаранку день обычный
 Начинался на войне.

Чуть видся дымок несмелый,
 Оживал костер с трудом,
 В закоштелый баб гремела
 Из ведра вода со льдом.

Утомленные почлегом,
 Шли бойцы из всех берлог

Греться бегом, мыться снегом,
Снегом жестким, как песок.

А потом — гуськом по степке,
Соблюдая свой черед,
Ботелки забрав и ложки,
К кухням шел за воевом взвод.

Суп досыта, чай до пота,
Жизнь, как жизнь.
И опять — война-работа:
— Становись!..

* * *

Вслед за рогой на опутку
Теркин движется с катушкой,
Разворачивает снасть, —
Приказали делать связь.

Рота головы пригнула,
Снег чернеет от огня.
Теркин крутит: — Тула, Тула!
Тула, слышишь ты меня?

Подмигнул бойцам украдкой, —
Мол, у нас да не пойдет!
Дунул в трубку для порядка,
Командиру подает.

Командиру неспроста, —
Голос в реточку, как смечку,
Трубку к плечу, лег бочком,
Чтоб поземкой не задуло.

Все в порядке. — Тула, Тула,
Помогите огнемком...

Не расскажешь, не опишешь,
Что за жизнь, когда в бою
За чужим огнем расслышишь
Артиллерию свою.

Воздух круто завывая,
С недалекой огневой
Ахнет, ахнет полковая,
Захочет над головой.

А с позиций отдаленных,
Сразу будто бы не в лад,

Ухнет вгрудь дивизионной
Доброй матушки снаряд.

И пойдет, пойдет на славу,
Как из горна, жаром дуть,
С воем, с визгом шепелявым
Расчищать пехоте путь,

Бить, ломать и жечь в окружку.
Деревушка? — Деревушку.
Дом — так дом. Блиндаж — блиндаж.
Врешь, не высплешь — отлашь!

А еще остался кто там,
Запорошенный песком?
Погоди, встает пехота,
Дай достать тебя штыком.

Вслед за ротою стрелковой
Теркин дальше тянет провод.
Взвод — за валом огновым,
Теркин с ходу — вслед за взводом.
Топит провод, точно в воду, —
Жив, здоров и невредим.

Вдруг из кустиков корявых,
Взрытых, вспаханных кругом, —
Чох! — снаряд за вешешкой ржавой!
Теркин тотчас в снег нычком.

Вдавясь вглубь, лежит не дышит,
Сам не знает — жив, убит?
Всей спиной, всей кожей слышит,
Как снаряд в снегу шипит...

Хвост овечий — сердце бьется,
Растается с телом дух.
Что ж он, чорт, лежит, не рвется?
Ждать мне больше недосуг.

Приподнялся, глянул кого, —
Он почти у самых ног —
Гладкий, круглый, тупоносый,
И над ним — сырой дымок...

Сколько б душ рванул на выброс
Вот такой дурак слепой,
Неизвестного калибра,
С поросенка на убой.

Оглянулся воробята,
Повалился — смех и грех:
Все кругом лежат ребята,
Закопавшись носом в снег.

Теркин встал, такой ли ухарь,
Отряхнулся, принял вид:
— Хватит, хлопцы, землю нюхать!
Не годится, — говорит.

Сам стоит с воронкой рядом
И у хлопцев на виду,
Обратясь к тому снаряду,
Справил малую нужду...

Видит Теркин погребушку, —
Не отсюда ль пушка бьет?
Передал бойцам катушку:
— Вы — вперед. А я в обход.

С ходу двинул в дверь траншеи,
Спрыгнул вниз, пропал в дыму.
— Офицеры и солдаты,
Выходи по одному!

Тишина. Полоска света.
Что там дальше — поглядим.
Никого. Похоже, пету.
Никого. И я один.

Гул разрывов, словно в бочке,
Отдается в глубине.
Дело дрянь: другие точки
Бьют по занятой. По мне.

Бьют неплохо, спору нету,
Добрым словом помяни
Хоть за то, что погреб этот
Прочно сделали они.

Прочно сделали, надежно, —
Тут не то, что воевать,
Тут, ребята, чай пить можно,
Стенгазету выпускать.

Осмотрелся: точно в хате —
Печка теплая в углу,
Вдоль стены идут полата,
Балки, склянки на полу.

Непривычный, попохожий
Дух обжитого жилья:
Табака, одежды, кожи
И солдатского белья.
Снова сунутся? Ну что же,
В обороне нынче я...

На прицеле вход и выход,
Две гранаты под рукой...
Смоле огонь. И стало тихо,
И идут — один, другой...

Теркин, стой. Дыши ровнее.
Теркин, ближе подпусти.
Теркин, целясь. Бей вернее.
Теркин. Сердце, не части.

Рассказать бы вам, ребята —
Хоть не верь глазам своим! —
Как немецкого солдата
В двух шагах видал живым.

Подходил он в чем-то белом,
Наклонившись от огня,
И, как будто дело делал,
Шел ко мне — убить меня.

В этот ровик, точно с пачки,
Стал спускаться на задку...
Теркин, друг! Не дай осечки.
Пропацень — имей в виду!

За секунду до разрыва, —
Зпать, хотел подать пример, —
Прямо в ровик sprыгнул живо
В полушубке офицер.

И поднялся, незадетый.
Цельный. Ждем за косяком.
Офицер из пистолета,
Теркин — в мягкое — штыком.

Сам присел, присел тихонько,
Повело его легонько.
Тропул правое плечо:
Ранен. Мокро. Горячо

И рукой коснулся пола. —
Кровь: чужая или своя?..

Гут как даст вблизи тяжелый —
Аж подвинулась земля.

Вслед за ним другой ударил,
И темнее стало вдруг.
Это наши, — понял парепь, —
Наши бьют, теперь каюк!

Оглушенный тяжким гулом,
Теркин движется головой.
Тула, Тула. Что ж ты, Тула?
Тут же свой боец, живой.

Он сидит за стенкой ДЗОТа,
Кровь течет, рукав набряк.
Тула, Тула, неохота
Поиграть ему вот так,

На полу, в холодной яме,
Неохота шпачем
Сдохнуть с мокрыми ногами,
Со своим большим плечом.

Жалко жизни той жестянки,
Малость хочется пожить!
Хоть погреться на лежанке,
Хоть портяжки просушить.

Теркин сник. Тоска согнула.
Тула, Тула... Что ж ты, Тула?
Тула, Тула. Это ж я...
Тула... Родина моя...

* * *

А тем часом издалёка,
Глухо, как из-под земли,
Ровный, дружный, тяжкий рокот
Надвигался, рос. С востока
Танки шли.

Низкогурлый, плоскокопный,
Отягченный сам собой,
С пушкой, в душу наведенной,
Страшен танк, идущий в бой.

А за грохотом и громом,
За броней стальной сидят,
По местам сидят, как дома,
Трое, четверо знакомых,
Наших стриженных ребят.

И пускай в бою впервые,
Но ребята — свет пройди! —
Ловят в щели смотровые
Бромку поля впереди.

Видят, вздыбился разбитый,
Развороченный накат.
— Крепко бито!
— Цель накрыта!
— Ну, а вдруг как там сидят?

Может быть, притих до срока
У орудия расчет?
Развернись машина боком —
Бронебойным прищечет?

Или снайпер с автоматом —
Лезть наружу не дурак —
Там следит за нашим братом?
Выжидаст?
— Как не так!

Двое, вслед за командиром,
Вниз — с гранатой — вдоль стены.
Тишина. Углы темны...

— Хлопцы, запята квартира!
Слышат вдруг из глубины.

Не обман, не вражки шутки,
Голос вправданский, родной.
— Пособите. Вот уж сутки
Точка данная за мной...

В темноте, в углу каморки,
На полу боец в крови.
— Кто такой?
Но смолкнул Теркин,
Как там хочешь, так зови.

Он лежит с лицом землистым,
Не моргнет, хоть глаз колд.
В самый срок его танкисты
Подобрали, повезли.

Шла машина в снежной дымке,
Ехал Теркин без дорог.
И держал его в обнимку
Хлопец, башенный стрелок.

Укрывал своей одежей,
Грел дышаньем,— не беда,
Что в глаза его, быть может,
Не увидит никогда.

Поправляйся, парень braveй,
Отдохни пока в тепле...
Без тебя идет кровавый.
Смертный бой, не ради славы —
Ради жизни на земле.

VI. О НАГАРДЕ

— Нет, ребята, я не гордый,
Не заглядывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.

На медаль. И то не к суюху.
Вот закончили б войну,
Вот бы в отпуск я приехал
На родную сторону.

Буду ль жив еще,— едва ли,
Тут войной, а не гадай.
Но скажу насчет медали:
Мне ее тогда подай.

Обеспечь — раз я достоин,
И понять вы все должны:
Дело самое простое —
Человек пришел с войны.

Вот пришел я с полуставка
В свой родимый сельсовет.
Я пришел, а тут гулянка...
Нет гулянки? Ладно, нет.

Я в другой колхоз и в третий —
Вся округа на виду.
Где-нибудь я в сельсовете
На гулянку пояду.

И, явившись на вечерку,
Хоть не гордый человек,
Я б не стал курить махорку,
А достал бы я «Казбек».

И сидел бы я, ребята,
Там как раз, друзья мои.

Где мальцом под лавку прятал
Ноги босые свои.

И дымил бы шапирасой,
Угощал бы всех вокруг
И на всякие вопросы
Отвечал бы я не вдруг.

— Как,— мол,— что?— Бывало
всяко!
— Трудно все же?— Как когда.
— Много раз ходил в атаку?
— Да, случалось иногда...

И девочки на вечерке
Позабыли б всех ребят,
Только слушали б девочки,
Как ремень на мне скрипят.

И шутил бы я со всеми,
И была б меж них одна...
И медаль на это время
Мне, друзья, вот так нужна!

Ждет девочка, хоть не мучай,
Слова, взгляда твоего.
— Но, позволь, на этот случай
Орден тоже ничего!..

Вот сидишь ты на вечерке,
И девочка — самый цвет!..
— Нет,— сказал Василий Теркин
И вздохнул. И слова:— Нет!

Нет, ребята, что там орден!
Не загадывая вдаль,
Я ж сказал, что я не гордый,
Я согласен на медаль...

* * *

Теркин, Теркин, добрый малый,
Что тут смех, а что печаль?
Загадал ты, друг, немало,
Загадал далеко вдаль.

Были листья, стали почки,
Почки стали вновь листвою,
А по почте лесом почта
В край родной Смоленский твой.

Где девчонки? Где вечерки?
Где родимый сельсовет?
Знаешь сам, Василий Теркин,
Что туда дороги нет.

Нет дороги, нету права
Побывать в родном селе...
Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой, но ради славы —
Ради жизни на земле.

VII. ГАРМОНЬ

По дороге прифронтовой,
Запоясав, как в строю,
Шел боец в шинели новой,
Догонял свой полк стрелковый,
Роту первую свою.

Шел легко и даже браво
По причине по таяюй,
Что махал своєю правой,
Как и левою рукой.

Отлежался. Да к тому же
Щелкал по лесу мороз,
Защемлял в пути все туже,
Подгонял, подмышки пес.

Вдруг — сигнал за поворотом
Дверцу выбросил шофер,
Тормозит: — Садись, пехота!
Щеки снегом бы потор.

— Далеко ль?
— На фронт обратно.
Ружу вылечил.
— Понятно.
Не герой?
— Покамест, нет...
— Доставай тогда кисет.

Гурят, едут. Гроб-дорога.
Меж сугробами — туннель.
Чуть ли что — свернешь немного,
Как свернул — снимай шинель.

— Хорошо, как есть лопата.
— Хорошо, а то беда...

— Хорошо — свои ребята.
— Хорошо. Да как когда...

Грузовик гремит трехтошный,
Вдруг колонна впереди.
Будь бы пеший или конный,
А с машиной — стой и жди.

С толком пользуйся стоянкой,
Разговор — не разговор.
Наклонился над баранкой,
Смолок шофер. Заснул шофер.

Сколько суток полусонных,
Сколько верст в пурге слепой
На дорогах занесенных
Он оставил за собой!..

От глухой лесной опушки
До невидимой реки
Встали танки, кухни, пушки
Тягачи, грузовики,
Легковые — криво, косо,
В ряд, не в ряд, вперед — назад.
Гусеницы и колеса
На снегу еще визжат.

На просторе ветер резок,
Зол мороз вблизи железа,
Дует в душу, входит в грудь, —
Не дотронься как-нибудь.

— Вот беда: во всей колонне
Завалищей нет гармонь,
А мороз — ни стать, ни сесть!..

Снял перчатки, трет ладони,
Слышит вдруг:
— Гармонь-то есть.

Умная снег зернистый,
Вперемешку — пляс — не пляс —
Возле танка два танкиста
Греют ноги про запас.

— У кого гармонь, ребята?
— Да она-то здесь, браток... —
Оглянулся виновато
На водителя стрелок.

— Так сыграть бы на дорожку?
— Да сыграть, оно б не вред.
— В чем же дело? Чья гармошка?
— Чья была, того, брат, нет.

И сказал уже водитель
Вместо друга своего:
— Командир наш был любитель...
Схоронили мы его.

— Так...— С неловкою улыбкой
Поглядел боец вокруг,
Словно он кого ошибкой,
Нехотя обидел вдруг.

Поясняет осторожно,
Чтоб на том покончить речь,
А стрелок:

— Вот в этой башне
Он сидел в бою вчерашнем...
Трое — были мы друзья.

— Да нельзя, так уж нельзя,
Я ведь сам понять умею,
Я вторую, брат, войну...
И ранение плечо
И контузию одну.
И опять же, посудите —
Может, завтра с места в бой.

— Знаешь что, — сказала водителю, —
Ну, сыграй ты, шут с тобой!

Только взял боец трехрядку,
Сразу видно — гармонист.
Для начала, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.

Что-то медленно по слуху
Подбирал, как будто лезь,
На гармонь склонившись ухом,
Шашку сдвинул наискривь.

И от той гармошки старой,
Что осталась шпротой,
Как-то вдруг теплее стало
На дороге фронтовой.

От машины замедленных
Шел парод, как на огонь.

И кому какое дело —
Бто играет, чья гармонь.

Только двое тех ташкистов,
Тот водителю и стрелок,
Все глядят на гармониста —
Словно что-то невдомек.

Что-то чудится ребятам,
В снежной крутится пыли.
Будто выделись когда-то,
Словно где-то подвезли...

И сменяли пальцы быстро,
Он, как будто на заказ,
Здесь повел о трех танкистах,
Трех товарищах рассказ.

Не про них ли слово в слово,
Не о том ли песня вся?
И потупились сурово
В шлемах кожаных друзья.

А боец зовет куда-то,
Далеко, легко ведет.
Ах, какой вы все, ребята,
Молодой еще парод!

Я не то еще сказал бы —
Про себя поберегу,
Я не так еще сыграл бы,
Жаль, что лучше не могу.

Я забылся на минутку,
Заятрагел на ходу,
И, давайте, я на шутку
Это все переведу.

Обогреться, потолкаться
К гармонисту все идут.
Обступают.

— Стойте, братцы!
Дайте на руки подуть.

— Отморозил парень пальцы,
Надо помощь скорую.
— Знаешь, брось ты это... вальсы,
Дай-ка ту, которую...

И опять долой перчатку,
Оглянулся молодцом,

И как будто ту трехрядку,
Повернул другим концом.

И забыто — не забыто,
Да не время вспоминать,
Где и кто лежит убитый
И кому еще лежать.

И кому траву живому
На земле топтать потом,
До жены притти, до дому, —
Где жена и где тот дом?

Плясуны — на нару пара —
С места кинулись вдруг.
Задышал морозным паром,
Разогрелся тесный круг.

— Веселей кружитесь, дамы,
— На носки не наступать...
И бежит шофер тот самый,
Опасаясь опоздать.

Чей кормилец, чей пошлец,
Где пришлось ко двору?
Брыкнул так, что раступились:
— Дайте мне, а то помру!..

И пошел, пошел работать,
Наступая и грозя,
Да как выдумает что-то,
Что и высказать нельзя.

Словно в праздник на вечерке
Половинцы гнет в избе,
Прибаутки, поговорки
Сыплет под ноги себе.

Подает за штукой штуку:
— Эх, жаль, что нету стуку,
Эх, друг!
Кабы стук,
Кабы вдруг —
Мощный круг!

Кабы валенки отбросить.
Подковаться на каблук,
Припечатать так, чтоб сразу
Каблuku тому — каюк!

А гармонь зовет куда-то,
Далеко, легко ведет.
Нет, какой вы все, ребята,
Удивительный народ!

Хоть бы что ребятам этим,
С места — в воду и в огонь.
Все, что может быть на свете —
Хоть бы что, — гудит гармонь.

Выговаривает чисто,
До души доносит звук.
И сказали два талькиста
Гармонисту:

— Знаешь, друг...
Не знакомы ль мы с тобою?
Не тебя ли это, брат,
Что-то помнится, из боя
Доставляли мы в сабат?

Вся в крови была одежда,
И просил ты пить, да пить...
Пригасил гармонь:

— Ну, что же.
Очень даже может быть.

Как там ни было, — на фронте
Случай может быть любой.
— Это точно. А гармонь-то,
Знаешь что, — бери с собой.

Забирай, играй в охоту,
В этом деле ты мастак,
Весели свою пехоту...
— Что вы, хлопцы, как же так?..

— Ничего, — сказал водитель, —
Так и будет. Ничего.
Командир наш был любитель,
Это — память про него...

И с опушки отдаленной,
Из-за тысячи колес,
Из конца в конец колонны
«По машинам!» — донеслось.

И опять — увалы, взгорки,
Снег да елки с двух сторон.

Едет дальше Вася Теркин.—
Это был, конечно, он...

VIII. В ИЗБЕ СОЛДАТА

В поле вьюга-завируха,
В трех верстах гудит война.
На печи в избе — старуха,
Дед-хозяин — у окна...

Рвутся мяны. Звук знакомый
Отзывается в силние.
Это значит — Теркин дома,
Теркин снова на войне.

А старик как будто ухом,
По привычке, не ведет.
— Перелет! Лежи, старуха.
Или скажет: — Недолет...

На печи забившись в угол,
Та следит исподтишка
С уважительным шепотом
За повадкой старика,
С кем жила — не уважала,
С кем бранилась на печи,
От кого всегда держала
По хозяйству все ключи.
А старик, одевшись в шубу
И в очках подсев к столу,
Как от вьюквы, кривит губы, —
Точит старую пилу.

— Вот но режет. Точнись, точнись
Не берет, ну что ты хочешь!..
Теркин встал: — А может, дед,
У нее развода нет?

Сам пилу берет: — А шу-ка, —
И в руках его пила,
Точно поднятая щука,
Острой спинной повела.

Повела, повисла кротко.
Теркин щурится: — Ну, вот.
Пошци-ка, дед, разводку,
Мы ей сделаем развод.

Посмотреть — и то отрадно:
Заваливающая пила

Так-то ладно, так-то складно
У него в руках прошла.

Обернулась — и готово.
— На-ко, дед, бери, смотри.
Будет резать лучше новой,
Зря инструмент не кори.

И хозяин выповзато
У бойца берет пилу
— Вот что значит — мы, солдаты! —
Ставит бережно в углу.

А старуха: — Слаб глазами,
Стар годами мой солдат.
Ноглядел бы, что с часами?
С той войны еще стоят...

Снял часы, глядит: машинка,
Точно мельница, в ныля,
Паутинами пружины
Пауки обволокли.

Их повесил в хате новой
Дед-солдат дачным-давню.
На стене простой сосновой
Так и светится пятно.

Осмотрев часы детально, —
Все ж часы, а не пила! —
Мастер тихо и печально
Просветел: — Плохи дела...

Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дупул, плюнул, —
Что ты думаешь, — пошли!

Крутит стрельку, ставит пятый
Час, другой, вперед-назад.
— Вот что значит — мы, солдаты! —
Прослезился дед-солдат.

Дед растрогаш, а старуха,
Отклонив ладонью ухо,
С печки слушает: шут!
— Ну и парень, ну и шут!..

Удивляется. А парень
Услужить еще нешрочь:

— Может, сало надо жарить?
Так опять могу помочь.

Тут старуха застонала:
— Сало, сало... Где там сало..
Геркин:— Бабка, сало здесь.
Не был немец — значит, есть.

И добавил, выжидая,
Глядя под ноги себе:
— Хочешь, бабка, угадаю,
Где лежит оно в избе?

Бабка охнула тревожно,
Завозилась на печи.
— Бог с тобою, разве можно?..
Помолчи уж. помолчи...

А хозяйни плутовато
Гостя под локоть:— Дела!
Вот что значит — мы, солдаты!—
Ни за что бы не дала...

Блюч старуха долго шарит,
Лезет с печки, сало жарит.
И, страдая до конца,
Разбивает два яйца.

Эх, явчивица! Закуски
Нет полезней и прочней.
Полагается, по-русски,
Выпить чарку перед ней.

— Ну, хозяйин, понемножку,
По одной, как на войне.
Это доктор на дорожку,
Для здоровья, выдал мне.

Отвинтил у фляги крышечку:
—пей, отец, не будет лишку!

Поперхнулся дед-солдат,
Подтянулся:— Виноват!..

Крошку хлебушка понюхал,
Пожевал — и сразу сыт.
А боец, потряхнув над ухом
Тою флягой, говорит:

— Рассуждая так ли, сяк ли,
Всё равно такую кашлей
Не согреть бойца в бою.
— Будьте живы!— Пейте.— Пью...

И сидят они по-братски
За столом, плечо в плечо.
Разговор ведут солдатский,
Дружно спорят, горячо.

Дед кипит:— Позволь, товарищ,
Что ты валенки мне хвалишь?
Разреши-ка доложить:
Хороши. А где сушить?

Не просушишь их в землянке.
Нет, ты дай-ка мне сапог,
Да суконные портянки
Дай ты мне. Тогда я — бог!

Слова где-то на задворках
Мерзлый грунт боднул снаряд.
Как ни в чем Василий Теркин,
Как ни в чем старик-солдат.

— Эти штуки в жизни нашей,—
Дед расхвастался,— пустяк!
Нам осколки даже в каше
Попадались. Точно так.
Попадет, отклянешь ложкой,
А в тебя — так и мертвец!
— По не зпали вы бомбежки,
Я скажу тебе, отец.

— Это верно, тут — наука!
Тут напротив не попрешь.
А скажи, простая штука
Есть у вас..
— Какая?
— Вошь...

И, макая в сало коркой,
Продолжая ровно есть,
Улыбнулся вроде Теркин
И сказал:
— Частично есть.

— Значит, есть? Тогда ты — воин!
Говорить со мной достоин,

Ты солдат, хотя и млад,
А солдат — солдату брат.

И скажи мне откровенно,
Да не в шутку, а всерьез.
С точки зрения военной
Отвечай на мой вопрос.

Отвечай: побьем мы немца,
Отпихнем ли за межу?..
— Погоди, отец, наемся,
Закушу, тогда скажу.

Ел он много, но не жадно.
Отдавал закуске честь
Так-то ладно, так-то складно,
Поглядишь — захочешь есть.

Всю зачистил сковородку,
Встал — как будто вдруг подрос.
И платочек к подбородку
Ровно сложенный поднес.

Отряхнул опрятно руки,
И, как долг велит в дому,

Поклонился и старухе,
И солдату самому.

Молча в путь запоясаяся,
Осмотрелся — все ли тут?
Честь по чести расширился,
На часы взглянул: идут!

Все припомнил, все проверил,
Подогнал — и подковец
Лишь вздохнул у самой двери
И сказал:
— Побьем, отец...

В поле вьюга-завируха,
В трех верстах гремит война.
На печи в избе — старуха,
Дед-хозяин — у окна...

В глубине родной России,
Против ветра — грудь вперед —
По снегам идет Василий
Теркин. Немца бить идет.

ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ
ЧЕРНОМОРЕЦ

(Повесть)

1

Григорий Матвеевич Полосухин, потомственный черноморец, бывший матрос с броненосца «Святой Евстафий», а впоследствии керченский рыбак, был человек крутого характера и сына своего Степана воспитывал без особых нежностей. Однажды Степан, двенадцатилетний мальчишка, пришел домой в слезах: побили ребята из соседнего двора.

— Плачешь?— удивился отец, снял со стены ремень и добавил Степану еще.

— Тятя, за что?— взмолился Степан, тщетно старался вырваться из крепких и грубых отцовских рук.

— А за то, что слезы попусту льешь,— поучительно ответил отец, не переставая работать ремнем.— Матросские слезы, они, брат, дорогие слезы, они в одной цене с кровью ходят. Понял? Их попусту лить нельзя. Вот за это самое получай ремня, и буду стегать до тех пор, пока глаза не высохнут.

Зная характер отца, Степан не стал просить о пощаде. Изловчившись, вытер глаза об отцовские брюки.

— Тятя, высохли.

Отец жесткой ладонью провел по его лицу и сказал недоверчиво:

— Врешь, парень. Наверное, еще мокрые.

— Да нет. Которые мокрые — это давешние. А новых нет — ни одной слезинки. Провалиться мне на этом месте. На, посмотри.

Он высвободил из отцовских колен голову и запрокинул ее, чтобы отец мог лучше разглядеть глаза. Розовая физиономия Степана была и в самом деле сухой, только грязные подтеки свидетельствовали о недавних слезах.

— Верно,— сказал отец.— Сухие. Правильно, без обмана. Ну, значит, ремень в сторону, раз такое дело.

И вдруг, густо захохотав, он шорывисто вскинул Степана к себе на колени и, тряся его что есть силы за худенькие плечи, щебеча жесткими усами и бордой, восхищенно закричал:

— Молодец, парень!— Наша шерода, полосухинская. Деду бы, деду тебя показать.

Вернувшаяся с базара мать застала сына с отцом мирно беседующими. Они уговаривались вместе пойти на баркасе за рыбой. А рядом лежал ремень и налицо были все признаки его недавнего применения.

— Натворил что-нибудь?— спросила мать.

— Нет, нынче благополучно, — ответил отец, опередив Степана. — Мы тут с ним о рыбалских делах разговариваем.

— А ремень зачем?

— Так, для формы, на всякий случай. Может быть, еще и понадобится.

Ремень действительно понадобился, и не позже, чем на следующий день: выстрелив из рогатки по воробью, Степан разбил окошко в чулане. Он рос вообще забиякой, озорником, и попадало ему частенько. Но Степан на это ни сколько не обижался: раз натворил, значит, надо отвечать — таковой уж установлен в мире порядок, нигуда от него не денешься.

Был такой случай: оставшись дома один, Степан разлегал в ящике папирсы, закурил и печально прожег висевший на спинке стула отцовский пиджак. Это был проступок серьезный, и наказание за него полагалось тяжелое. Отодвигая неизбежную минуту возмездия, Степан не являлся домой дотемна. Вот уже и звезды зажглись в чистом высоком небе, и все друзья разошлись ужинать, первые огоньки ласково засветились в окнах, а он все стоял среди темнеющей улицы, заранее поскливаясь и морщась. Но ведь когда-нибудь все равно надо идти, так уж лучше скорее. Сдвинув брови, стараясь ступить решительно и твердо, Степан направился к дому. Без колебаний поднялся он на крыльцо, открыл дверь, шагнул в освещенную комнату.

Он подошел к отцу и сказал — с упрямством, даже дерзостью в голосе:

— Стегать меня нынче будешь?

— А за что? — осведомился отец.

— Я твои папирсы курил и твой пиджак прожег.

Мать, всплеснув руками, кинулась к пиджаку. Отец, откпнувшись на стуле и прищурившись, посмотрел на Степана в упор очень серьезным и странным взглядом. Степану стало не по себе.

— Тятя, бери уж ремень. Чего тут...

— Обожди, — ответил отец. — Значит, курил?

— Курил...

— И пиджак прожег?

— Прожег...

— И сам сказал. А ты мне вот на такой вопрос ответь: зачем ты сказал?

Промолчал бы и все — авось я бы и не спохватился. А увидал бы, так подумал, что сам прожег. А ты бы чистый остался.

— Нет, — ответил Степан. — Я прожег, чего же я буду на тебя сваливать. Тятя, бери ремень, — добавил он просительно.

Отец встал, прошелся по комнате, остановился, опять посмотрел на сына тем же серьезным, странным взглядом, потом легонько подтолкнул его в спину к постели.

— Спать ложись.

— Как? — не понял Степан.

— А так. Ложись и все. Ремня тебе нынче не будет. И завтра не будет. Хватит тебе ремня, большой стал, сам понимать должен.

Поздно вечером, когда Степан уже спал, зашли к Григорию Матвеевичу друзья, принесли вина, уселись за стол. Немного захмелев, Григорий Матвеевич хвалился перед друзьями своим сыном.

— Наша порода, молосухинская. Блудливости этой самой вот ни столько в нем нет. Что озорник — не спорю. Верно, озорник. Драчун — тоже правильно. Дерется. Но вот, что не блудия — это я знаю точно. Душой не кривит, врать не умеет, правды не боится. Наша порода.

— Да он и вовсе в меня, — заметила мать, несколько уязвленная.

— Личностью — в тебя, — согласился Григорий Матвеевич. — Спорить не буду. Личность у него тонкая, нежная, смахивает на женскую. Ну, а характер — наш, полосушнинский. Здесь уж дело верное.

Григорий Матвеевич вынул еще стакан и, засмеявшись, добавил:

— С такой личностью да с таким характером — ох, и будет от него девкам горя.

— Ладно тебе, — сказала мать досадливо. — Мальчишка он еще, а ты с глупостями.

— Да нет, пожалуй, уж и не мальчишка, — ответил отец. — Поглядел я на него сегодня — возраст у него сейчас переходит, к делу пора его приучать.

Так вступила жизнь Степана в новую, самую шероховатую и смутную полосу, когда детство уже позади, а юность еще не пришла. По-разному проходят эти годы, самые, может быть, ответственные и важные, печать которых человек носит на себе всю жизнь.

Степану повезло. Два замечательных наставника были у него в опасные переходные годы — отец и море.

Черноморский матрос Григорий Матвеевич Полосухин факультетов не кончал и нравственной философией не занимался — он просто от природы был честный, умный, прямой человек, проживший суровую жизнь. Григорию Матвеевичу не требовалось долгих размышлений, чтобы определить человека — хороший он или плохой. Григорий Матвеевич определял сразу и всегда безошибочно. И прощал он трудно: море не такое место, где можно легко прощать. Он учил сына: «С трусом в море не ходи — продаст, погубит. С выжигой в море тоже не ходи: последнюю кружку воды спрячет, сам выпьет тайком, а тебе капли не оставит. Видал я таких... Для моря выбрай себе товарищей настоящих и сам будь с ними настоящим человеком. Море подлости никак не любит, оно прямому любит, открытую душу. Попадешь в беду — сам погибай, а товарища выручай. Будешь смелым — оба выберетесь, трусишь — оба погибнете. У товарища рубашки нет — сними свою, отдай. Вот тогда будешь ты настоящий моряк».

Это была теория, а практику Степан проходил на море. Когда баркас, хлопотно постукивая мотором, шел, разваливая стекловидную воду, а по его следу черными кругами, показывая перо, гнались дельфины, и, чуть не задевая за мачту, наискось падали на тугих острых крыльях краснолапые чайки, и небо и море были равно безграничны, и ветер свободно гулял над синим чистым простором, — в эти минуты Степан учился верить тому, что мир прекрасен и весь до конца открыт человеку. Случалось, что море сердилось; особенно страшными были ночные штормы: в непроглядной тьме свиропый ветер вздымал перед баркасом водяные горы, рыл водяные пропасти; баркас, дрожа всем корпусом, проваливался в них, чтобы через мгновение опять взлететь на гребень и повиснуть над бездной. И в самые опасные минуты, через свист, вой и гул урагана, Степан всегда слышал уверенный голос отца:

— Держись, сынок, не робей!

Зато как хорошо было выйти потом на берег, сплунуть по-моряцки горькую слюну, посмотреть со спокойным достоинством на серое взлохмаченное море и почувствовать себя по силе равным ему.

Да, это была настоящая школа. День за днем, год за годом — Степан возмужал и окреп. Был он с виду строг, худощав, даже несколько хрупок, лицо сохранило девическую тонкость, но в синих глазах стояла иногда такая без-

донная, озорная мгла, что девушки с недоумением и странным испугом оглядывались из этого семнадцатилетнего паренька. А сплю его сухих мускулов, верткость и ловкость хорошо знали товарники по рыбацкому промыслу да еще некоторые портовые забияки, имевшие неосторожность связаться с ним. Словом, получился из Степана, по выражению Григория Матвеевича, и характером и хваткой настоящей, чистопородный Полосухин.

Провожая сына на военную службу во флот, Григорий Матвеевич оказал ему: — И здесь тебе выпла наша, полосухинская дорожка. Я служил во флоте, и дел, и правед твой. Дальше я не дознавался, по думаю, что и яри Великом Петре был где-нибудь на фрегате боцман Полосухин. Не иначе: порода такая. Служки хорошо, слышишь. Не осражи фамилию.

— Я, палаша, комсомолец, вам от меня позора не будет, — ответил Степан и ушел, помахиывая маленьким чемоданчиком. Тихо стало в доме; и осень прошла, и зима, и весна, и все мелькал да мелькал на белой степе маятник, роняя с тонким звоном секунды. И Григорий Матвеевич почувствовал тяжесть годов на своих плечах.

Писал Степан редко, и только открытки: «Яльв, здоров, служба идет хорошо, высканий не имею». Но врать и здесь не стал: сообщил однажды, что пришло отсидеть трие суток на гауптвахте за грубость начальству. Отец всполошился, Степану полетело стариковское наставительное письмо. «Плохо, сынок, — писал Григорий Матвеевич. — Эдак, смотри-ка, с полгода гауптвахты к концу службы паберешь, если всем грубить будешь».

Степан молчал пять месяцев. Наконец пришла от него открытка — со сдержанной гордостью извещал он родителей, что получил первую узенькую нашивку на рукава. Так и написал «первую».

«Значит, дальше целит», — отметил про себя Григорий Матвеевич.

2

Старик не ошибся: в июне сорок первого года Степан получил вторую нашивку.

День начался радостно — светлый, летний день, насквозь пронизанный горячим солнцем, ослепительным зноем, когда кажется, что на всей земле нет ни одного уголка, где могут удержаться мрак и темень: море все искрится и сверкает, словно сыпается на воду мелкий солнечный дождь, тополя вдоль белых стен чушь слышно перешептываются друг с другом, а на горячих каменных плитах под ними переливается, и трепещет, и тает неуловимо зыбкий теневой узор.

Степан стоял на палубе своего катера. Перед ним лежала бухта, зеркально гладкая, словно синее прозрачное стекло, влитое в берега, а там начиналось открытое море и уходило, бесконечное, вдаль, в опаловый туман, в такой простор, что сердце щемило. Он обернулся, и глазам его открылись зеленые холмы, рощи в легкой синеватой дымке, белые здания в тени кипарисов и топелей — глазам его открылся Севастополь, черноморский город, равного которому не было и нет в мире. «Хорошо!» — подумал он и даже слегка задохнулся, поверив на мгновение, что день выдался таким именно для него, Степана Полосухина, и солнце блещет в небе для него, и море сверкает для него, и весь огромный, сияющий, сказочно богатый мир приветливо открыт ему и обещает впереди только удачу и счастье...

Так начался этот день и таким был до самого вечера: сперва — поздравле-

ния товарищей, потом — беседа с командиром катера лейтенантом Негореловым, который долго внушал Степану права и обязанности старшины первой статьи (напирая больше на обязанности), наконец — увольнение на берег до утра.

Праздник Степана продолжался и на берегу: веселая вечеринка с друзьями. карие лукавые глаза девушки, которая сразу заметила, что нашивки на рукавах Степана разные: сверху — новенькие, блестящие, а ниже — старые, потемневшие; прогулка с этой девушкой под нижними крупными звездами юга. Степан пошел провожать девушку далеко в обход, по самым глухим и пустынным улицам; она притворялась, что очень боится, он солидно и внушительно успокаивал: «Вы же видите — я человек военный, вооруженный». И не упускал случая взять ее под руку, когда попадались ступеньки. Утром ровно в семь, счастливый и взволнованный, он вбежал на палубу катера.

А здесь его ожидала невеселая телеграмма: «Мать при смерти. Выезжай. Отец».

Сразу все вокруг посерело, сердце больно и томительно сжалось. Товарищи заметили тень на лице Степана; он ничего не стал им говорить — молча протянул телеграмму.

Это были моряки, мужественные, прямые люди, но любившие пустых утешений. Кто-то прочел телеграмму вслух, а потом в кубрике долго стояло молчание, нарушаемое только плеском воды за бортами. Степан пожал товарищам руки и вышел. Разговор с командиром занял не больше десяти минут. Степан получил отпуск до двадцать восьмого июня и выехал поездом в Керчь.

Он опоздал и сразу понял это, увидев в сенях гроб. Степан открыл дверь, вошел в комнату. Навстречу ему во весь свой огромный рост со скамейки поднялся отец, хотел сказать что-то, но вдруг его седая голова мелко затряслась, он бессильно, по-детски махнул рукой и тяжело, словно ноги отказали ему, опустился опять на скамейку.

...Похорошили мать, уложили ее в керченскую желтую землю, накрыли каменной плитой с прощальной и скорбной надписью: «Спи, дорогая подружка». Разошлись люди с кладбища — знакомые и соседи, проводившие Марию Никитишну в последний путь; остались у свежей могилы только Степан да отец. День был томительно зноен, и сырая, темная земля светлела, высыхая, на глазах; крутые белые облака, неподвижно стояли в небе, какая-то птица одиноким и чистым голосом немолчно светлела в кустах.

— Вот! — сказал отец, шумно и трудно вздыхая. — Кабы не ты, Степа, совсем бы никого у меня не осталось... Похож ты на нее очень — такая же в точности была она смолоду.

Помолчав, он спросил:

— Тебе скоро ли обратно ехать?

— До двадцать седьмого пробуду.

Отец одобрительно покачал головой.

— Побудь, побудь, отдохни. Да и мне легче возле тебя.

А Степан, глядя на него, думал:

«Сдаст старик. Пожалуй, уж и не оправится теперь».

Прошла неделя после похорон. Отец был угрюм, задумчив, по ночам, томимый бессоницей, ворочался, кряхтел, вздыхал, днем не мог найти себе места — бродил, шаркая ногами, из комнаты в комнату. Половицы спротивно скрипели под его грузными шагами... Большой, тяжелый, с неподстриженной бородой, с провалившимися глазами, в которых горел какой-то педобрый, сухой и тусклый огонек, он подходил к Степану, садился рядом и сидел долго, пугая

сына молчаливой неподвижностью. Потом внезапно и порывисто вставал, словно приняв какое-то очень важное решение, и уходил на берег в свою артель. Но и там, знал Степан, дело не клеилось у него, валялось из рук; скоро главенство в бригаде по молчаливому общему согласию перешло к молодому рыбаку Саше Асланиду.

Да, это был невеселый отпуск у Степана Полосухина. За окнами цвел яркий знойный июнь с пыльными пламенными закатами над морем, с гитарами и песнями в душных сумерках, а здесь, в доме, с утра до вечера безысходно стояла унылая тишина... Степан очень любил мать, и мысли о ней вызывали острую боль, но еще нестерпимее была жалость к отцу — мужская высокая жалость. Хотелось разбить его оцепенение, встряхнуть, помочь; но чем помочь, раз случилось такое дело?

Дома не сиделось; Степан уходил к морю. Пристани пахли смолой, водорослями, соленой рыбой, и это для Степана был запах его детства. Покачивались на легкой волне рыбацкие шхуны; на палубах лежали матросы, подставив солнцу темные, обнаженные до пояса тела. Хлопотали, тонко посвистывая, маленькие юркие буксиры и тащили за собой на тугих тросах черные туши барж и грузовых пароходов. Повсюду густо, точно лес, торчали мачты и плыл по воздуху неясный гул, в котором сливались и лязг вагонов, и глухой звук якорных цепей, и фырчанье грузовиков, и человеческие голоса. Берег жил обычной трудовой жизнью; здесь, в этой суетоке, Степану было легче, и часы летели незаметно в разговорах со старыми друзьями, которые встречались на каждом шагу.

Далеко от порта, за городом, было у Степана любимое тихое местечко. Там перед вечером он купался, потом лежал на теплых гальбах, закинув руки под голову, и ожидал, когда потемнеет над морем поздний закат, выступают звезды и, словно в ответ им, мигнут робкие огоньки на баркасах и шхунах.

В воскресенье двадцать второго июня он пошел купаться с утра и незаметно задремал на берегу под горячим солнцем.

Его пробудили легкие, но настойчивые толчки. Протерев глаза, он увидел прямо над собой какого-то старика в дырявом парусиновом дождевике, круглой соломенной шляпе, в очках и с плетеной корзиной на локте. Старик логично тыкал Степана клюкой, притоваривая:

— Вставай, матрос. Война началась.

Старик заковылял дальше, оставляя на сыроватом песке глубокие следы своей палки; дождевик его съехал, перекопился, и пола волочилась сзади, как сломанное крыло зловещей птицы.

— Обожди, отец! — тревожно крикнул Степан вслед ему. — С кем война? Обожди!..

Но ветру донеслось:

— Да с ним же все. С немцем окаянным...

По дороге к дому Степан узнал все. Но радио говорил Молотов. Германские войска напали на наши границы. Многие советские города подверглись бомбежке, в том числе Севастополь. Новости были ошеломляющие, Степану все не хотелось до конца поверить. Но приморский город уже волновался: улицы запылялись паромом, выносили красные знамена и строились под ними в ряды, в горячем воздухе нарастал слитный, грозный гул, идущий, казалось, из-под самой земли, словно сдвигались в глубине гигантские пласты, колебля и море и сушу.

Степан не шел домой — летел, натываясь на встречных и забывая изви-

нитесь: какие уж тут извинения. Много раз потом он пытался припомнить свои мысли в эти минуты и не мог: слишком много было и мыслей и чувств, и все это сливалось в смутное, тягостное ощущение тревоги, недоумения и глухой нарастающей озлобленности. Так вот, когда она, наконец, пришла, большая война и накрыла цветущую страну своей тенью. Небо было таким же высоким и чистым, солнце сияло так же ярко, как и час назад, и такими же были тполи вдоль дороги, но лица людей стали совсем другими. Шла навстречу женщина с ведерком помидоров в руках — самая обычная хозяйка, матросская жена, и в ее строгом сосредоточенном взгляде, в сдвинутых бровях, в губах, сжатых плотно и упруго, Степан ясно читал короткое слово — «война». Шел навстречу старый рабочий-металлик с большими темными руками, в которые, казалось, навеки въелась железная пыль, шел и курил, покусывая мундштук, торора седые усы, и на его суровом грубом лице Степан читал — «война»... Степан повернул к будочке с газированной водой, движение очереди сейчас же прекратилось, кто-то негромко сказал:

— Военных не задерживать. Пожалуйста, товарищ моряк.

Степан, смущаясь, залпом выпил воду, пошел дальше. Он подтянулся, как на параде, его шаги отдавались по мостовой четко и сухо; встретив командира, он отдал приветствие по всем требованиям устава и в ответ получил такое же строгое, выверенное во всех движениях приветствие.

Он вошел на крыльцо, открыл дверь, шагнул в прохладу комнаты и остановился, увидев за большим обеденным столом всю отцовскую бригаду. Здесь были и Сергей Поликарпов, и одноглазый Родион Акимович, и Петро Калинин, гармонист и весельчак, и курчавый Саша Асланиди, и еще много других, а на хозяйском месте сидел отец, торжественный, строгий, выбритый, в чистой рубашке и в новом суконном пиджаке, на котором во всю грудь красовались четыре креста на георгиевских черно-оранжевых лентах.

Шло экстренное собрание бригады. Только что решили в связи с объявлением войны увеличить вдвое план улова и отменить до зимы все выходные дни и праздники.

— Согласен, Родион Акимович? — спрашивал отец. — А ты, Петро, согласен? А ты, Саша?

Степан смотрел и не узнавал отца, и не мог поверить, что человек за какие-то два часа может так перемениться. Как будто и не было вовсе последних тяжелых дней, когда отец бродил по дому, как потерянный, даже как будто бы последних десяти лет не было: такой появился в глазах у него жестковатый молодой блеск, и седых волос в бороде словно поубавилось, и плечи поднялись, и в голосе были те хозяйские властные нотки, которых давно уж не слышал Степан.

— Так, — сказал отец, слегка пристукинув ладонью по столу. — Давайте, двигайте. И чтобы все у меня единым духом. Для прохладения не врем сейчас — понятно?

Когда рыбаки разошлись, отец тем же хозяйским взыскательным взглядом посмотрел на Степана.

— Ну, как? Чего же ты вспотел весь? Или со страху?

Сдержанная улыбка тронула его губы под бородой.

— Жарко, вот и вспотел, — ответил Степан. — А страх? Какой же у меня может быть страх?

— Погоди, — прервал отец. — Он тебе еще страху даст, немец. Это у него первое дело — брать на испуг. Я его, немца, знаю, постиг пашквозь.

И он, сам того не заметив, покосился на свои георгии. Степан не удержался от улыбки.

— Тятя,— сказал он вдруг неожиданно звонким голосом, в котором так и светилось насмешливое озорство.— Зачем же ты царские ордена-то надел? Нехорошо. Время советское, а ордена у тебя царские.

— Дурак,— с досадой ответил отец.— Это не царские, а солдатские. Царь таких не имел, потому что на кораблях не плавал, в атаки не ходил и в разведках не был. Офицеры таких крестов не имели, разве самые только фельдфе. А чтобы полный георгиевский кавалер, как я,— таких на всю Россию человек триста, может, всего и было. Солдатские георгии у меня, моня! Солдатские.

Видя, что отец обиделся всерьез, Степан пожалел о своей насмешке. Не надо бы...

А старик все не мог успокоиться.

— И не сниму. И никто приказать не может, чтобы снять. Получены за германскую войну, а был я простым матросом. Значит, дали не зря.

— Я не говорю, что зря. Только — царские, за веру, царя, отечество. Вот что получается.

Григорий Матвеевич прищурился и посмотрел на сына с торжеством.

— Ладно. За царя, скажем, один долой.— Он прикрыл крайний крест пальцами.— За веру — тоже долой, раз уж не правится тебе.— Он прикрыл второй крест.— А эти? Эти за что? Выходит дело — за отечество.

Он был очень доволен таким искусным поворотом в споре — развеселится, и обида его прошла. Из темных сеней принес глиняный горшок с кислым терпким вином.

— Обедать собирай.

— И к еде не тянет,— сказал Степан.— Вон какие дела заварились.

— Еще чего,— ответил отец.— В первый раз, что мы, нам воевать? Видали и немца.

Степан с удивлением видел, что новость, ошеломившая его, повергнувшая в тревогу и даже некоторое смятение, несколько не потрясла и не удивила отца. Наоборот — подняла, встряхнула, наполнила энергией и злым весельем.

— Пусть, пусть,— говорил он, расправляясь с помидорным салатом и запивая его вином.— Пусть попытают, да только не в последний бы раз вышло им пытать. У нас, у Россияшки, рука уж тяжела! Размахиваемся медленно, с натугой, зато уж потом — в блин. Потом, брат, не жалуйся...

Это уверенное спокойствие передалось и Степану. «Что я, в самом деле, психанул?» — с неудовольствием думал он, вспоминая свой бег по раскаленным улицам. А отец, блестя георгиями, все гудел и гудел из-за столом.

— Я тебе, Степан, вот что скажу: первое дело — не поддавайся. Между на испуг брат любит, а ты бери его сам на испуг. Это уж я тебе верно говорю: я его и на море видал и на сухопутьи видал. Второе дело — не зевай. Враз перехитрит...

Солнечный косой квадрат окна передвинулся уже далеко в угол: день клонился к вечеру. Неожиданно и резко прервав свои наставления, отец сказал:

— Хватит языки чесать, о делах думать нужно. Мне в море нынче идти, а тебе на вокзал. Завтра как раз и в часть явишься. Давай-ка, собирайся, через полтора часа поезд отходит.

Сборы были короткими — какие вещи у моряка? Полотенце, мыло, зубная щетка, смена белья.

Поцеловались. Старик взгрустнул на прощанье, но вида не подал. Даже пошутил:

— Значит, домой с орденами ждать?

— Обязательно.

Оба думали в это время о том, что, может быть, и не придется больше увидеться.

— Прощай, тятя.

— Держись хорошо, сынок. Не опозорь фамилию.

— Не беспокойся, тятя.

И Степан покинул дом. Отец не пошел провожать на вокзал и только стоял на крыльце, глядя вслед.

Город был совсем иным, чем несколько часов назад, в полдень. Со всеми произошла та же перемена, что со Степаном: тревога и смятение первых минут сменились спокойной сосредоточенностью, уверенностью в несокрушимой силе страны и народа. Глаза людей были спокойнее, движения размереннее, люди не бежали, не толкались... Прошел трамвай, так же, как раньше, только, показалось Степану, чуть побыстрее, да звук у него стал как будто чище — тугой, напряженный звук...

Вокзал был спокоен, поезд отошел во-время... Все мелкие детали были сегодня полны какого-то особо значительного смысла.

«Война? — думал Степан, залезая на полку. — Ну что же, будем воевать». Он был серьезен и спокоен, так же как его отец, так же как многие и многие миллионы советских людей.

3

До войны катера особым почетом на море не пользовались. Их даже и кораблями всерьез не считали; так просто — «комары». Заслышав стук катерного мотора, на эсминцах и крейсерах говорили: — Комар жужжит. — И, что греха таить, — был в этих словах оттенок снисходительного пренебрежения. В самом деле, «комар» со своими пушечками и пулеметами выглядел рядом с крейсером или эсминцем до крайности скромно — ни грозных башен, ни дальнометров, ни торпедных аппаратов... Чуть по сильнее волна, и «комар» уже спешит в бухту. Плавстичу ему смеются: — Что, комариуга, не любишь соленой воды?

Вот на таком катере и служил Степан рулевым, служил усердно, честно, хорошо, но в глубине души все-таки подумывал, что ему не везет. Показь бы на миноносец, на подводную лодку, на тральщик хотя бы. А тут сиди на своем катериншке, плавай вдоль берега по мелководью. За время службы настоящего шторма ни разу в открытом море не встретил. Все в бухте, да в бухте, как в эмалированном тазу... Никакого простора.

И совсем заскучал Степан, когда радио и газеты принесли вести о первых боях. Где-то сражаются, умирают, побеждают советские родные люди, а катер стоит и стоит себе у стенки, словно нет для него никакой войны. Степан решил подать рапорт с просьбой перевести его на какой-нибудь корабль из действующих.

По этому поводу был у него разговор со своим командиром, лейтенантом Негореловым. Лейтенант спокойно, внимательно выслушал Степана, помолчал, а потом сказал скучающим голосом:

— Все это глупости, и я вам советую, товарищ Полосухин, выбросить их из головы. Никуда я вас по нущу.

— Значит, от штормов все время в бухте отставались, а теперь от боев будем отставаться? — угрюмо ответил Степан.

Лейтенант поморщился.

— Не люблю, когда говорят чепуху. По сути дела, товарищ старшина, за такие разговоры на вас следовало бы наложить взыскание, но, ладно уж, на первый раз прощается...

Он отвернулся, приземистый, широкоплечий, и долго молчал.

— Разрешите идти? — осведомился Степан.

— Подождите, — отозвался лейтенант. — Мы еще не закончили разговор. Отставаться будем, говорите вы. Так вот запомните мои слова: уж кому-кому, а вам отставаться не придется. Понятно? И походы будут, и штормы будут, и бои будут — все будет. Все увидите... Война только еще началась, времени впереди много. Успесте.

А через два месяца, когда за катером числились уже десятки выполненных боевых заданий, а в журнале записаны были два сбитых «Юнкерса», командир однажды не без ехидства заметил Степану:

— Помните, товарищ Полосухин, наш разговор в Севастополе? Вам тогда скучно показалось на катере. А теперь как, не скучаете? — И наставительно добавил: — То-то... Спешите вы чересчур, товарищ старшина. Я вам говорил — не торопитесь, имейте выдержку, все увидите...

Да, за эти два месяца Степан повидал столько, что другому хватило бы на десять лет. В памяти чередовались разведки, дозоры, конвоирование транспортов, бои с фашистскими самолетами, обстрелы берегов... Маленький, юркий катер пролезал всюду, любые перекаты, протоки, мелководья были доступны ему. Он забирался ночью глубоко во вражеский тыл и неожиданно открывал огонь по фашистским войскам. Шипя, клонился и стлался срезанный пулями камыш; взлетали к небу фонтаны воды и грязь; по колено уезжая в тьме, в панике разбегались фашистские солдаты; рвали постромки и опрокидывали повозки обезумевшие лошади... Пять минут огня, сотни вражеских трупов, тонны уничтоженных вражеских боеприпасов. А когда немцы, опомнившись от лихого налета, подтягивая к берегу свою артиллерию, катера давным-давно уж не было и в помине. Неуловимый, стремительный, он исчезал, чтобы так же внезапно и грозно появиться перед фашистами где-нибудь в другом месте...

Стоя на мостике у штурвала, Степан имел возможность близко наблюдать своего командира и под бомбами, и под снарядами, и под бешеным, шквальным пулеметным огнем. Этот человек не знал, что такое страх. Однажды ему поручили разведать огневые точки противника на берегу. В переводе на обычный язык это значило, что катеру надо пройти вдоль берега под всеми орудиями и всеми пулеметами противника, привлекая на себя их огонь. С хладнокровием и спокойствием географа, уточняющего карту, лейтенант Негорелов повел катер прямо на вражеские батареи.

— Так держать, — сказал он Степану и поднес к глазам бинокль. В это мгновение на берегу грохнул выстрел, и первый снаряд упал справа по борту, подняв высокий столб воды. Следом упали еще три снаряда, и один из них — совсем рядом.

«Сейчас пристреляются», — подумал Степан и вопросительно взглянул на командира: не сместить ли курс, не пойти ли зигзагом?

— Так держать! — упрямо повторил командир. Лицо его как будто окаменело. А катер весь дрожал под своими тремя моторами и летел вперед с каким-то напряженным стонущим ревом. Снаряды ложились все гуще; захлебываясь,

заговорили с берега пулеметы. Степан замер, вцепившись в штурвал. Так вот она, смерть! Нестерпимо захотелось зажмуриться, но видеть этих страшных бледных вспышек на берегу. И казалось, прошло бесконечно много времени, целые часы, прежде чем Степан услышал сдержанный голос командира:

— Право руля!

Испытание на этом не закончилось. Записав координаты батарей, лейтенант повел катер вдоль берега, разведывая остальные огневые точки. Опять били орудия, трещали пулеметы, опять Степану хотелось зажмуриться. Одна из батарей показалась лейтенанту недостаточно разведанной, и он вторично повел катер под ее огонь.

Когда, наконец, все было разведано, проверено, уточнено и катер вышел из зоны обстрела, и снаряды уже не поднимали сверкающих на солнце водяных смерчей, вражеский берег потонул в голубой мгле, Степан вдруг почувствовал такую усталость, словно простоял на вахте двое суток бессменно. Его даже немного знобило, хотя ветер был с юга, ласковый и теплый.

Командир стоял рядом, молчал. Вдруг он заглянул сбоку в лицо Степану, хитро улыбнулся молодой ослепительной улыбкой и, нарушая всякую субординацию, поморгнул.

— Ну что?— спросил он тихо и таинственно, как заговорщик.— Страшновато было, соображайтесь?

Так же тихо и таинственно Степан признался:

— Да... Думал, не выберется.

— Я и сам,— начал было командир, но вдруг закончил строго, начальственно:

— Огонек немцы дали наславу.

Его широкоскулое простое лицо опять осветилось улыбкой.

— Зато уж теперь, после такого огня, нам ничего не страшно... На «отлично» заданияще выполнили.

Сменившись, Степан дежал на своей койке в кубрике и старательно принимал мельчайшие подробности дня. В кубрике было шумно; ребята говорили, спорили; возбужденные еще не улеглись. Боцман Евтушенко сказал:

— Проворачивайте, ребята, на бушлатах дырочки для орденов. С таким командиром домой без орденов не вернемся.

А Степан в это время горько думал, что ему еще далеко до настоящей храбрости. Ну что он такое, рядом со своим командиром? Жалкий трусишка, больше ничего. Испугался, и так позорно, открыто, что даже командир захотел. Степан почувствовал, как загорелось у него лицо от стыда. Что теперь подумает командир?

С того памятного дня, и надолго, Степан заболел жадной подвигой. Ему не терпелось проверить, испытать себя на самом настоящем опасном деле. И так, чтобы опасность грозила ему в десять раз больше, чем всем остальным. И хотелось еще, чтобы подвиг этот был совершен на глазах командира. Вот, если бы пришлось высалиться с десантом где-нибудь во вражеском тылу и в одиночку принять бой с целым немецким взводом...

А катер все пенил и пенил воды Черного моря, оставляя за собой дым шелковистый след, а ночью обозначая свой путь светящейся фосфорической полосой. Но случая совершить подвиг все же было. Не следует, конечно, думать, что катер вообще не встречался с врагом. За какие-нибудь две недели пришлось отбить не меньше десятка воздушных атак. И немцы, вначале пренебрежительно относившиеся к маленьким, невзрачным на вид катерам, с не-

которых пор возненавидели их лютой ненавистью. — Это для нас самая лучшая рекомендация, — говорил командир. — Значит, не по вкусу пришлась Гитлеру наша работа. — Раньше, в первые дни войны, «Юнкеры» и «Мессершмитты», пролетая над катером, часто даже и по бомбили его, считая, видимо, цель слишком мелкой, не заслуживающей внимания. Теперь же немцы не жалели бомб. Три, пять, девять «Юнкеров» одновременно налетали на катер. В эти минуты Степан сливался воедино со штурвалом. Он знал: решают секунды, мгновения. Он угадывал команду раньше, чем командир успевал прокричать её. Гремели пушки, стучали пулеметы, свирепо визжали над головой бомбы — Степан ничего не слышал, кроме голоса командира: «Лево руля!», «Право руля!», «Так держать!». Моторы работали на предельной мощности, катер весь дрожал от напряжения и, ловко увертываясь от самолетов, выскакивая из-под самых бомб, не прекращал ответного огня. И какая же радость была для Степана, когда снаряд, прочертив в воздухе огненную линию, вливался под крыло или в голову «Юнкерсу», и вражеская машина, оседая на хвост, беспомощно падала в море. Вскипал на этом месте белый бурун, а через минуту вода опять была тихой, зеркально-гладкой.

Боевой счет катера вскоре пополнился еще тремя сбитыми вражескими самолетами. Теперь уже никто не сомневался, что катер выйдет на первое место в дивизионе. Казалось бы, Степану можно и успокоиться. Лучший рулевой прославленного боевого катера — что нужно еще человеку? Опасностей, боев? Хватало и опасностей и боев. Славы? Хватало и боевой славы — о катере говорили во всех портах. Но Степану хотелось схватиться с врагом так, чтобы почувствовать под своими руками его поганое горло.

Степану до сих пор не приходилось в жизни кого-либо ненавидеть. Просто не было рядом таких людей. И он никогда не думал, что ненависть с такой беспереборимой силой может овладеть всем его существом, заполнить целиком его разум, сердце и душу. Откуда взялась она? Степан помнил отчетливо, что в первые дни войны у него такой ненависти к немцам не было. Он понимал, что немцы — враги, что их надо бить, но понимал больше разумом, а сердце не закипало. Но когда в газетах каждый день стали появляться скорбные и гневные письма о немецких бесчинствах и зверствах на родной земле, письма, облитые горячими слезами и кровью, — понемногу, но грозно и неукротимо начало закипать сердце Степана. «Открывать огонь по каждому русскому без различия пола и возраста», — читал он в газете выдержки из немецкого приказа, и в его душе, негодуя, призывая к беспощадной мести, поднимал свой голос русский человек. Никогда еще Степан не чувствовал себя русским с такой отчетливостью и силой, как сейчас. «Безусловно истреблять все советские элементы, коммунистов и комсомольцев», — читал он дальше, и в его сердце поднимал свой гневный голос советский человек и комсомолец. Никогда еще Степан не чувствовал себя советским человеком и комсомольцем с такой отчетливостью и силой, как сейчас...

До войны тысячи больших и малых дел творились вокруг, не вызывая в душе Степана ни удивления, ни особого восторга. Строили новые больницы, школы, выдавали пособия многодетным матерям. Ну что же, так и должно быть, на то и советская власть. Иной жизни, иных порядков Степан просто не представлял себе. А вот теперь он узнал, что есть иная жизнь, иные порядки — в оккупированных немцами областях. Есть жизнь, где люди загнаны в подвалы и ямы, города украшены не зеленью и знаменами, а гирляндами трупов, висящих на телеграфных столбах, слова заменены пулями и пагай-

ками. И тогда ясным стало ему величие тех дел, что творилось вокруг до войны, их благородная высота, продиктованная неугасимой любовью к народу. Раньше он мог, не заметив, пройти мимо новой школы или клуба, теперь он останавливался перед каждым разбитым вражескими бомбами зданием, внимательно смотрел в пустые впадины окон, и ненависть горячей волной поднималась, застилая глаза, мешая дышать.

Эти месяцы были суровой школой, в которой Степан обучался лютой ненависти и горячей любви.

4

Катер возвращался из очередного похода в Одессу. Поход и туда и обратно прошел спокойно, если не считать нескольких снарядов, упавших возле катера уже в порту. Но это были совершенные пустяки, недостойные даже упоминания в вахтенном журнале. Что же касается главного и самого опасного врага — фашистских самолетов, то катеру на этот раз посчастливилось: не видели ни одного самолета. Степан Полосухин думал, впрочем, наоборот — не посчастливилось... Скучный какой-то поход, даже пострелять не пришлось. Он не любил таких походов. Если война, так война, значит, надо воевать, драться. А тут — проводили транспорт, вернулись обратно, и нечем вспомнить поход.

Степан только что сдал вахту. До Севастополя оставалось еще часов шесть хода — срок порядочный. Отдыхая, Степан стоял на палубе и смотрел, как опускается все ниже к воде огромный раскаленный шар солнца. Под жаркими закатными лучами искрилась и горела сплюснутая медь пушек, синева стала угрюмыми пулеметов. А восток начинал уже темнеть, и ясно обозначился в небе тонкий прозрачный серп молодого месяца. Свежело, катер слегка покачивало на волне. «Пойти в кубрик, написать письмишко отцу? — думал Степан. — Да нет, лучше на берегу напишу».

Но не пришлось Степану скучать до самого Севастополя. Судьба послала ему удивительное, необычайное приключение.

Степан и наблюдающий на мостике одновременно заметили слева по борту на пламенеющей от заката воде темное пятно странной формы. Степан в первое мгновение подумал, что это бродячая мина, но с мостика четко и внятно прозвучал голос наблюдающего:

— Слева по борту на воде человек.

Катер резко замедлил ход. Моторы притихли. Описывая широкую дугу, катер медленно, словно полкрадываясь, начал приближаться к темному пятну. Да, это был человек; теперь Степан видел ясно. Из кубрика на палубу повысыпали краснофлотцы и замерли в напряженном ожидании. Кто-то негромко сказал:

— Никак мертвый...

Со всех сторон дружно цыкнули:

— Какой тебе мертвый.

— С чего он будет мертвый, не видишь — на поясах держится.

А катер самым малым ходом подходил все ближе, ближе. Степан, конечно, опередил всех и, перегнувшись через борт, первым подхватил утопленника. Сейчас же десятки рук помогли ему, по раньше, чем спасенного опустили на палубу, раздался чей-то возглас:

— Братцы, да это девушка.

Это была действительно девушка, совсем еще молоденькая. Она лежала на палубе мокрая, жалкая, желтая-бледная, с закрытыми глазами. Дыхания поч-

ти совсем не было заметно, нос застремил, а губы пугали ея и лиловатой мраморностью.

Среди моряков, окруживших девушку, было много охотников пощупать, но сейчас ни у кого не повернулся бы язык для шутки: такая жалость светилась у всех в глазах.

Подшел командир. Краснофлотцы расступились перед ним.

— Эх, бедняга,— сказал командир, качая головой.— Не повезло... Товарищ Полосухин, как она — дышит?

Степан, стоявший около девушки на коленях, ответил:

— Дышит, только плохо, товарищ лейтенант.

— Эх, бедняга,— повторил командир.— Товарищ Полосухин, вы ею займитесь. Вот и боцман еще займется, и третьего дам в помощь... Ну, хоть вас,— указал командир на белобрысого и веснучатого краснофлотца Королькова, известного своей безудержной смелливостью.— Перенесите ее в кают-компанию, уложите там как следует. Коньяк у нас есть? Нет коньяку? Тогда — водки, чаю горячего с молоком. Словом, чтобы через час была в порядке. Действуйте.

Тот, кто бывал на катерах, поймет, что это совсем не такое легкое дело — перенести бесчувственного человека в кают-компанию. Прежде всего надо просунуть человека в узкий и неудобный люк, затем опустить по отвесному трапу; внизу надо повернуть его в тесном коридорчике, где два человека расходятся уже с трудом; в самой кают-компании надо протискиваться между столом и диванами. Трое моряков, багровев от усердия и отдуваясь, преодолели, наконец, все препятствия,— девушка была торжественно доставлена в кают-компанию и уложена на диван. Старшим во всем этом деле был боцман Евтушенко, служивший уже восемь лет, человек молчаливый, солидный и хмурый. За все время, пока переносили девушку, он не произнес ни одного слова, только сопел, как засорившаяся трубка.

— Так! — вымолвил, наконец, боцман первое слово.— Что же теперь — водкой будем отпивать?

Он полез в шкафчик, достал графин, тщательно отмерил полстакана, потом откушорил перечницу и высыпал в стакан все содержимое. Получилась бурая, зловещего вида смесь; Евтушенко поднял стакан и посмотрел на свет с нежностью.

— Обожда,— сказал Степан.— Водку успеем — пусть настоится. А вот затрогла девушка наша в холодной воде — это верно. Смотри, смотри, как трясет ее.

— Вот как раз и обогреется,— сказал Евтушенко.— Перцовка для согревания первое дело.

— Да ведь на ней все мокрое,— возразил Степан.— Как же она обогреется? Хоть целое ведро влей в нее — все равно дрожать будет.

У боцмана на красном толстом лице изобразилось замешательство.

— Ну, а как же теперь?

— Сейчас,— ответил Степан и выскочил из кают-компании. Через две минуты он, запыхавшись, примчался обратно с каким-то свертком в руках.

— Вот! — сказал он.— Белье. Запасное у меня было. Сухое, чистое.

Боцман начал медленно соображать, что предстоит переодевание, а на этот счет он никаких прямых указаний от командира не получал.

Девушку трясло, и с каждой минутой сильнее.

— Давай, боцман,— сказал Степан нетерпеливо.— Снимай с нее все мокрое, надевай сухое.

— То есть как это — снимай? — ответил боцман. — Это, значит, я должен ее раздевать?

— Сними мокрое, надень сухое — вот и все.

— Нет, — сказал боцман. — Это зря ты придумал, Полосухин. Как же это получается — женщину я буду раздевать в кают-компании?.. На корабле? Нет...

Степан опешил.

— То есть как же так нет? Падо.

Но боцман уперся и не поддавался никаким уговорам. Он предложил было Степану самому заняться переодеванием. Степан ответил:

— Ты здесь старший...

Решили так, что самым переодеваньем займется боцман, а Степан и Корольков будут присутствовать, но отвернувшись.

Степан и Корольков отвернулись. Боцман, угрюмо и тяжело вздыхая, принялся за работу.

Наконец раздался долгожданный облегченный вздох боцмана:

— Ффу... Готово...

Степан повернулся. Девушка лежала переодетая. Мокрое платье и белье валялись на полу. Боцман тыльной стороной ладони вытирал пот со лба.

— Ну и бисова одева, — сказал он. — Не знаешь, за что и братья, с чего начинать...

И вдруг, свирепо выкатив глаза, рявкнул на Королькова:

— Чего стоите? Не видите — одеяла нужны, горячая вода, бутылки. Мигом! Корольков, вздрогнув, ринулся по трапу вверх, застучал каблучками по нальбе.

Смущенно улыбаясь, боцман сказал:

— И-их, до чего ж извелась она. Суток небось двое была на воде, больше. Синяя вся, ну прямо сердце не терпит смотреть на нее. Такая жалость...

И, словно устыдившись своей слабости, добавил строго и начальственно:

— Давай-ка, Полосухин, водку сюда. Оно дело-то вернее будет.

В это время явился и Корольков с большим чайничком, двумя пустыми бутылками и парой одеял. Девушку укутали, к ногам положили грелки, разжали рот и влили водку — вместе с перцем, по настоянию боцмана. Средство оказалось и в самом деле чудодейственным — девушка поперхнулась, закашлялась, хотя глаза ее попрежнему оставались закрытыми.

— Продирает, — сказал боцман удовлетворенно.

И он хотел тут же влить девушке еще полстакана, но Степан упрямил его подождать.

Прошло минут пятнадцать, девушка открыла глаза. Они были мутными, бледными, тусклыми. Взгляд ее остановился на Степане; он понял немой вопрос.

— Вы на военном катере, — ответил он. — Мы подобрали вас в море, милях в пятидесяти от берега. Теперь все в порядке, теперь вы уже не погибнете.

Она как будто не слышала, опять закрыла глаза и притихла.

Боцман отправился на мостик — докладывать командиру о выполнении приказа. Корольков пошел в машинное отделение откупоривать банку со сгущенным молоком. Степан остался около девушки.

Он смотрел в ее бледное лицо со смешанным чувством любопытства, сострадания и светлой гордости. Необычайно радостно было ему видеть, как к де-

взвук возвращается жизнь и заявляет о себе едва уловимыми признаками — легким трепетом ресниц, дрожью губ, слабым движением тонких восковых пальцев. А ведь всего этого могло и не быть — еще бы немного, и подобрали бы труп, и было бы в мире одним хорошим человеком меньше. Степан не сомневался, что девушка эта — очень хорошая девушка: разве иначе ей бы так повезло? Он старался угадать, кто она, откуда, как зовут, комсомолка она или нет, учится или работает. Он разглядывал девушку с наивной горюстью, как будто сам только что слепил ее из глины и вдохнул в ее тело живую, горячую жизнь. Он испытывал примерно такое же чувство, какое испытывает хирург, сумевший спасти безнадежного больного, приговоренного к смерти, — простое, но высокое и самое, быть может, благородное в мире чувство бескорыстной радости.

В кают-компанию заглянул командир, посмотрел на гостью, одобрительно усмехнулся.

— Пусть лежит. И в Севастополе до утра ее не будем беспокоить. А вам, Полосухин, придется ночь подежурить — одну оставлять нельзя.

Степан готов был дежурить хоть неделю подряд.

Командир ушел. А вскоре девушка открыла глаза и спросила слабым голосом:

— Как я попала сюда?

5

К утру девушка — ее звали Вера — заметно оправилась, на щеках проступил румянец, в глазах появился блеск, голос окреп. Степан — радушный хозяин — безустали угощал ее персиковыми консервами, кофе, газетам, она смущенно отказывалась и просилась поскорее домой.

— Меня в больницу не надо отправлять, — говорила она. — Мне дома лучше будет. Полежу два дня, и все пройдет.

Степан уговаривал ее показаться все-таки врачу, она упорно не соглашалась, уверяя, что совсем здорова, если не считать легкой слабости и головокружения. Попутно она рассказала свою историю, очень простую и обычную в наши дни. Родителей у нее нет, живет вместе со старой теткой. Служит телефонисткой. Ездил в Одессу повидать брата — командира из Осыповской бригады морской пехоты. Отвезла ему белье, банку варенья, еще кое-какие подарки. Возвращалась на маленьком и ветхом пароходике. Палател «Юнкерс», начал бомбить. Она надела пояс, в это время бомба попала в корму — и больше она ничего не помнит. Очнулась на воде, ночью, одна... Утром и тем дважды видела корабли на горизонте, но очень далеко — они прошли не заметив. После полудня опять потеряла сознание. Остальное известно...

— И много людей было на пароходе? — спросил Степан.

— Нет, немного. Все больше женщины, дети. Когда он начал бомбить, он спустился совсем низко. Ему показывали детей, поднимали вверх. Он видел. Но все равно бомбил...

Молчали долго. Лицо Степана потемнело, стиснулись зубы и сузились глаза.

— Да! — сказал он, наконец, с глубоким вздохом. — Не было там нашего катера. Мы бы ему, подлецу, побомбили! Мы бы ему насыпали горячих под хвост!

Чтобы хоть немного утешить Веру, он рассказал о пяти сбитых катером самолетах. Вера огорчила его вопросом, не артиллерист ли он. Принялось признаваться, что не артиллерист, а старшина группы рулевых. Объяснять же, что

по сравнению с артиллеристом рулевой в бою лицо еще более ответственное и важное, Степан не стал из спасения, что девушка согнет его хвостом. Он вообще был с нею очень сдержан, безукоризненно вежлив, как требовали того форма и официальная корабельная обстановка. Даже когда Вера, взглянув в зеркало, воскликнула:— Ах, какая я стала за эти дни!— он промолчал, считая, что комплимент был бы излишним и неуместным. Словом, держался он вполне солидно, как подобает воспитанному флотскому командиру.

Вера попросила поскорее отпустить ее домой.

Командир, занятый проверкой журнала и документов, выслушал Степана рассеянно.

— Если уж ей так хочется домой, проводите ее домой.

Но это оказалось делом сложным. Прежде всего — платье. Оно вышло в машинном отделении, но вид имело такой измятый, как будто побывало на зубах у коровы. К счастью, на одном из соседних тральщиков нашелся электрический самодельный утюжок. Оставив Веру одну заниматься своим туалетом, Степан поднялся на палубу.

Сколько же пришлось ему ждать! Сколько намеков и шуток пришлось ему выслушать! Он отшучивался, смеялся, но в глубине души злился на Веру и поглядывал тайком на часы. Двадцать минут... тридцать... сорок... Что она делает там, в кают-компании? Ведь ни пудры, ни румян, ни губной помады у нее нет — чем же еще можно заниматься битых сорок минут?

Но когда Вера появилась, наконец, на палубе, все притихло: так она была хороша! Она умылась, причесалась, а бледность красила ее еще больше. Только сейчас, при ярком солнечном свете, Степан разглядел как следует ее брови. тонкие и прямые, как стрелки, глаза — темнокарие, с золотыми искорками в глубине. Смущаясь и краснея, она подошла к командиру и поблагодарила его, пожала руки всем, кто был на палубе (Евтушенко при этом покосился на Степана и мрачно засопел), сказала, что никогда не забудет своих спасителей и обрадуется всякому случаю оказать им какую-нибудь, пусть самую ничтожную, услугу. Командир в ответ пожелал ей счастливого пути, доброго здоровья, удачи в делах, и она, в сопровождении Степана, сошла на пристань.

Был полуденный час, тихий и знойный, курчавились темные кипарисы, капая горячей смолой, каблучки слегка прилипали к асфальту. Море сияло, густо-синее у берегов и хрустально-зеленое вдали, где протянул по горизонту хвост черного дыма какой-то уходящий на Кавказ пароход. Жаркая сквозная тень листвы скользила по белым костюмам прохожих.

Вера шла очень медленно, иногда останавливалась. Степан видел, что ей трудно, а путь предстоял еще дальний и, главное, — в гору. К счастью, мимо проходила эмка, за рулем которой сидел знакомый шофер. Он охотно согласился сделать небольшой крюк и подбросить Степана с его спутницей до мостика, откуда оставалось пройти к ее дому всего лишь один переулочек. Во взгляде шофера, кинутым вскользь, Степан уловил не столько дружескую усмешку, сколько зависть, и это было приятно ему. Значит, в самом деле хороша его спутница, если завидуют!

Дорогой в машине завязался интересный разговор.

— А что, у вас на катере все такие смелые, как вы? — спросила Вера.

— Как я? — удивился Степан. — А вы откуда знаете, что я смелый?

— Мне так думается, что вы обязательно должны быть героем.

— Нет... — Степан грустно усмехнулся. — До героя мне далеко.

И, вырванный своему нраву говорить всегда правду, он рассказал ей, как однажды в разбеге под огнем сгинули до того, что даже командир заметил.

Она выслушала внимательно, подумала и серьезно сказала:

— Нет, вы ошибаетесь. Это даже и не похоже на трусость. Вот если бы вы бросили штурвал и убежали куда-нибудь, тогда вот была бы трусость.

— То есть, как это бросить штурвал?— сказал он изумленно. Подобная мысль до сих пор никогда не приходила ему в голову.— Как же может рулевой на вахте и вдруг бросить штурвал?

— Вот я и говорю, что вы очень смелый. А трусость — это совсем другое. Рядом с нами в соседнем доме техник один живет, Кротов. Вот это самый настоящий трус. Однажды днем самолет немецкий появился над нашим районом и сбросил две бомбы. А Кротов собрался петуха к обеду резать и уж поймал его и топор приготовил, а тут вдруг воздушная тревога, стрельба, самолет над головой. Он до того от страха обезумел, что заскочил домой, схватил первое, что под руку попало, — гитару и помчался в щель. В одной руке гитара, а подмышкой — живой петух ногами дрыгает. И в щели он — честное слово не вру! — до полуночи просидел. Его звали, успокаивали — так и не вышел. Мать-старушка обедать ему в щель носила.

Вера закинула голову и закатилась неудержимым смехом — до слез.

— Не могу! Как вспомню, так не могу. В одной руке гитара, а подмышкой петух. Я как увидела из окна, так и повалилась!..

И Степан развеселился, глядя на нее. Посмеявшись, спросил:

— А сами вы ходите в щель?

— Вот еще!

— Напрасно! — солидно и наставительно заметил Степан. — Надо укрываться. Бомба, она ведь не разбирает...

Разговор прервался, потому что эмка остановилась у мостика.

Шофер покатил дальше, поблескивая на солнце стеклами своей машины. Степан повел Веру вниз по лестнице, осторожно и заботливо поддерживая под локоть. И — странное дело — это легчайшее прикосновение к ее обнаженному локтю наполнило его непонятным и смутным волнением. Он шел и готов был так идти без конца, и ему ничего не нужно было бы от нее — только поддерживать слегка под локоть и заглядывать иногда в бледное тонкое лицо с наспешными губами.

— Вот здесь я живу, сейчас за поворотом, — сказала Вера и вдруг, ткнув, судорожно вцепилась в рукав Степана.

Он сразу понял все. От углового дома осталась только половина. Вся внутренняя стена была открыта, напоминая театральную декорацию; ветер швырял лохмотья разноцветных обоев с обгоревшими краями — бортовых в нижнем этаже, голубых и канареечных — в верхних. А еще выше, повиснув над пустотой, подобно ласточкиному гнезду, прилепилась к стене белая раковина умывальника. Все остальное лежало на земле бесформенной оплывающей грудой камня, и в этой груде копался какой-то высокий человек в мягких войлочных туфлях на босу ногу, без шапки, с лысой яйцеобразной головой, отблескивающей на солнце сухим костным лоском.

— Товарищ Кротов! Петр Аркадьевич! — окликнула Вера слабым локтем толосом.

Человек, прищурившись, взгляделся, взмахнул руками и, осторожно перешагивая через торчавшие там и здесь обуглившиеся балки, рамы и косяки, вышел на тротуар.

— Вера Васильевна!—воскликнул он.— Вот уж горе-то!

— Когда?—сухими губами спросила Вера.

— Дней пять уже...

— А тетя?

Кротов промолчал. Его молчание было понятным. Вера поникла.

— И соседка ваша, Евгения Павловна,— тоже,— сказал Кротов, сбивая серую пыль со своей толстовки.— А накануне вечером взяла у нас электрический чайник. И вот, понимаете ли, никак не могу найти!

Степан, несмотря на всю драматичность минуты, с любопытством посмотрел на этого человека, который бегаёт в щель с гитарой и петухом подмышкой, а после полета ищет в развалинах свой электрический чайник.

Вера молчала. Глаза ее потухли. Молчал и Степан. Чем он мог утешить ее, случайный знакомый, простой моряк с военного катера?

— Вера Васильевна!— проникновенным голосом сказал Кротов.— Вы знаете, как мы к вам относимся— я и мама. Вы лишились тети, остались без крова. Вера Васильевна, вы обидите нас— меня и маму,— если откажетесь от нашего гостеприимства.

Соболезнующе поджав губы, Кротов взял Веру под руку.

Степана он тоже пригласил зайти.

Поднялись по грязной лестнице, усеянной обрывками бумаги, клочками рожи, сружками, остановились перед неприветливой желтой дверью, которая не окрашивалась лет, вероятно, двадцать. Кротов постучал. Послышались мелкие шаркающие шаги. «Кто?»— выскнул тонкий голос. Кротов ответил, и за дверью началась возня, лягалье, шелкалье. Когда Степан вошел, то понял, почему для открывания двери понадобилось столько времени: дверь запиралась английским замком, засовом, крючком толщиной в добрый корабельный трос и еще сверх того— на обычный внутренний замок.

Мать Кротова, серенькая маленькая старушка, засуетилась, затряслась, увидев Веру, на глазах у нее показались слезы, губы жалостливо опустылись. Кротов провел гостей в комнату. Вера села на диван и застыла, глядя перед собой пустыми глазами.

— Прощу,— сказал Кротов, указывая Степану на мягкий стул, обтянутый чехлом, а сам опустился в кресло напротив, достал из кармана жестяную баночку, открыл ее, затем аккуратно отрезал ножницами кусочек тонкой бумаги и принялся сосредоточенно и серьезно вертеть папиросу.

— Желаете?— предложили он. Степан отказался. Пока Кротов, берегая табак, собирал крошки обратно в коробочку, Степан разглядывал комнату. Это была высокая и большая комната, но казалась она маленькой и тесной от нагромождения вещей. На многочисленных шкафах до самого потолка навалены были какие-то ящики, плетеные корзины, сундуки, мешки, перевязанные шпагатом. Целая дюжина стульев, одетых чехлами, жались по стенкам; все четыре угла занимали этажерки и тумбочки, из которых одна, белая, имела явно больничный вид. Два свернутые в рулоны и перевязанные веревками ковра лежали на полу. Особенно удивило Степана обилие велосипедных колес: два колеса стояли на шкафу, два висели над дверью и еще одно поблещивало откуда-то из-за этажерки...

— Угостил бы вас чайком, да вот чайник пропал,— сказал Кротов.— Такая досада!

За окном, в потоке солнечных лучей, пышно зеленел кларне, свистели птицы, а здесь, в комнате, было душно, сумрачно, пыльно и тускло от бес-

порядочно наваленных вещей, от плешивых обоев, а еще больше от самого хозяина.

— Значит, вы военный моряк?—спросил Кротов.

— Точно так, — ответил Степан.

— Ужасно, ужасно!—и Кротов поцпие головой.— Вот, говорят, Ленинград весь в пламени. Немцы полгорода уже заняли.

— Ерунда!—сказал Степан.—Спросите балтийцев, они вам точно скажут. Ни одного немца там нет, кроме пленных.

— Мне знакомый один говорил. Он немецкую листовку читал. Там и снимок был — Ленинград в огне. Вам такая листовка не попадалась?

— Контрреволюцию не читаю, — ответил Степан.— Да и вашему знакомому не советую.

Кротов притворился, что не понял намека.

— Трудно, трудно!—вздыхнул он.— Кто мог подумать?.. А сила какая! Францию — в три недели, Югославию — в три недели, Лондон — в щелки, в черепки! А? Вот тут и повоюй с ними!..

Степан промолчал, думая: «С тобой повоюешь, действительно! Сидишь, лысый чорт, слюни только пускаешь да чайнички свои откальываешь. Лопату бы тебе да на фронт — окопы рыть!»

Посидев из вежливости еще несколько минут, Степан встал, попрощался с Кротовым и, не заходя в соседнюю комнату, — с женщинами. Вера извинилась, что не может выйти, просила навещать. Дверь открылась перед Степаном, потом захлопнулась, и долго еще слышалось за дверью скрипение, щелканье замков и металлическое ляганье. Кротов задралвал свою квартиру.

Как легко Степану вздохнулось на улице! Бывают же такие тоскливые, мутные люди на свете!.. «Чорт с ним!— вслух решил Степан.— Мне детей с ним не крестить!»—Неприятно было только думать, что Вере теперь придется жить рядом с Кротовым — не компания он ей. А какое, в конце концов, ему, Степану Полосухину, военному моряку, старшине первой статьи, дело до всего этого? Пусть живут, как хотят. Случайно встретились, поговорили, разошлись и никогда не увидятся больше. По морям, по волнам, нынче — здесь, завтра — там... Матросская жизнь известная... А если Вера просила заходить, то, вероятно, просто для приличия. Пожалуй, заходить и не стоит.

На этом Степан и порешил — не заходить. Военное время — до новых ли тут знакомств. И когда он это решил, то в груди почувствовал грустную опустошенность, словно проводил в дальний путь кого-то, очень близкого и родного...

В сквере у памятника Ленину он подполз к парапету набережной, облокотился на теплый камень, снял фуражку, подставив лицо и волосы морскому пахучему ветру. Плескались волны, необозрима была непельная синева, и глаза в ней тонули...

6

В начале октября катер вместе с последними кораблями уходил из Одессы. В жизни Степана еще не было часов тяжелее. Ночь выдалась темная, а город пылал, и на тихой воде дрожали зловещие багровые отсветы. Воздух гудел от рокота немецких моторов; бомбы и мины, взрываясь, поднимали высоко в темноту столбы кипящего пламени.

Одесса, героический город, бестрепетно отразивший десятки атак и штурмов, перешла в руки врага. Думать об этом было нестерпимо... Подрагивая,

глухо стуча моторами, слегка покачиваясь на тихой волне, катер уходил все дальше в ночное море, и скоро от покинутой Одессы осталось только зарево на горизонте. Прощай, Одесса! Ночь глухо, бессмысленно стояла вокруг; за катером, переливаясь тихим голубым огнем, тянулась светящаяся дорога.

Совсем рядом услышал Степан странные звуки. Порывисто обернулся и скорее угадал, чем узнал боймана Евтушенко.

— Бойман! — тихо окликнул Степан. Евтушенко не ответил — он плакал. Это были не рыдания, а какие-то хриплые стоны, словно на плечи Евтушенко навалилась стонудовая глыба, и он изнемогает под ее тяжестью.

— Ну, гадюки! — вдруг сказал Евтушенко и, не договорив, замолчал надолго. О чем он думает? «Матросские слезы, — вспомнил Степан слова своего отца, — они в одной цене с кровью ходят». И, как будто отвечая на эти мысли, Евтушенко заговорил горячо и прерывисто:

— Ну, гады, теперь узнают они Евтушенку! Мне бы только на сухопутье выбраться, мне бы только в батальон попасть!.. Руки отобьют — зубами буду грызть, ноги отобьют — на брюхе доползу! Сам пропаду, но живым ни одного не выпущу. В землю гадюку! Земли захотел — я его накормлю!..

Он задохнулся, скрипнул зубами. Степан, присмотревшись, заметил на его лице мгновенные судороги, пробегавшие подобно электрическим вспыхкам.

— Был у меня дом в Херсоне, — глухо и трудно сказал Евтушенко. — Мать была и сестренка. В техникуме она училась... Херсон у немцев. Писем нет. Значит, остались там.

«Может быть еще объявятся», — хотел сказать Степан, но во-время почувствовал всю неуместность своих утешений.

— Мать у меня коммунистка, — продолжал бойман. — Значит — в мошлу. Сестренке девятнадцать лет. Эту — в солдатский кабак...

Он так произнес эти слова, что Степан понял: в жизни у боймана теперь осталось одно — месть. Такое горе внешне не заливают; его можно залить только вражеской горячей кровью.

Евтушенко был не единственным и не первым. Уже много раз Степану приходилось встречать людей, для которых месть врагу была необходимым, обязательным условием существования. Эти люди не смогли бы жить, если бы их вдруг лишили надежды снова рассчитаться с врагом пулей, снарядом, гранатой, штыком...

Немцы продвигались берегом Черного моря, захватывая города и села, которые с незапамятных времен пополняли моряками славный Черноморский флот. И чем дальше продвигались немцы, оставляя за собой мрак и смерть, тем яростнее, с невиданной доблестью и отвагой дрались батальоны морской пехоты — прославленные «черные комиссары» — николаевцы, херсонцы, марипольцы и севастопольцы. Беспрестанно палимые горячей жаждой мести за свои разрушенные города, за свои сожженные дома, за свои персбитые и обесчещенные семьи, моряки дрались, презирая смерть и никогда не сдаваясь в плен. Немцы, рассчитывая своей жестокостью посеять в сердцах наших людей цепенящий, гибельный ужас, добились обратного — ярость гнева воспламеняла бойцов огненной отвагой. Таким стал и Евтушенко: разье мог он теперь пошутиться смерти, если жить ему, не отомстив, все равно нельзя было!.. Ногами в Крыму, в окопах, под Ростовом и на Азовском побережье, прожигая сухую землю, падали, подобно расплавленному свинцу, скупые, тяжелые слезы... То были матросские слезы — в одной цене с кровью!

Почтой разговор сблизил Степана и Евтушенко — они решили вдвоем проситься в морскую пехоту. Но для этого нужен был удобный подходящий случай, потому что просто так командир Негорелов, конечно, не отпустил бы с корабля ни Степана, ни бодмана.

Между тем хватало работы и катеру. Катер выполнял одно боевое задание за другим с неизменной оценкой «отлично», но Степан все мечтал о своем переводе в морскую пехоту. И с каждым днем эта затаенная мечта представлялась ему все более далекой и недоступной. «Ну что же? — грустно размышлял он. — Война есть война, ей нужны и герои и чернорабочие. Кто-то должен сопровождать транспорты, нести дозорную службу — без этого нельзя... Такая, значит, судьба — приказано! Что тут можно сказать, кроме короткого «есть!..»

7

Повезло, наконец, и Степану. Удалось ему все-таки близко увидеть фрицев.

Катер вышел из Ейска на выполнение боевого задания. Над морем, едва просвечивая сквозь плотные тучи, догорал мутный и тусклый закат; порывами лаял ветер, холодный, недобрый, обещая к ночи дождь и сильный шторм. Качку почувствовали сразу же, как только отошли от стенки; посередине бухты качало уже изрядно, а там, дальше, высоко вздымая сивые гребни, с гулом и свистом ходили лешистые валы, желтые у берега и мутнозеленые в открытом море.

Для рядового, обычного рейса, с заданием сопровождать какой-нибудь транспорт, командование выждало бы погоду потише. Значит, рейс предстоял особенный.

В открытом море, за бортами, катер сразу же накрыло волной, потом положило на борт. В следующую минуту катер глубоко зарылся носом, а его винты завывали в воздухе. Сплюнув соленую воду, Степан покосился на командира. Лейтенант перехватил его взгляд.

— Да, товарищ Полосухин, почка будет веселая. — И многозначительно добавил: — А утро, возможно, еще веселее.

«Ого! — подумал Степан. — Значит, идем на серьезное дело!»

Через полчаса боевое задание было объявлено всей команде. Катер шел на разведку в бердянский порт. По имеющимся сведениям, немцы для каких-то неизвестных целей переоборудуют и вооружают в этом порту несколько рыбацких шхун. Катер получил задание проверить сведения и, если они подтвердятся, обстрелять и по возможности уничтожить вооруженные шхуны.

Тучи понемногу разошлись, и в темнеющем преисполненном небом вышелем просветы. Но ветер усиливался, и впереди все ниже к воде опускалась густая зловонная гряда облаков, как бы преграждая катеру путь. Шыряя, проваливаясь в ухабы и взлетая на гребни, катер под всеми тремя моторами шел ей навстречу. Степан не сводил глаз с компаса и только отрывался, когда на мостик захлестывала вода. Командир, в непромокаемом плаще и резиновых сапогах, стоял, как обычно, рядом.

Сумерки опускались стремительно, над морем нависала штормовая тревожная мгла. Море кипело — седое, взлохмаченное, серлитое, пена вмерзала через катер от носа до самой кормы. Лейтенант Негорелов, сдержанно ворча, выловил из-под капитана свою фуражку, снял с нее эмблему и спрятал

глубоко в карман. Он только недавно с большими трудами достал у какого-то приятеля эту эмблему и не хотел, чтобы она так скоро потускнела и позеленела от морской воды.

— Держитесь! — прозвучал над самым ухом Степана голос командира, а следующих слов он не успел расслышать — на одно мгновение он увидел высоко над собой белый мохнатый гребень, и тут же на надубу с грохотом и яростным ревом обрушились, подобно могучему водопаду, тонны, десятки тонн соленой воды. Катер на несколько секунд был целиком затоплен ею и, казалось, замер неподвижно, придавленный и обессилевший под этой страшной тяжестью... Но вот Степан опять почувствовал ритмичную работу моторов, вода схлынула, катер, покачиваясь, начал выползать из волновой пронасти, — и опять появились звезды над головой. Они были низкими и мерцали так ярко, словно ветер раздувал их своим холодным дыханием.

— Я думаю, дальше будет легче! — закричал командир. Голос его, срываемый ветром, донесся до Степана как бы издалека. — Думаю, выйдем из шторма. Но пока не выйдем, я вас не смею.

Ветер сорвал последние слова, катер, накрепившись, скользнул куда-то в сторону, звезды испуганно лобезжали по небу и спрягались, Степана сильно качнуло, бросило вперед, на штурвал. На какое-то неумовимое мгновение катер повис на жутком бездонном откосе и вдруг со зловещим стоном ринулся вниз, в глубину. Степан прильнул грудью к штурвалу; вода ударила его по ногам, окутала пеной, хлестнула по лицу, наполнив рот горькой солью. А потом сразу наступило затишье, ветер упал, и Степан явственно услышал журчанье воды под ногами.

Он не поверил этому затишью. Он с детских лет хорошо изучил коварный нрав шторма. За себя он не беспокоился — он мог бесшестно простоять у штурвала хоть двое суток. Но мысль о катере его тревожила. Через такие шторма еще не доводилось ходить. Выдержит ли катер, не раздавит ли его, как скорлупку, свирепая ярость шторма?

Командир как будто угадал его мысли.

— Выдержим! — Ветра не было, и голос командира слышался отчетливо. — Катер ленинградской работы. Там плохо не делают. Балтийцы — они в этих делах толь понимают.

Сбоку из темноты неожиданно возникла коренастая фигура ботмана.

— Чайку, товарищ командир.

Балансируя по скользкой надубе, он напечат из чайника большую кружку и протянул командиру. Вгорую кружку подал Степану.

Степана, пасквозь промокшего, уже начала пробирать колючая мелкая дрожь. Чай был сладкий, в меру горячий, пополам с портвейном. Он пришелся очень кстати.

Темнота сгусталась. Даже тот бледный отсвет, что падал на море от звезд, слабел, сменяясь густой чернотой.

Ботман, приняв пустые кружки, исчез.

Томительное затишье все продолжалось. Катер шел прямо, потыряывая и содрогаясь на гребнях волны. Тугая, напряженная работа моторов слышалась отчетливо. Так прошло минут десять.

— Ветерок... — услышал Степан голос командира и почувствовал на влажном лице острую холодную струйку — первый вздох пробуждающегося урагана. Ветер парастал с постоянной и ровной силой; звук его, похожий вначале на отдаленную замирающую жалобу, ширился, переходя в тревожный рев. «На-

чалось!» — подумал Степан, шире расставил ноги и приткнул голову, приготовившись встретить удар. Но ураган не торопился. Над морем скользнула низкая синева-то-бледная зарница, за ней — вторая. В летучем блеске дальних зарниц Степан увидел горбатые огромные валы, поднимающиеся из тьмы; их пенистые всклокоченные гребни осветились мутным зловещим светом. Зарницы погасли, все опять погрузилось в черную почву, — и вот здесь-то налетел ураган.

Похоже было, что он долго бесповался и был за какой-то наглухо запертой дверью и, наконец, с размаху проломив ее, вырвался, буйный и пьяный, на волю. Катер застонал и шарахнулся в сторону под страшным, тяжелым ударом, словно это был не ветер, а какой-то невероятный гигантский взрыв. Степан сразу оглох и ослеп, палубы он не чувствовал под ногами, и только напряженный трепет штурвала в руках давал ему уверенность в том, что он остался на катере, а не смыт за борт.

— Против волны! Против волны!

Командир, напрягаясь, кричал в самое ухо Степану, но голос его через гул и свист урагана был едва слышен. Степан кивнул головой. — Есть! — прокричал он в ответ. Ветер душил его, заставляя прижимать подбородок плотно к груди. А какое уж было тут «против волны!», когда гигантские валы шли со всех сторон — и навстречу, и сзади, и с обоих бортов! Море взбесилось, закипело; оно швыряло, крутило, бросало маленький катер, поминутно обрушивая на его хрупкую палубу целые водопады.

Но в диком и разгульном смешении звуков Степан уловил отдаленный, слабый и очень знакомый звук; он вытянул голову навстречу ему и узнал голос командира. Непреклонный, противостоящий в одиночку всем звукам стихии. Напряженный, уверенный голос этот едва доносился, как будто Степана и командира разделяли сотни метров. Степан вслушался. Голос командира звучал совершенно спокойно; это было как чудо — человеческий спокойный голос в черном бурлящем водовороте.

8

Шторм бушевал всю ночь. На рассвете чуть стихло. Хлестал косой крупный дождь, седая мгла стояла над морем, закрывая видимость. Широко и разгульно ходили водяные горы, перехлестывали через катер, поднимали его на своих могучих хребтах, бросали вниз, к подножьям.

Навстречу попались два баклана; они летели, приближаясь низко к воде, тревожно вытянув шеи. Степан знал, что птица в такую погоду держится у берегов — значит, Бердянский уже близко.

— Теперь — внимание! — сказал командир. — Не проскочите входа в бухту. Помните — оборотов сбавлять не будем. Вся операция — на самом полном.

Бердянский порт открылся в серой мгле сразу и неожиданно, в каких-нибудь семистах метрах по носу. Еще яростнее завывли моторы, набрав предельные обороты; заглушая их тугой рокот, напряженно и непримиримо, призывая к бою, прозвучал сигнал боевой тревоги.

Атака началась, беспримерная атака, о которой немцы долго потом вспоминали в своих секретных приказах и циркулярах.

Разве могли немцы предположить, что этот неизвестный маленький катер, выскочивший на рассвете, сквозь черную штормовую почву, откуда-то из-за мохнатого белого гребня и влетевший на полном ходу в бухту, имеет дерзкое

и даже безумное намерение в одиночку атаковать целый порт? Да и откуда мог здесь появиться советский катер? Разве катера могут ходить через все море, да еще по ночам, да еще в такой шторм, когда и большие корабли, водоизмещением в тысячи тонн, отстаиваются в портах?

Пока немцы соображали, что может означать появление в порту неизвестного катера, они упустили первые и решающие секунды боя.

Катер стремительно ворвался в бухту. Здесь в затишье он легал, вспарывая носом воду, оставляя за собой белый пенящийся шлейф.

Несколько темнозеленых шхун и сейнеров стояло у восточного пирса. Это и были как раз те самые шхуны, о которых сообщала наша разведка; некоторые уже имели пушки на носу и пулеметы на борту, другие только еще вооружались. Над самым крайним сейнером нависла длинная сугавчатая шея передвижного крана с зажатым в клюве небольшим орудием. Несмотря на ранний час, в порту уже ходили грузовики, доносилось посвистывание паровоза, группы солдат хлопотали около каких-то ящиков и тюков, сложенных в штабеля.

Все это мгновенно мелькнуло перед глазами Степана; он сразу понял, что надо делать, угадал команду и, круто развернув накрепившийся катер, повел его вдоль выстроившихся шхун.

— Огонь!

Это был голос командира — звенящий голос, полный беспощадного и злого веселья. И еще не успел он затихнуть, как в ответ ему ударили разом оба орудия.

В грозную музыку пушек включились короткими и частыми очередями пулеметы. На какую-то ничтожную долю секунды Степан увидел боцмана; преобразенное гневным и грозным восторгом, его лицо сияло, светилось, и опять, как тогда, ночью, по нему пробегали, подобно электрическим вспышкам, короткие судороги. Прильнув к пулемету, боцман косил немецких солдат на пристани.

Ошеломленные и перепуганные, они бестолково метались, кричали, не догадываясь даже залечь. А Евтушенко бил их и бил почти в упор, с восьмидесяти метров, крупнокалиберными пулями, после которых никто не встает!..

Командоры тоже знали свое дело и не теряли времени зря; уже десятки пустых гильз лежали на палубе около орудий, уже десятки фугасных и зажигательных снарядов впились в чистенькие, заново окрашенные борта немецких шхун, разворачивая обшивку, ломая шпангоуты, дробя машины, пробивая бреши под водой. И уже темный дым густо валит из крайнего сейнера, начинали дымиться соседние шхуны. Вдруг над одной из них вымахнул искристый пышный султан огня и красиво изогнулся под ветром. Это было как бы сигналом — сразу вспыхнула еще одна шхуна, за ней вторая; из Степана пахнуло теплой и душистой гарью.

Только тогда ударил с берега первый орудийный выстрел, застрочил первый автомат. Только тогда немцы опомнились!.. Но было уже поздно: катер на полных оборотах, не прекращая огня, летел к выходу из бухты, в открытое море. Да и зачем бы стал он задерживаться, если боевое задание выполнено до конца!

Оно, это боевое задание, было даже перевыполнено. Это произошло в тот момент, когда на выходе из порта первый вал открытого моря, подхватив катер, бросил его в яму и накрыл своим гребнем. В этот самый момент расчет кормового орудия успел пустить снаряд в одинокую скромную баржу, прижав-

нуююя к ветхому деревянному настилу... И сразу все дрогнуло и па воде и на берегу от страшного огненного удара, гигантский смерч яркого желто-красного пламени взвился в мглистое небо. Степана сорвало с мостика, швырнуло на палубу; катер, лишенный управления, боком заковылял поперек волны. К счастью, все это продолжалось не более трех секунд. Вал, грозивший перевернуть катер, не успел докатиться; Степан, вскочив, одним гигантским прыжком метнулся к штурвалу, схватил его и успел поставить катер носом к волне.

А порт был весь закрыт тяжелым облаком дыма и пыли — там что-то рушилось, падало, что-то горело, взрывалось... Степану некогда было разглядывать. Одно только понял он с несомненностью — скромная баржа оказалась битком набитой боеприпасами — возможно, минами или авиабомбами, и если бы в момент взрыва катер находился чуть ближе к ней, для Степана и его товарищей все было бы кончено навсегда. К счастью, обошлось благополучно...

Здесь Степан заметил, что катер заметно сбавил ход, кроме того, шла какая-то суета у левого пулемета. Командира не было на мостике. Когда он подошел — тяжелым шагом, с потемневшим лицом, сдвинутыми бровями, глубокими резкими складками около рта, — Степан почувствовал беду.

Порт молчал и не обстреливал уходящий катер. После взрыва там вряд ли уцелело хоть одно орудие. Огонь вели какие-то отдаленные немецкие батареи — частый, но беспорядочный огонь. Да и мудрею было накрыть залпом маленький катер, вдобавок еще поминутно исчезающий за волнами. Снаряды падали далеко, не причиняя вреда. Катер шел средним ходом; Степан по звуку определил, что работают два мотора, и те не на полную мощность. Зона обстрела кончалась. Последний снаряд упал уже далеко позади, подняв над морем водяной столб.

Итак — на базу, к дому! Степан не сомневался в благополучном возвращении. Кто мог помешать катеру? Самолеты? Они не лезут в такую погоду. Шторм? Но и шторм начал как будто стихать. Да если бы он даже и усилился, то все равно никогда не смог бы сравниться с почным бешеным ураганом. Успокоение сошло на Степана, и вместе с ним — сопливая усталость. Отяжелела голова, ослабли ноги, руки потеряли упругость. Штурвал казался излишне тугим и проворачивался с усилием.

— Я подозреваю, что мы ворвались в порт прямо по мнному ялю, — сказал командир. Подумав, он озабоченно добавил: — В тихую погоду это довольно безопасно при нашей осадке. Но в такую волну — рискованно.

Его глаза были красны от ветра, бессонницы и морской соли; тот напряженный блеск, которым горели они в минуты лихой атаки, ушел куда-то в глубину.

— Очень беспокойная была ночь, — вздохнул командир. — Вас сейчас смеют, я приказал... В этом походе, товарищ старшина, вы проявили себя с наилучшей стороны. Выше всяких похвал. Я доложу командованию и буду ходатайствовать о досрочном присвоении вам следующего звания.

Помолчав, командир сказал:

— Эта баржа обошлась немцам дорого, но и мы кое-что получили. Какой-то железный обломок угодил нам в моторы. В борту пробойна. Один мотор вышел из строя. Остальные держатся на честном слове. Потеряли много бензина. Поврежден левый пулемет.

Он говорил медленно, с большими паузами, точно слова с трудом давались ему. Свистел ветер, срывал пену с гребней, гнал на запад белесые растерзан-

ные ключья, надувал и шевелил откинутый капюшон плаща командира. Степан чувствовал, что командир сказал не все, осталось еще что-то — самое тяжелое и трудное.

Так оно и было на самом деле.

— Моторист Бабушкин ранен, — закончил командир. — В грудь и в голову... Не знаю — доведем ли живого...

За все время войны это был на катере первый раненый. До сих пор вело — обходились без потерь, а вот сегодня война как будто решила напомнить, что несет с собой не только радость боев, громкую славу побед, но и значительную тяжесть невозвратимых утрат, страдания, кровь, смерть...

9

Сменившись, Степан спустился в кают-компанию, куда перенесли раненого Бабушкина.

— Кто? — сдержанно и сердито окликнул боцман из-за двери. Узнав по голосу Степана, открыл.

Первое, что увидел Степан, было лицо Бабушкина — прозрачно-бледное и смертельно-спокойное под белой марлевой повязкой на голове. И потому Степан уже не мог больше оторваться от этого лица, — он говорил с боцманом, спрашивал, отвечал, а глаза были точно прикованы к затемненному углу дивана.

Бабушкин умирал тихо, без стонов и хрипов, как будто смерть не вырывала его из жизни, а бережно уводила, обманывая своей коварной и вкрадчивой мягкостью. Веки его были опущены, он не шевелился, почти не дышал, только по губам и ресницам пробегал иногда легкий трепет. И все... Что было в нем, в этом едва заметном трепете? Жалоба? Тяжесть расставания навсегда со всем, что он любил в жизни — задумчивый моторист Бабушкин, любитель грустных песен и стихов, мечтатель, бредивший наяву кругосветным плаванием и таинственными островами Тихого океана... Он умирал и знал, что умирает.

— Дима! — позвал Степан, думая, что Бабушкин не услышит, что сознание уже покинуло его. Нет, он услышал, даже хотел поднять веки, но только едва шевельнулись.

Минута за минутой проходили в молчании; странно было видеть безжизненные, неподвижные пальцы Бабушкина, темно блестящие от машинного масла.

Да, в роковой час он принял жестокое решение судьбы с достоинством и спокойно, как подобает воину. Степан смотрел в его лицо и чувствовал, что проникает взглядом глубже, в самую душу Дмитрия Бабушкина, и там, в глубине, нет ни жалобы, ни горького сожаления на судьбу, ни черного страха перед небытием. Степану казалось, что он видит, читает, чувствует все мысли Бабушкина, — это были чистые и высокие, самые важные, самые значительные мысли, какие только могут быть у человека!

Он умирал, уходил навсегда — и был спокоен, потому что знал твердо, что оставляет за собой жизнь, хотя и короткую, но полную, честную и прозрачную, как горный поток. Это была жизнь советского юноши — прямая от начала и до конца. Каждый день ее, каждый час был полон до краев благородной работой во славу отчизны, подвигами, дружбой, мечтами и, может быть, робкой юношеской любовью.

Степан мельком взглянул на боцмана. Евтушенко поднялся, шагнул вперед и встал прямо над умирающим, заслонив его своей широкой спиной от Степана.

— Дима! — громко, с напором сказал боцман; голос его прозвучал гулко тесной тишине кают-компания. — Прощай, друг!

Боцман задохнулся.

— Прощай, — повторил он. — Ты недолго прожил, товарищ, зато хорошо прожил, и за это спасибо тебе от нас — от меня, и от Степана, и от всего народа... И низкий поклон...

Боцман по-крестьянски, истоиво поклонился в пояс умирающему.

— А пасчет немцев, — продолжал он, медленно выпрямляясь, — насчет немцев ты, Дима, не сомневайся, — пока патроны есть, штыки есть, руки есть — будем бить, Дима, гнать будем гадов, в землю загоним всех до последнего! Ты, Дима, не сомневайся, за тебя я цену уже назначил — десяток! Слово тебе даю — матросское... Пока буду жив...

Не закончив, он оборвал свою речь так же резко и неожиданно, как начал. Он сел. Степану опять открылось лицо умирающего.

Короткая дрожь скользнула по этому прозрачно-белому лицу и погасла. И вдруг поднялись веки — легко, без усилия, и блеснули глаза. Они даже не светились — горели на белом, уже полумертвом лице. Бабушкин пошевелился, хотел приподняться — не смог. Боцман торопливо поднес ему кружку с водой.

Бабушкин омочил губы, остановил взгляд на боцмане — ясный, осмысленный взгляд, прожигавший, казалось, насквозь. Потом перевел глаза на Степана. Губы его слабо зашевелились. Он прошептал что-то, совсем невнятно, и затих. Но какая-то настойчивая потребность не давала ему покоя; он весь сморщился, невероятное напряженное усилие изобразилось на его лице, в груди и в горле что-то заклокотало, и вместе с кровью, выступившей на губах, возникли слова.

Это был почти шепот, но внятный, такой же ясный и горячий, как взгляд. Степан весь устремился навстречу ему.

— Спасибо, — сказал умирающий. — Прощайте... И совсем не страшно... Держитесь...

Он, изнемогая, запрокинул голову; веки, медленно опускаясь, гасили жаркий блеск его глаз. Он беззвучно пошевелил немеющими губами — последние силы, видимо, покидали его. Но он еще не договорил, что-то осталось; мучительно было видеть эту борьбу на его лице, когда, напрягая всю волю, он преодолевал свою смертельную слабость.

И он преодолел. Слова на короткие секунды открылись глаза.

— Побеждайте! — сказал он внятно и требовательно. Слово прозвучало, как приказание. — Бейте! — Степану казалось, что голос умирающего возвысился до крика. — Бейте! Бейте! Бейте!

Это было последнее, что он сказал; медленная судорога повела все его тело. Чувствуя в горле душный комок, Степан отвернулся, приложив лоб к прохладной и скользкой обшивке дивана.

Сколько он так просидел — пять минут или десять? Он почувствовал на своем плече тяжелую ладонь боцмана.

— Все! — угрюмо и сурово сказал боцман и, склонившись над Бабушкиным, поцеловал его в лоб. За ним поцеловал и Степан.

Ставший краснофлотец, моторист Дмитрий Бабушкин, тысяча девятьсот двадцатого года рождения, комсомолец с тысяча девятьсот тридцать девятого года — был мертв.

Глубокое молчание долго стояло в кают-компания. Глухо отдавались удары волн в тонкие борта. Бабушкин лежал вытянувшийся, длинный; юношески-

беспечная улыбка, что всегда играла на его лице, сменилась теперь выражением спокойной важности, словно за смертные свои полчаса он познал многое, недоступное ни боцману, ни Степану.

Молчанье нарушил боцман. Он повернулся к Степану и сказал:

— А ведь моторы наши не работают.

10

Моторы действительно не работали. Не было слышно их ритмичного гула. Палуба под ногами не содрогалась, как всегда, в такт оборотам.

Когда они остановились? Поглощенный созерцанием великого и скорбного события, происходившего в кают-компании, Степан не заметил этого момента. Не заметил и боцман.

С тревогой в глазах они смотрели друг на друга. Что это значит? Авария? В открытом море, в штормовую погоду, вблизи от вражеских берегов? Да, очевидно, авария. Поэтому командир и не пришел в кают-компанию принять последний вздох Бабушкина.

Степан и боцман поднялись на палубу. Пробежавший мимо Корольков наскоро рассказал им, что повреждения оказались весьма серьезными, моторы все время капризничали и, наконец, один за другим вышли из строя начисто.

Случись это где-нибудь у наших, советских берегов — для тревоги не было бы особых причин. Катер имел аварийный запас воды, продовольствия и вполне мог держаться несколько суток. За это время успели бы исправить моторы или, в крайнем случае, прицепились бы на буксир к какому-нибудь встречному кораблю. Но здесь, вблизи Бердянска, эта авария грозила гибелью. Советские корабли здесь не ходили. Времени для ремонта моторов не было. Ветер дул с моря и гнал дрейфующий катер к вражескому берегу. До встречи с землей оставались считанные часы.

Как выяснил Степан из разговора с помощником командира, один мотор отказал в 9.12, второй, и последний, — в 9.34.

В 11.00 командир БЧ-5¹ младший воентехник Петров, доложил лейтенанту Цегорелову, что надежды на быстрое окончание ремонта нет никакой. Требуется по крайней мере десять — двенадцать часов при самых напряженных темпах работы, но даже и в этом случае успеха гарантировать нельзя.

Между тем небо на nord-весте начинало понемногу проясняться — тучи расходились, открывая бледную, холодную голубизну. Прибавлялась еще одна опасность, большая, может быть, чем все остальные — от фашистских самолетов, которые с улучшением погоды, несомненно, пойдут в полет и, заметив дрейфующий катер, лишенный своего главного оборонительного оружия — неувренности, легко разбомбят его.

В 12.05 командир в бинокль увидел на горизонте смутные, сливающиеся с тучами очертания берега. Катер несло по косой линии — каждая пройденная миля приближала катер к берегу метров на триста пятьдесят — четыреста. Приблизительно можно было определить ту минуту, когда под кипом заскрипит носок. Командир подсчитал: в 15, самое позднее — в 16 часов.

— Там, в машинном! — зычно позвал командир.

Из люка высунулась потная, красная физиономия младшего воентехника, вся в масле.

¹ БЧ-5 — пятая боевая часть, то есть моторы.

— Жмите!— приказал командир.— Изю всех сил! Понятно? Каждые полчаса докладывать о ходе работ!

Повернувшись к Степану, добавил:

— Наш комсорг Бабушкин умер—вы знаете. Временно выполнение обязанностей комсорга возлагаю на вас. Бабушкина будем хоронить в море. Еще неизвестно, что мы встретим на берегу,— возможно, там и времени для похорон немцы нам не дадут. А отдавать тело товарища на поругание не годится. Пойдемте со мной.

Они прошли на нос, поговорили. Затем командир вернулся на мостик, а Степан ушел в кают-компанию. Там, наедине с бозмольным, уже похолодевшим товарищем, он провел минут двадцать. Он писал—горюливо, без помарок.

В 13.10 тело Бабушкина, обернутое брезентом, вынесли на палубу и положили у правого борта, обращенного не к берегу, а к морю. Боцман привязал к ногам мертвеца вышербленную чугунную зубчатку с темнооранжевыми наездами ржавчины по краям.

Вдоль борта выстроилась вся команда, за исключением только мотористов, занятых ремонтом, и вахтенных.

— Смирно!—скомандовал боцман, увидев приближающегося командира.

Все думали, что командир произнесет приличествующее случаю прощальное слово; он же начал свою речь совсем неожиданно.

— Вольно!—сказал он.— Из рядов не выходить. Товарищи, экстренно открытое партийно-комсомольское собрание команды нашего катера объявляю открытым. Товарищ Бабушкин, наш дорогой погибший товарищ, присутствует на собрании. Председателем предлагаю избрать товарища Полосухина. Секретаря сегодня не требуется, протокол будем подписывать все. Возражений нет?..

Возражений не было. Волнуясь, то бледнея, то краснея, оцупывая в кармане свернутый в трубочку лист бумаги, Степан по знаку командира вышел из шеренги вперед и стал в головах у Бабушкина.

— Слово для информации о создавшемся положении имеет командир катера лейтенант товарищ Негорелов!—сказал он.

Информация была краткой, но исчерпывающей. Катер дрейфует к вражескому берегу. Впереди—бой, и—наверняка можно сказать—неравный. Опасность велика, помощи ждать неоткуда. Все...

— Кто желает высказаться?—спросил Степан. Молчание. Оно длилось минуту, две, три... Волна захлестнула на палубу, обдала людей пеной и влажной пылью; брезент, которым был обернут Бабушкин, намок и потемнел снизу.

Молчание продолжалось. И не потому, что сообщения командира кого-нибудь испугало, ошеломило. Нет. Командир ничего нового и неожиданного не сказал... Просто, все было так ясно, бесспорно, что слова казались излишними.

Степан взял слово:

— Разрешите, товарищи, прений не открывать. Все ясно. Я зачитаю проект нашего протокола. Возражающих нет?

Выждав для порядка несколько секунд, он достал из кармана свернутый в трубочку лист и, постепенно разворачивая его, загоразиваясь плечом от ветра, начал читать—внятно, отдельно, подчеркивая голосом слова, которые казались ему особо важными.

Вот что он прочитал:

«Протокол

открытого партийно-комсомольского собрания
команды СК-108 (командир лейтенант Негорелов)
от 27 октября 1941 г.

Присутствовала вся команда.

С л у ш а л и: Информацию командира катера лейтенанта т. Негорелова о положении катера в связи с выходом из строя моторов и дрейфом катера к вражеским берегам.

П о с т а н о в и л и: Вся команда катера клянется до последней капли крови хранить верность родине и любимому вождю товарищу Сталину.

Вся команда катера клянется до конца исполнить свой воинский долг, согласно принятой каждым присяге.

В плен не сдаваться ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах. Если кому-нибудь вследствие ранения, или контузии, или потери сознания будет угрожать опасность попасть в плен к врагу, каждый обязуется извлечь товарища от позорной и страшной участи и произвести по товарищу выстрел.

Если на вражеском берегу не окажется поблизости немецко-фашистских войск,— продолжать самыми быстрыми темпами ремонт моторов.

Если на вражеском берегу придется встретиться с небольшим отрядом немецко-фашистских войск,— мотористам продолжать ремонт моторов, а всем остальным оборонять подступы к тому месту, где находится катер.

Если на вражеском берегу придется столкнуться с явно превосходящими силами противника и оборона катера будет невозможной,— катер взорвать, а команде пробиваться во вражеский тыл, на соединение с партизанами.

Так же поступить и в том случае, если моторы отремонтировать и пустить в ход не удастся.

Протокол подписать всем участникам собрания.

Каждый из участников собрания обязуется в точности и неукоснительно выполнять все пункты настоящего постановления».

Первым подписался Степан, председатель. За ним — командир Негорелов. Потом начали подписывать остальные — в порядке старшинства. Мотористам и вахтенным на мостике Степан зачитал протокол отдельно. Они согласились считать себя присутствовавшими на собрании и присоединились к общему решению.

Лист был покрыт подписями донизу. Рядом с фамилиями мотористов отпечатались маслянистые следы их пальцев.

Нехватало одной только подписи — Бабушкина.

Командир сказал, обратившись к собранию:

— Мы люди простые и речей говорить не умеем. Да и не время сейчас. А те слова, которые были здесь сказаны над телом нашего погибшего товарища, наша боевая клятва, — это для него самое лучшее прощальное слово. Это больше, чем слово, — это дело. Мы достойно попрощались с ним. Сиди дорогой товарищ, спокойно, мы не посрамим твоей памяти.

Он передохнул.

— Приказываю приступить к похоронам. Смирно!

Хоронили боцман и Степан. Они придвинули носилки к самому краю и начали медленно поднимать их с одного конца. Бабушкин лежал плотно; он как будто не хотел расставаться со своим любимым кораблем. Море ревели и било волной перед ним и словно звало его скорее к себе, в свою темную глубину. Все выше и выше поднимались носилки — Бабушкин хотел покинуть свой катер стоя «смирно». Все затапли дыхание, не шевелились. У командира вздрагивала и билась жилка на левом виске. Еще выше... Еще... Тело Бабушкина едва заметно сдвинулось, опять задержалось и в следующую секунду, увлекаемое тяжестью чугунной зубчатки, стремительно скользнуло за борт.

Оно исчезло в глубине мгновенно, неудовимо для глаза. И закрутились, зашептели, закипели над могилой Бабушкина холодные волны. Плакал, выли и жаловался ветер, и тягостна была для сердца его одинокая жалоба...

Холодна, неуютна морская могила — что говорить. Зато неугасима и горяча осталась память о Бабушкине, о хорошем советском моряке, который честно жил и героически погиб в борьбе за честь и свободу родной земли.

Так похоронили моряки своего боевого товарища, проводили его в последнее плавание.

Они принесли боевую клятву над его бездыханным телом, и она связала всех, как стальная цепь, а ключ Бабушкин унес с собою в морскую глубину, чтобы эта цепь верности и воинской доблести была навек нерасторжима...

Немногим выпадают на долю такие честные и славные похороны.

11

Катер пришло к берегу в глухом пустынном месте западнее Бердянска.

Глубина здесь оказалась довольно значительной и подходила близко к песчаной кромке шириною не более сорока — пятидесяти шагов; дальше — круто, кое-где ослепло поднимался гольи, изъезженный ветрами глинистый обрыв. Он скрывал катер от посторонних глаз; чтобы увидеть, нужно было подойти к самому краю обрыва.

Мотористы работали, как бешеные. Убедившись в невозможности на ходу исправить поломки и повреждения, они решили собрать из трех моторов хотя бы один. К ночи они надеялись закончить эту работу, о чем младший военный техник и доложил командиру. Лейтенант недовольно поморщился в ответ.

— К ночи... Ночью мы и здесь будем в безопасности — тенью закроет. А вот до ночи как продержимся, — это еще вопрос. И большой...

Пока что катеру везло. С берега навстречу не раздалось ни одного выстрела. Возможно, маленькому катеру за мглой и высокими гребнями удалось проскочить незамеченным где-нибудь между вражескими наблюдательными постами... Погода, видимость плохая, советские корабли давно не появлялись: вполне вероятно, что вражеские посты, усиленные длительным затоплением и бездельем, наблюдали за берегом спустя рукава.

Отбрав шесть человек, в том числе боцмана и Степана, командир разбил их на две группы и приказал разведать берег на запад и на восток, соблюдая при этом крайнюю осторожность и скрытность. Закончив разведку, обеим группам надлежало соединиться и залечь на берегу в удобном месте, охраняя подступы к единственной тропинке, спускавшейся с кручи. Для связи на берег послали сигнальщика с флажками. Командование отрядом поручалось боцману.

По горло в холодной мутножелтой воде, высоко подняв на вытянутых руках одежду, винтовки, патроны, гранаты, моряки выбрались на берег. Упругий плотный песок пружинил под ногами, следы тотчас же сглаживались прибоем.

Поднимались гуськом — впереди боцман, молчаливый, деловитый, суровый. Не оборачиваясь, он предупреждающе поднял руку. Моряки стали. Боцман, пригнувшись, поднялся еще на три — четыре шага и осторожно выглянул из-за кручи.

Берег и наверху был безлюден.

Боцман приказал сигнальщику оставаться на тропинке под обрывом и зря не высовываться — больше слушать, чем смотреть.

— Сигнальщик придется — спустишься ниже, чтобы с берега флажков не увидели. Нам не «линии», — мы самым краем пойдем. Нам с катера в случае чего «напишут» — мы увидим.

Степану и двум краснофлотцам боцман приказал идти в правую сторону, себе и Королькову оставил левую. Сойтись назначил через полтора часа. За это время можно было разведать берег далеко: плоская и голая равнина без зарослей и оврагов, с низкими холмами на горизонте, свободно просматривалась в глубину на несколько километров.

Боцману и Королькову посчастливилось: влево уходила промытая весенней водой ложбина с бурьяном по краям; слегка пригнувшись, по этой ложбине вполне можно было передвигаться, не обнаруживая себя. А вот Степану с двумя товарищами пришлось ползти.

Мокрая, раскисшая от недавнего дождя глинистая земля липла к рукам, пачкала робу, винтовки. — Беречь затворы! — вполголоса скомандовал Степан. — Платки есть? — Платки оказались у всех, обернули ими затворы и поползли дальше.

Так, где ползком, где перебегая, используя каждую складочку, каждую впадину, продвинулись по берегу километра на полтора. Время от времени Степан подползал к обрыву — посмотреть на катер: нет ли каких-нибудь сигналов отсюда? Сигналов не было, катер безжизненно раскачивался на волнах, на мостике одиноко чернели две фигуры — командира и сигнальщика.

Ползти дальше не имело никакого смысла, тем более, что почалась глубокая промоина, рассекавшая берег и самый обрыв; отсюда было очень удобно наблюдать и за катером и за простиравшейся перед глазами равниной.

Путь до промоины занял сорок минут. «Поспим немного, да надо обратно двигаться», — решил Степан, памятуя срок, назначенный боцманом.

Все было тихо вокруг, близился вечер, часа через три сумерки и береговая тень накроют катер, сделав его невидимым. Осенние ночи длинные, мотористам времени хватит с запасом — возможно, удастся уйти, избегнув боя.

— Вижу автомашину! — сказал наблюдающий краснофлотец и по морской привычке добавил: — Прямо по носу.

Это была легковая открытая машина; она шла прямо на промоину, но метров за семьдесят дорога вильнула и машина пронеслась мимо, показав Степану свой зеленый заляпанный грязью бок и в кузове — фигуру офицера в шинели с поднятым воротником. Первый раз в жизни Степану пришлось видеть врага так близко. Провожая глазами машину, Степан чувствовал, как вспыхнувший было в нем горячий гнев сменяется холодной, деловитой расчетливостью. Немецкий офицер проехал мимо невредимым. Ничего!.. На сегодня это выгодно, чтобы он спокойно проехал мимо, он еще успеет поймать

свою пулю... Обидно, конечно, что эта пуля не будет пулей Степана Пялогоушина, но — ничего!.. Сегодня так нужно.

Степан достал из кармана часы. Да, время двигаться в обратный путь.. Разведка, конечно, вполне благоприятная; но все-таки скучноватая малость. Не разведка, а какая-то прогулка ползком на животах. У боцмана, наверное, то же самое, даже еще скучнее. Здесь хоть одного офицера видели, и то хорошо на таком безлюдьи...

Так размышлял Степан, не зная, что в эту самую минуту боцман Евтушенко, затаив дыхание, снимает с предохранителя курок винтовки, а краснофлотец Корольков ставит гранату на боевой взвод.

Немецкие солдаты во главе с ефрейтором были от Королькова и Евтушенка в сорока метрах. Солдаты направлялись прямо к берегу; еще несколько шагов — и ефрейтор увидел с обрыва советский катер...

12

Ефрейтор присел, не оборачиваясь, махнул солдатам рукой. Присели и солдаты. Ефрейтор боком, напоминая движениями большого краба, пополз назад. Боцман ясно видел над мушкой его озабоченное и жадное лицо со светлыми подкрученными вверх усами.

Так и не пришлось ефрейтору разогнуться: выстрел был метелью. Корольков бросил гранату. Она ударила гулко, со звоном, выбросив облачко темного дыма. Трое солдат остались на месте, один побежал, зажимая ладонью бок, тут же ткнулся ничком в сухую траву, наступивший пулей.

Для этих пяти все было кончено, но для моряков только начиналось. Ветер понес к далеким холмам сухие щелчки выстрелов, глухой отзвук взрыва — и цейссовские бипокли уже ощупывали берег, уже звенели по лесам телефоны, и в чисто выбеленной хате с некрашеными скамейками по стенам с узорными полотенцами, окаймляющими образа, немецкий офицер, молодой, сытый, надменный, с холодными выпуклыми глазами, уже подносил к уху небрежным и усталым жестом телефонную трубку...

Когда боцман и Корольков, обвешанные немецким оружием, возвращались ложбинкой к условленному месту, на темнеющем предсумеречном горизонте возникли две точки. Они двигались и быстро увеличивались.

То спешили к берегу немецкие грузовики с отборным эсэсовским взводом солдат. Боцман с Корольковым и Степан со своими краснофлотцами сошлись одновременно. Углев немецкие винтовки, полевую сумку и автомат, Степан все понял без слов. Да и некогда было спрашивать — грузовики приближались стремительно.

Сигнальщик сообщил катеру о положении. Снизу ответили: «Держаться. К обрыву не подпускать».

Грузовики остановились далеко от обрыва — метрах в семистах. Вести огонь с такой дистанции, пренебреженно обнаруживая себя, было бессмысленно; моряки молчали, затаившись в ложбинке. Немцы выскочили, разбились на группы. — одна осталась у грузовиков, три остальные направились к берегу — вправо, влево и прямо.

— К бою готовься! — вполголоса скомандовал боцман. Степан на локтях потянулся повыше, плотнее втиснул локоть в землю. Мельком увидел он справа от себя лицо краснофлотца Максимова; его зеленовато-белые глаза казались сейчас темными от зрачков, расширившихся почти во все яблоко.

— Не бойся, не один, — сказал Степан и ободряюще коснулся ладонью его плеча. Максимов, вздрогнув, молча покосился на Степана. В его зрачках был не страх — скорее пассивное недоумение и любопытство, словно эти немцы, твигавшиеся цепочкой и быстро приближавшиеся, были существами другой, неведомой планеты — удивительными, странными и непонятными. «Пожалуй, мазать будет», — озабоченно подумал Степан; в себе он чувствовал напряженное, нарастающее томление, словно все туже и туже натягивалась внутри какая-то струпа. Он посмотрел через прорезь на мушку — не дрожат ли руки? Нет, руки не дрожали, но перед самым дулом торчала почерневшая былинка, мешая целиться. Степан передвинул винтовку чуть вправо; теперь перед мушкой не было ничего, кроме приземистой и коренастой фигуры финишского солдата. У немца были толстые, слегка вывороченные ноги, и шел он трудно, тяжело, как будто при каждом шаге ему приходилось отдирать подошвы от земли. Степан угадывал его лицо — мясистое, красное, пахмурящее, с мелкими капельками пота на верхней губе.

Мушка походила вверх и вниз, ощущывая грудь немца, и замерла.

Боцман отрывисто скомандовал:

— Огонь!

Выстрелы слились в один — протяжный. Только Максимов не успел — его винтовка ударила мгновением позже, и мгновением позже качнулась и начал оседать второй с края, худощавый, в короткой шинели солдат. И по мере того, как он, шатаваясь, оседал на подгибающиеся колени, бледный Максимов привставал все выше и выше, устремив на солдата неподвижные, округлившиеся глаза. «Куда ты, чортова голова!» — злобно зашипел боцман, сдернув его за край бушлата вниз. И как раз во время. Коротко и мягко свистнула совсем близко первая немецкая пуля; нагнав этот свист, грохнул выстрел. Ему отозвался дробным стуком автомат; воздух над ложбинкой зашелестел пронизывающей очередью.

Задача формулировалась просто и ясно: держаться, не допускать к обрыву. Но силы были слишком неравны — уже спешили на помощь своим немцы справа и слева, стреляя на бегу из винтовок и автоматов, началась оживленная суета у грузовиков: снимали пулемет.

Стрелять по тем немцам, которые залегли, было бесполезно; моряки переключили огонь на приближающихся, ловя короткие рыжки перебежек. Максимов и Корольков стреляли торопливо, беспорядочно, боцман — редко, уверенно и точно. Заметив место, где припал к земле немецкий солдат, боцман, не отрываясь от винтовки, терпеливо ждал, когда он поднимется в новую перебежку, и бил на подъеме. С дороги от грузовиков, таща за собой пулемет, бежали еще пять немцев. Степан выпускал по ним пулю за пулей, но повал только одного. Четверо успели скрыться в какой-то впадине, а подбитый пошел обратно к дороге. Через минуту на ложбинку брызнул снайп красных и желтых питей: пулеметный расчет открыл огонь трассирующими.

Немцы надвигались все ближе. Сообразив, что моряков немного, они решили атаковать. Отбиваться было трудно — мешал пулемет, строчивший безустали. Пули то и дело чиркали по земле, вскидывая комочки грязи. Взвизгнула пуля перед самым лицом Степана; звук ее оборвался ударом во что-то мягкое. Максимов охнул и опустился на дно ложбинки, схватившись за плечо.

— Высунулся? — свирепо закричал боцман. Сразу овладев собой, он добавил обычным, деловитым и хмурым тоном:

— Корольков, перевяжи. И вниз, на катер. Максимов, доложись там командиру, что держаться трудно, подмога нужна.

Максимов отрицательно покачал головой.

— Я останусь... Я ничего... Вот перевяжут...

— Не разговаривать...

Боцману не удалось закончить, потому что из-за кручи выскочили Томплин и Берестов и двумя гигантскими прыжками перебросятся в ложбинку. За ними выскочили еще двое. Пулемет перенес огонь на обрыв, но там никого больше не было.

Немцы надвигались. Все короче и порывистее были их перебежки. «Пятый!— считал в уме Степан своих немцев.— Шестой...» Он стрелял наречкой хорошо, потому что сумел загнать свое волнение в глубину. Он оставил на это время для себя только одну заботу — не промахнуться.

Метрах в шестидесяти перед Степаном поднялся немецкий офицер, крикнул что-то и взмахнул рукой. Степан выстрелил. Промох! Выстрелил еще раз. Второй промах! А немцы, востройно крича, уже бежали вслед за своим офицером в атаку.

Девять гранат полетели навстречу им, еще девять и еще девять. Когда гул разрывов затих, степь перед моряками была опять пустой и гладкой. Немцы залегли. Атака сорвалась.

Потери немцев были значительны, и они не решались на второй бросок, ограничиваясь пока только огнем. Они пробовали действовать гранатами, но бросать лежа было неудобно — гранаты взрывались, не долетая до ложбинки. Один храбрец поднялся с гранатой в руках на колени. Неизвестно, успел ли он пожалеть о своей опрометчивости — пропизанный пулей, он повалился шабок, а граната взорвалась рядом с ним.

Лобовой огонь немцев из винтовок и автоматов был густым, но мало действенным — ложбинка надежно прикрывала моряков. Зато сильно беспокоил пулемет. Немцы перетащили его еще метров на сто, и он был теперь сбоку частыми затяжными очередями.

Пулеметной очередью легко ранило в руку Томплина, сорвало кожу с головы боцмана.

— Так!— угрюмо и зловеще протянул боцман, опустив голову и разглядывая окровавленные пальцы.— Полосухин! Примите командование.

— А ты?— начал Степан. Боцман прервал его:

— Принимайте командование. Установка — держаться до последнего, не подпускать к обрыву.

— Есть!— привычно ответил Степан, не вполне еще понимая намерения боцмана.

Повесив на грудь эфрейторский автомат, с винтовкой в руке и гранатами на поясе, боцман, вклинаясь в землю, выполз из ложбины, скользнул под бугорок, метнулся к обрыву, исчез под кручей. Все это произошло в несколько секунд.

Куда он пошел? Степан не мог, конечно, подумать, что боцман покинул строй из-за своей царапины. Доклад командиру? Это можно было сделать через сигнальщика...

Долго раздумывать не пришлось. Огонь немцев уяснился, пулемет рокотал напряженно, почти без остановок — подготавливался второй бросок. Он мог быть роковым, потому что с такого расстояния немцам легко было на бегу забросать моряков гранатами.

Опять первым поднялся офицер. «Хох!» — закричал он высоким, пронзительным голосом. Солдаты, поднимаясь, отвечали ему долгими хриплыми головами, но в этих криках было больше страха, чем воинственной ярости.

С немцами творилось что-то неладное. То ли испугали их большие потери, то ли моряки, выскочившие из-под кручи, но только немцы кричали усердно, а в атаку не шли. Некоторые, пробежав десяток шагов, залегли опять. А некоторые, заметил Степан, и одного шага не сделали — вскочили и через мгновение опять припали к земле. «Хох!» — кричал офицер, размахивая парабеллумом. «Хох!» — разноголосо и утрашающе отвечали солдаты, не поднимаясь.

Степан прицелился тщательно. В третий раз он бы не промахнулся по этому офицеру. Но винтовка вдруг сильно и резко подскочила в его руках.

Пулеметная очередь пришлась низко, и одна из пуль угодила в ложе над магазинной коробкой.

«Везет тебе!» — со злобой подумал Степан об офицере.

Корольков передал ему немецкую винтовку. Она была непривычной, неудобной, чужой. Стреляла она исправно, но никакой уверенности не было у Степана в своих выстрелах, и с этой винтовкой в руках он чувствовал себя почти безоружным.

Это ему, конечно, только казалось, что все дело в чужой винтовке; в действительности начали сдавать нервы, еще недостаточно закаленные. Беспокойство проникало в его душу. Вырвавшись из глубины, где они были залерты, поднимались тревожные мысли — о том, что немцы придвинулись слишком близко, что их следующий бросок вряд ли удастся отбить, что мало осталось гранат, а послать за ними некого, что моторы, видимо, безнадежны, что держаться здесь, на берегу, бесконечно нельзя... Вспомнился боцман. Куда он ушел?..

Глухой взрыв гранаты слева. Еще один. Пулемет замолк. И там, откуда он был, выросла фигура боцмана.

Объявился Евтушенко! Как удалось ему, оббежав по береговой кромке, взобраться на скользкий отвесный обрыв, чтобы зайти пулеметчикам в тыл? Но он стоял, четко выделяясь на мутно-багровом закате, приветственно подняв руку. Это было как мгновенное видение. Боцман исчез. Но видели его все, видели и немцы, и удостоверились в истинности происшедшего, когда через несколько минут огневая пулеметная очередь смертельно зашелестела над их головами.

Это была победа. Теперь немцы не могли и думать о новом броске. Они начали отходить — справа ползком, потом перебежками. Еще двоих потеряли они при отходе.

Корольков шумно радовался. Степан сурово остановил его:

— Винтовку бы лучше вытер — в грязи вся.

Немцам шла подкрепление — еще четыре грузовика. Они то исчезали, ныряя в низины, то вновь появлялись на буграх.

Степан послал сигнальщика под кручу — доложить командиру.

Ответ был прежним: держаться, к обрыву не подпускать.

«Ну, что же! — с холодным спокойствием подумал Степан. — Будем держаться... До последнего...»

Так он и сказал своим бойцам — «до последнего». Они выслушали молча. Им не нужно было обмениваться рукопожатиями, клятвами: совместная служба на катере спаяла их так, что они понимали друг друга по взгляду. Если этому

хорошему вечеру суждено быть последним в их жизни, — пусть!.. Сердца томительно сжались у многих, но выдал себя только один Корольков — глубоким и грустным вздохом. Никто его не осудил за это: молодой, не успев еще прийти до конца морскую суровую школу.

Боцман встретил подвезжавшие грузовики пулеметным огнем. Солдаты выскочили, сняли в грузовики минометы. Первая мина с протяжным ноющим скрежетом пролетела над моряками. Вторая легла с недоетом. Немецкие минометчики нащупывали ложбинку. В стороне, где засел боцман, тоже взметнулись к небу три разрыва. Немцы, не задерживаясь, поплыли на сближение.

Сколько их было? Не менее сотни, с прибывшими раньше. Казалось, они могли бы взять моряков просто навалом. Но — нет! С фланга им перегораживал путь пулемет боцмана, а в лоб со смертельной точностью гремели винтовки. С первых же минут немцы убедились, что орешек попался им крепкий, и трескотней автоматов, устрашающим диким воем ничего тут не сделаешь. Пришлось им залечь и передвигаться перебежками.

Грозная музыка боя нарастала. Мины ложились все гуще и ближе. Немцы вели плотный огонь. Осколком ранило Берестова. Близким разрывом забросало землей и оглушило Королькова. Две винтовки вышли из строя. Огонь моряков поредел. И вдруг замолчал пулемет боцмана. Это не было обычным коротким интервалом между очередями. «Неужели подбили?» — подумал Степан.

Его тревога оказалась напрасной. Пулемет возобновил огонь с новой позиции. Видимо, на старом месте боцману уже нельзя было оставаться под минометами.

Между тем сумерки сгустились заметно, сливая с темным небом горбы холмов. Отчетливо были видны вспышки винтовочных выстрелов, бледное судорожное пламя над пулеметами, дымный блеск минометных залпов.

Близилась темнота, обещающая в ночном бою неоспоримое превосходство немцам и гибель морякам. Но, видно, не суждено было ни Степану, ни Королькову, ни другим погибнуть именно здесь, на голом, неуютном берегу. Через гул выстрелов, пулеметных очередей и миных разрывов Степан услышал знакомый тугой и ровный звук работающего мотора.

Сигнальщик, забыв о немецком огне, кинулся под звук. Вернулся запыхавшийся, радостно возбужденный.

— Приказано отходить на катер! — крикнул он звонко.

Мотор продолжал рокотать под обрывом. Это был призыв к жизни, с которой моряки уже простились в мыслях.

По Степан медлил с командой отходить. Далеко в стороне оставался боцман. Он не знал о приказании командира, возможно — не слышал мотора. Словно напоминая о себе, он дал длинную трассирующую очередь.

От Степана, молодого командира, требовалось решение — быстрое, четкое и законченное. Оставить товарища? Одного? Откупиться ценой его жизни? Нет! Такое решение было невозможным, исключалось полностью. Предупредить боцмана, сообщить ему об отходе? Но между Степаном и боцманом лежали двести непроходимых метров. Если бы речь шла только о риске, если бы оставался хоть один шанс из ста добраться до боцмана, — и Степан, и любой из моряков не поколебались бы. Но даже этого единственного шанса не было, даже чула не могло здесь произойти. Убиты наверняка, и не далее как на пятнадцатом метре.

Степан медлил. Его замешательство было понятным для всех. Выручила ситу-

нальщик. Этот скуластый и смуглый, похожий на киргиза паренек, самый тихий и незаметный на катере, смущенно сказал Степану:

— Товарищ старшина, разрешите, я передам. Я вот здесь, на бугорок, стану. Он увидит.

Была минута молчания. На лице сигнальщика сквозь густой загар выступила жаркая краска.

— Разрешите,—повторил он тихо, но настойчиво.

— Передавайте,—сказал Степан. Нелегко было ему ставить под немецкий огонь этого черноволосого паренька, который сразу стал родным и близким. Но что он мог еще ответить? Он только добавил:

— Быстро. Два слова: «Отходи катер» — и все.

— Есть!—ответил сигнальщик, и вдруг улыбка слегка тронула его губы.— Вы за меня не бойтесь, товарищ старшина. Я везучий, меня не заденет.

Он деловито приготовил свои флажки, поправил каску и быстрым, но спокойным, ровным шагом взобрал на бугорок за ложбиной. Флажки поднялись, опустились, разлетелись и пошли мелькать — вверх, вниз, вправо, влево, как большие птицы с красными крыльями.

Немцы не сразу даже сообразили, в чем дело, а сообразив, пустили в ход все свое оружие, не исключая и минометов. Сколько пуль опажнуло тонкими струйками лицо сигнальщика, сколько смертельных очередей проборозило землю у его ног, сколько мин взорвалось и перед ним, и сзади! Он как будто не слышал. Степан видел снизу его лицо — спокойное, сосредоточенно-внимательное. Его движения были ловкими, четкими и даже щеголеватыми. Красная искра трассирующей пули прошла насквозь через флажок, в каком-нибудь сантиметре от его головы...

Он опустил флажки, повернулся лицом к ложбине.

— Разрешите повторить?

— Ложись, чорт!—закричал Степан, чувствуя волну холода на спине.— Ложись, говорю!

Боцман ударил трассирующими, потом в воздух несколько раз взлетела его фуражка. Он понял сигналы и сообщил об этом товарищам.

Степан восхищенно посмотрел в глаза сигнальщику. Хотелось сказать этому тихому пареньку много хороших слов, идущих от самого сердца, но некогда было. И Степан сказал только четыре слова:

— Матросская кровь — без обмана!

Сигнальщик вспыхнул, отвел глаза. И видно было по всему, что для него этот день — самый, может быть, радостный в жизни.

Ложбину от обрыва отделяло расстояние не больше семи — восьми метров. Степан рассчитал, что выгоднее отходить всем сразу, пока немцы не разгадали намерений моряков и не сосредоточили на этих семи — восьми метрах весь свой огонь. Сейчас они стреляли вяло и лениво, дожидаясь темноты для решительного удара. Они, повидимому, считали моряков уже пойманными, зажатыми в ловушку. Все это было на-руку Степану; он приказал отойти по ложбинке шагов на двадцать в сторону, чтобы перебежать по непристрелянному месту.

Все удалось как нельзя лучше. Не подвели и ранешые, за которых беспокоился Степан, боясь, что они отстанут и попадут под огонь.

Как исполнились немцы, увидев мелькнувшие и сразу исчезнувшие под обрывом фигуры моряков! Но даже огня не успели открыть. Все произошло

мгновенно, одним рывком. Немцы заорали, вскочили, бросились в погоню, к обрыву, но тут хлестнули по ним пулеметные очереди бойца. Значит, он остался, решив до конца прикрывать своим пулеметом подступы к берегу, надея полагая Степан.

Огромными прыжками Степан мчался вниз, упругость влажного песка под ногами сменилась холодным объятием воды, и он ощутил борт катера, так знакомо содрогнувшегося в тапноту.

Десятка два особо ретивых немцев все-таки выскочили на обрыв, но здесь их встретили огнем двух пулеметов и двух пушек, чего они никак не ожидали.

Когда немцы подтащили к берегу свои минометы, катер отошел уже далеко и начал ответный оружейный огонь.

Степан, насквозь мокрый, стоял на палубе, не чувствуя ни ветра, ни холода. Глаза его были неотрывно прикованы к отплывающему темному берегу с бледножелтой полоской зари над ним. На этом призрачном фоне видел Степан одинокую черную фигуру, то припадавшую к земле, то опять поднимавшуюся, чтобы пробежать десять — пятнадцать шагов. Следом за ней двигались десятки фигур. Всыхивали выстрелы. В промежутках между оружейными залпами ветер доносил их отдаленный звук.

Это уходил от немцев куда-то в глубину вражеского тыла неукротимый боец Евтушенко.

13

Севастополь, город неповторимой судьбы. Ему хватило бы и одной обороны чтобы слава его никогда не померкла. Но судьба послала ему второе испытание. Опять зашумели знамена старой боевой славы; кровь наших предков обильно пролитая на редутах и бастионах, вдруг ожила, выступила, окрашивая собою камни, зажигая сердца потомков невиданной доблестью.

...Непримиримо и гневно кипят под напором морского ветра каштаны на улицах Севастополя, — такие же, но скорбные и понижшие, безмолвствуют каштаны в Париже на Севастопольском бульваре, горько напоминая французам, что есть города, у которых в обычае встречать врага совсем не так, как встретил их недавно Париж... Им бы свежего ветра, парижским каштанам, — буря, севавтопольского ревущего шторма, чтобы дронуть, закипеть, загудеть от подножья до самой верхушки. Все тихо, немецкие солдаты спокойно гуляют по бульвару, укрываясь в тени каштанов от зноя. Повелительным жестом останавливают они старика-француза, высокого и сутулого, с темными очками на худом лице.

— Эй вы, француз! Как называется эта улица? — спрашивает немец.

Второй добавляет со смехом:

— Пока мы еще не переименовали ее в Комьенскую улицу.

Старик смотрит на солдат в упор; взгляд его за очками непроницаем.

— Это Севастопольский бульвар, — говорит он по-немецки. — На мой взгляд, не следует его переименовывать. Севастополь — разве это не достаточно громкое имя?

Немцы хмуро молчат. Молчит и старик, его костлявое лицо бесстрастно и неподвижно, попрежнему непроницаем взгляд за темными очками. Молчат каштаны, лишь по листьям пробегает едва заметный трепет, — словно коснулся их, как голос надежды, как призыв ролашова рога, далекий отзвук севавтопольских боев...

...Севастопольцы навсегда запомнили ясные тихие ночи в ноябре, когда осенние звезды высоко и чисто сияли над городом, погруженным во тьму. Ночи были наполнены тревожным гулом; сотрясая здания, он шел, казалось, из-под самой земли, и, отзываясь ему, жалобно дребезжали и ныли в окнах еще уцелевшие стекла. Гул войны! В нем сливались мерный шаг пехоты, цокот подков, визг гусениц, грохот колес, рычание перегруженных автомашин. В глухую пору, за полночь, вдруг все перекрывал вой сирены. Через две минуты начинался сердитый разговор зениток и пулеметов; ясное небо вдруг становилось угрюмо-зловещим, исполосованное лучами прожекторов, красными, желтыми, белыми трассами пуль и снарядов, покрытое дымными огнями разрывов. Над городом нависал рокот чужих моторов. Навстречу немецким бомбардировщикам неслись наши истребители, брызжа разноцветными пулями, как искрами, словно стальные сердца машин в полете накалялись добела от яростного гнева... Воздушный бой над городом, свирепый визг бомб, взрывы, пламя, дым — и вдруг, в темноте — неожиданно спокойный, даже смешливый девичий голос:

— Таня, вылезай, улетели.

Ночи дышали войной. На фронт уходили армейцы, моряки, сева­стопольские коммунисты и рабочие. Город не спал. Дневную работу сменяла ночная, столь же напряженная. Вокруг Севастополя звенели о камень лопаты и кирки — город опоясывался укреплениями. Вгрызаясь в камень, город все глубже уходил под землю — появились подземные ясли, школы, госпитали и даже заводы.

Фронт при­двигался все ближе к городу, каждая новая почва была тревожнее предыдущей. И однажды перед самым рассветом воздух над городом вдруг со­тронулся и мягко осел, потрясенный ору­дийным залпом. Это впервые ударили по врагу береговые крупнокалиберные батареи, и долго еще после залпа стоял над городом замирающий гул, как отзвук могучего колокола...

Вторая сева­стопольская оборона началась.

Севастополь под ударом! Севастополь в опасности — родная черноморская столица! Как заволновалось, загудело все Черное море из конца в конец! Комиссары кораблей каждый день получали от краснофлотцев пачки заявлений о переводе в морскую пехоту. Моряки новороссийской, туапсинской, потийской и прочих военно-морских баз рвались в Севастополь; если бы дали морякам в эти дни полную свободу выбора, то бушлаты и бескозырки начисто исчезли бы с кавказского берега, зато Севастополь был бы затоплен ими. В по­бережные райвоенкоматы приходили старые матросы — седые, давно уже разменявшие пятый десяток, и просились в Севастополь добровольцами. Их не принимали, посылали домой; они вежливо, но настойчиво требовали разговора с самим военным комиссаром. На все возражения и доводы о преклонном их возрасте, о необходимости их работы в тылу они отвечали:

— Мы понимаем!.. Но ведь Севастополь!..

Немцы строили свои расчеты на чисто арифметическом соотношении сил и техники. Немцы даже подсчитали приблизительно свои возможные потери — назначили цену за Севастополь. Им казалось, что железные, незыблемые законы военной арифметики будут под Севастополем так же действительны, как в Бельгии или Голландии. Тысячу с лишним километров до Севастополя немцы прошли, а на последних пятнадцати — застряли. Поправочный коэффициент, внесенный советским народом в германскую арифметику войны, начал действовать...

Немцы под Севастополем! Черное море гудело, шумело, волновалось. В Севастополь валились все, но попадали немногие. Командование, естественно, не могло оголять корабли и базы. На этой почве возникало множество обид, недоразумений, конфликтов, перераставших порой в своеобразные юридические головоломки. Что прикажете делать с пареньком, который самовольно оставил корабль, то есть дезертировал (совершив тем самым преступление, караемое расстрелом), ушел на передовые линии под Севастополем, как-то сумел пристроиться в батальон морской пехоты и к моменту своего задержания, последовавшего через восемь — десять дней, успел поджечь три немецких танка, перебить в рукопашных схватках полтора десятка эсэсовцев и вынести из боя раненого командира? Что желать с этим человеком, который дезертировал не с фронта, а на фронт, не от опасности, а навстречу ей? И как юридически сочетать это преступление с его подвигами?

В число немногих счастливых, получивших назначение в части морской пехоты, дерущиеся под Севастополем, был и Степан Полосухин.

14

В жизни Степана открылась новая страница.

Нежелательно было ему уйти с корабля на сухопутный фронт. Командир ни за что не хотел расставаться со своим лучшим рулевым. Но Степан не без коварства сумел использовать ремонт катера в качестве дополнительного аргумента, подкрепляющего просьбу о переводе. Просьбу уважили. Новое назначение лежало у Степана в кармане вместе с документами, аттестатами и проездными деньгами.

— Прощайте, друзья! Прощайте, боевые товарищи! Не забывайте Степана Полосухина.

— Прощай, Степан! Прощай, братишка. Ищи с фронта, не ленясь.

Командир напоследок сказал:

— Надо бы мне обидеться на вас. Да ладно уж. Понимаю. Сам был таким... Ну, спасибо за хорошую службу. Желаю успеха.

— Спасибо вам за все, товарищ командир. Я оболею вас многое понял и много узнал...

— ...то же я вас учил, товарищ Полосухин. Это война обоих нас учила.

Простились, и Степан с палубы шагнул на дощатую пристань...

...Раздумывая о своей жизни, Степан порой удивлялся и недоумевал, обнаруживая в себе новые, неизвестно откуда появившиеся мысли, чувства и побуждения. С ним происходило что-то странное и значительное, но что именно — не понять не мог. Например, он научился видеть людей, разгадывать их внутреннюю сущность; еще полгода назад он таким умением не обладал, и его легко можно было обмануть эффектным жестами, красивой, увлекательной декламацией. Он приобрел сдержанность и ту выдержку, которая позволяла ему соблюдать покойный интервал между побуждением и поступком, необходимый для того, чтобы обдумать целесообразность поступка, его возможные последствия. Но вместе со всем этим он сохранил в себе прежнюю порывистость и юношеское легкомыслие, приправленное изрядной долей озорства. В нем одновременно умещались качества и свойства непримиримые, исключаящие друг друга; они теснились, толпились, толкались, боролись, а Степан расплывался за это постоянным опущением какого-то внутреннего беспокойства и неустроенности — словно поставили его койку где-то на вокзале, в самой суетлолке: живи здесь!

Этот сложный и противоречивый духовный процесс не был привилегией одного только Степана Подосухина. Сотни тысяч советских юношей в серых и черных шинелях переживали его.

Это был процесс стремительного повзреления. В огне войны, под ударами ее тяжелого молота юноши становились мужчинами. В несколько военных месяцев, даже недель, они проходили путь, на который раньше, в мирных условиях, им потребовались бы целые годы.

...К Севастополю подошли ночью. С моря линия фронта отчетливо обозначалась по горизонту белым ответом ракет, зарницами орудийных залпов. Как только пришвартовались, была объявлена воздушная тревога, через полчаса еще одна. «Жарко здесь, однако! — подумал Степан и улыбнулся, вспомнив Кротова. — Каково ему, бедняге, так, наверное, и сидит безвыходно в щели».

Степан не ошибся. Кротова он действительно нашел в убежище. Это был глубокий погреб, вырытый и оборудованный Кротовым на двоих — для себя и для своей матери. Погреб имел основательную дверь из толстых досок, с могучим железным засовом, на который и запирался в те редкие часы, когда владелец его пребывал на земной поверхности. В глубину веса крутая лесенка; ее последние ступени, тонули во мраке; откуда-то сбоку слабо выбивался красноватый свет, не рассеивая мрак, а лишь сгущая его.

Склонившись к темной пасти погреба, Степан позвал:

— Товарищ Кротов!

Темная глубина безмолвствовала. Степан позвал громче. Внизу во мраке что-то невянятно зашевелилось.

— А? Что? — донеслось на поверхность. — Отбой!

— Отбой нет, по в общем тихо, — сказал Степан. — Товарищ Кротов, можно вас на минутку?

— Это кто? — донеслось из глубины. — Был отбой или нет?

На белу, опять ударили зенитки, заговорили пулеметы — в девятый раз со вчерашнего вечера. Степан постоял, подумал, посмотрел на пани истребители, гнавшиеся в небе за хитрым и узким, похожим на лезвие ножа. «Мессершмиттом», и, поняв, что Кротова выманить на поверхность не удастся, решил спуститься в погреб сам.

В погребе было тесно, сыро, темно и вонюче. Моргасик скудно освещал стол с кастрюлькой, чайничком и кружкой, две тахты из неструтанных досок. в углу — чугунную печку и наваленные возле нее колена разнокалиберных труб. Судя по этой меще и трубам, Кротов намеровался надолго превратиться в подземного жителя.

— Кто это? Кто? — закричал он, увидев Степана. — Простите, но это мое личное убежище. Здесь кубатура...

— Я на минутку, — прервал Степан. — Я сейчас выйду. Я хотел узнать о Вере Васильевне. Вы меня узнаете?

Нет, Кротов не помнил Степана. Да он и вообще ничего не помнил, пребывая все время в состоянии некоего мелкого внутреннего трясения. Небритый, с заострившимся серым лицом и остановившимися глазами, он прислушивался к далекому и глухо доносившемуся сквозь землю гулу стрельбы. Степану пришлось несколько раз повторять свой вопрос, прежде чем Кротов, наконец, понял, о чем его спрашивают.

— Вера Васильевна?.. Она давно уже у нас не живет. Переехала, а куда — я не знаю. Поступила на военную службу...

Вздохнув, он закончил:

— Теперь и дома оставить некого. Мама — в очередях, я — здесь, а квартира пустая. Приходи кто хочет, бери что вздумается...

Близкий и сильный взрыв. Стены подвала дрогнули, пламя моргасшка подскочило. Задребезжала посуда на столе. Второй удар. С потолка посыпалась глина. Брови окостенели. Челюсть его отвалилась, глаза померкли, пот крупными каплями выступил на землистом, испиня-бледном лице.

Прощаясь, он жалобно спросил:

— Скажите, одиннадцать метров плотного глинистого грунта — это вполне надежно? Вы человек военный, должны знать.

Степан почувствовал прилив озорства и не смог перебороть искушения.

— Одиннадцать? Это — чешуха, никакой гарантии. Восемнадцать, двадцать — дело другое...

Поднимаясь по ступенькам, Степан тешил себя мыслью, что Кротов с переулку, может быть, возьмется углублять погреб. Но эта озорная мысль не могла вполне вознаградить его. Он думал о Вере, вспоминал ее лицо, ее руки, голос: воспоминание это причиняло ему страдную боль. Ведь было так естественно предположить, что она переехала куда-нибудь, или совсем покинула Севастополь, или попала под бомбу, заболела, вышла замуж, наконец... Мало ли что может произойти за месяц с девятнадцатилетней девушкой в осажденном городе. Но все эти мысли пришли к Степану только сейчас, а полчаса назад он несколько не сомневался в том, что увидит Веру. Как будто она обязана сидеть на месте и ждать его. Да она и забыла давным-давно... Степан едко усмехнулся над собой: «Эх ты — мальчишкой был, мальчишкой и остался!»

Стрельба затихла, прозвучал отбой, улицы оживились. От разбитого дымящегося дома одна за другой отъезжали с пронзительными гудками санитарные машины. Милиция направляла прохожих в обход, в переулок; на развалинах лопатами, кирками и ломом работали десятки людей. Между ними, в белых халатах, надуваемых ветром, суетились врачи и санитары. Посылки то и дело плыли, покачиваясь, к санитарным машинам, а чаще — к большому темному грузовику, где под брезентом лежали те, которым не мог уже помочь ни один хирург в мире. Прохожие останавливались на углу и смотрели — молча, сосредоточенно, без страха и смятения, с холодным отстоявшимся гневом в глазах. Мимоходом взглянул и Степан; эти картины были знакомы ему и уже не вызывали приливов горячей и душевной ненависти, как раньше, в первые дни войны. Теперь эта ненависть была другой: пропитав собою всю кровь Степана, она стала постоянным элементом его бытия; он не думал о ней, но всегда и везде носил ее в себе, вместе со своею кровью. Помимо прямой, сознательной памяти, в нем жила еще вторая память, подсознательная. Незримая, неслышная, незаметная, она вела счет всем разбитым зданиям, всем расстрелянным, повешенным и замученным братьям, — грозный, кровавый счет, который Степан намеревался в ближайше дни предъявить немцам под Севастополем...

Впереди был целый свободный день; он пугал Степана своей пустотой. Этот свободный день Степан выкроил с большим трудом, применив множество хитростей. А зачем? Куда теперь девать часы, если даже минуты бесконечны и томительны? Степан мнил переулок, вышел на улицу Фрунзе, пустился по ней к Приморскому бульвару и здесь остановился, облокотившись на парашет, так же как месяц назад, после первой встречи. Море

было перед ним — осеннее, зеленовато-серое, утратившее сияние и беспредельность своей синевы. Так грустно было ему смотреть на одинокую чайку, на растерзанные клочья облаков, на голые прутья уже облетевших деревьев!

Он долго стоял, прежде чем из путанного и противоречивого смешения чувств и мыслей, томивших его, начала выкристаллизовываться одна основная мысль, поглотившая все остальное: он должен видеть Веру, и должен говорить с нею, и обязательно сегодня, вот сейчас. Иначе нельзя, он не может иначе! В какую-то короткую долю секунды все перед ним прояснилось, св. земля, что за этот месяц не расставался с Верой; она всегда была с ним — на мостике во время ночного шторма, в ложбинке, когда отбивались от наседавших немцев. — Вот так штука! — в растерянности прошептал он, но обрадованный этим открытием, а, напротив, подавленный сознанием, что с ним случилось что-то непоправимое.

— Вот так штука! — повторил он, не зная, что следует ему сейчас предпринять и куда направиться на поиски Веры. О том, что можно куда-то идти и не искать, он даже не думал: это было совершенно исключено для него. Надо идти и надо искать, но куда?.. Город Севастополь велик, домов и улиц в нем много...

Вдруг Степан замер и внутренне весь затрепетал, охваченный предчувствием чуда. Он смотрел на пустую аллею, усеянную желтыми, красными, оранжевыми листьями; он знал, что через минуту из-за углового kiosка покажется Вера; он знал это с такой несомненностью, что даже испугался... Он захотел, чтобы его предчувствие не сбылось. Слишком уж близко стояло оно к самому настоящему, подлинному чуду...

И все-таки это случилось!.. Степан оцепенел, едва не свалился — такая слабость вступила в его колени... А Вера, в берете со звездочкой, в бушлате и черной суконной юбке, шла, задумчиво глядя себе под ноги. Она остановилась у парапета, шагах в десяти от Степана. Она его не узнала, просто не заметила, скользнув по нему рассеянным мимолетным взглядом.

Первым безотчетным движением Степана было уйти: так все это его поразило. Он очень волевался. Упорно глядя в море и кусая губы, он пытался вернуть себе утраченное самообладание. Ему потребовалось напряжение всей воли, прежде чем он почувствовал в себе достаточно спокойствия, чтобы подойти и заговорить.

Он подошел. Вера стояла спиной к нему.

— Вера! — позвал он и, запнувшись, добавил чуть слышно: — Васильевна...

Она обернулась порывисто.

— Какая встреча! — воскликнула она. — Совсем неожиданно!

— Для вас, — сказал Степан, не подумав. Так же опречетливо она спросила:

— А для вас разве?..

И вдруг юба они покраснели, мгновенно осознав всю опасную глубину своих коротких реченок.

— Я ждал вас — вот здесь, на этом самом месте. И я знал, что увижу вас... Вы еще не пришли, а я уже знал, вы придете...

С моря тянуло острым холодным ветром, день хмурился, тучи роняли редкие капли, пестрившие серый камень парапета.

— Вот и увиделись,— сказала Вера, разглядывая жалкой-то взерошенный куст в стороне.

— Да!— подтвердил Степан.— Вот и увиделись...

Разговор не клеится, но скоро смущение первых минут прошло. Степан насмешил Веру до слез, рассказав о великом подвизном сидении Кротова.

— Ужасный человек! Ужасный!— без конца поеторяла Вера и опять заливалась смехом, откинув голову. Степан радостно узнавал ее смех, ее привычку поминутно оправлять непослушные волосы над левым виском.

— А как вы?— зачастила она.— Где были? Что делали? Когда в Севастополе приехали? Надолго? Что думаете дальше делать?

Узнав, что Степан переведен в морскую пехоту и завтра отправляется на фронт, она вздохнула.

— А меня вот никак не выпускают из канцелярии. Я и пулемет выучила, и гранаты, и автомат, и выптовку— все равно не пускают. Сиди, говорят, здесь, в тылу. А на фронте связистов нехватает.

— Какой же здесь тыл?— улыбнулся Степан.— Ведь это Севастополь.

— Не-таки не фронт. Не передовые линии. А я просилась на передовые. Я все равно добыюсь! Я упрямая!

Степан смотрел на нее и думал, что она больше милая, чем упрямая. Она рассказала, что живет теперь в доме, где собрались одни «разбомбленные», организовав своеобразную коммуны.

— У кого кастрюлька уцелела, у кого чайник— вот мы устраиваемся. У нас и председатель есть— Арсений Дмитриевич Бирюков. Старенький, лет под семьдесят ему. Но крепкий старик, не сдастся. Доживу, говорит, до победы. Тянется изо всех сил.

Вера торопилась, поглядывала на часы. Да и ветер усилился, дождь пошел гуще. Протягивая руку, Степан загадал: скажет Вера свой новый адрес или нет? Если не скажет, значит, все его волнения и предчувствия— одна чепуха, мальчишеские фантазии.

Но сегодня удача сопутствовала ему. Вера сказала адрес, пригласила вечером зайти.

— Ладно?— заглянув Степану в глаза, она крепко, по-мужески тряхнула его руку.— Обязательно. Только не очень поздно, а то домой не попадете потом. Задержит патруль. Вы не перепутаете адрес? Лучше бы записали.

Перепутать ее адрес! Скорее он перепутал бы свое собственное имя.

Он проводил Веру до трамвайной остановки и остался один под холодным дождем, на ветру, переполненный ощущением своей юности, удачливости и силы; все в мире казалось ему возможным и достижимым!..

...К вечеру погода разгулялась; над морем ярко и широко, в полнеба, горел закат, и только над Бельбежом, подобно густому дыму, все еще гроздились сызые тучи. Оттуда глухо доносились орудийные выстрелы. Обгоняя Степана, блеснув на повороте синеватой сталью плоских штыков, прошел грузовик с вооруженными моряками. «На фронт!— подумал Степан.— Добрый путь вам, братишечки!»

Этот ноябрьский вечер запомнился ему надолго, запомнилась каменная лесенка с выщербленными и потками ступеньками, ветхая, проржавевшая насквозь скамеечка нахимовских времен, тесный дворик с обязательными тремя кипарисами; на зеленой скамейке под ними сидела Вера, кутаясь в мягкий оренбургский платок.

— А я вас поджидаю,— сказала она.— Здесь много дверей, я боялась, что вы запутаетесь. Идемте.

Звоня обвисшей пружинкой, открылась перед ними дверь. Степан шагнул вслед за Верой в темноту подъезда и сейчас же больно ударился коленом обо что-то жесткое и угловатое.

— Осторожнее!— услышал он голос Веры.— Здесь ящики навалены. Дайте руку. Да куда вы пропали?

— Здесь я!— отозвался Степан, шаря перед собой растопыренными пальцами. Вера нашла в темноте его руку и сжала крепко. Он задохнулся, почувствовал сухой жар в щеках.

— Поворот. Лево руля!— командовала Вера, увлекая его за собой.— Лестница... Теперь прямо... Ну вот, пришли!

Она открыла дверь в узкий коридор, мутно освещенный слабой лампочкой, и весело крикнула:

— Чай готов? Гостей принимаете?

В большой комнате, где помещалось раньше какое-то учреждение, о чем свидетельствовали канцелярские шкафы и позабытая на стене доска приказов, урчал на круглом столе большой самовар. Около него суетился, расставляя стаканы и кружки, маленький круглый старичок с волосами не только белыми, но даже переходившими в некую желтоватую прозрачность.

— Арсений Дмитриевич Бирюков,— представила Вера.— Наш патриарх, игумен, если хотите. У нас ведь здесь женский монастырь. Арсений Дмитриевич один вот затесался... Чай пить!— крикнула она; голос ее звонко отдался от стен и высокого потолка.

Это и впрямь был женский монастырь. Из-за шкафов, отгораживающих углы, из-за ситцевых занавесок, заменявших ширмы, к столу выходили одни только женщины. Вышла высокая сухая армянка с проседью в черных волосах, югледела Степана сердитым взглядом, сунула ему руку, пробормотав что-то невнятное, и села к столу. Степан, оробев, покосился на Веру; ее губы и ресницы дрожали от сдерживаемого смеха... Потом, с недовязанным чулком в руках, выкатилась старушка лет пятидесяти, в петлице на Степана добрый взгляд светлых вылинявших глаз. Следом за ней из коридора, вытирая на ходу передником красные руки, явилась тетя Клаша — могучая, коренастая, с грубым скуластым лицом, покрытым капельками пота, с голыми ногами, обутыми в разношенные военные ботинки. Кивнув в сторону Степана, она глухим и низким голосом спросила:

— Это кто?

Вера ответила; тогда тетя Клаша сообразовала протянуть Степану руку.

Разговор за столом ладился плохо; оживляли его только Вера и Арсений Дмитриевич, — он притворялся влюбленным, ухаживал, говорил комплименты. Эта игра, длившаяся, видимо, уже не первый день, очень забавляла и Веру и всех остальных. Одному только Степану не нравились вольности Арсения Дмитриевича, хотя он и понимал, что ревновать к семидесятилетнему старику глупо. Он чувствовал себя чужим среди этих сжившихся людей, пошмававших друг друга с полуслова. Справа от него сидела армянка со своими черно-огненными, путающими глазами, слева, уперев в стол могучие локти и промко склебывая чай с блюда, — тетя Клаша.

— Сахар кладите,— сказала армянка, протягивая чашку; он, поблагодарив, положил один кусочек и начал мешать ложечкой, но чашка вдруг

передвинулась от него в левую сторону, затем вернулась с двумя кусками сахара на дне, сверх первого. Тетя Клаша проделала это, не сказав ни слова. Степан оробел совсем. Та же история повторилась с бутербродом, который он взялся намазывать маслом: бутерброд выскочил у него из рук к тете Клаше и вернулся, покрытый слоем масла толщиной в полпальца. Степан смутился окончательно, чувствуя, что здесь за столом его считают просто мальчиком и соответственно с ним обращаются. Он обрадовался, когда чаепитие закончилось и Вера увела его к себе за шкафы, между которыми был повешен вместо занавески старенький коврик.

Вера сбросила туфли, быстро и ловко устроилась на цветистой низенькой тахте, подобрав ноги, завернувшись в свой платок, как в кокон.

— Как понравилась вам наша коммуна?—спросила Вера.

— Не очень понравилась,— понизив голос, признался Степан.

— Почему?

— Кроме вас, все какие-то странные... Вроде музея... Не поймешь, что за люди.

— А как они относятся к войне, по-вашему?—допытывалась Вера.

— По-моему, никак не относятся. Живут—и все. Война сама по себе, они—сами по себе. Им бы уехать из Севастополя куда-нибудь на кавказский берег. Лучше, спокойнее... И Кротова туда же.

— Так вот я и думала!—сказала Вера с огорчением в голосе.—Ничего вы об этих людях не знаете. А я вот узнала вашу новую черточку. Вы, дорогой товарищ, оказывается, склонны к опрометчивым выводам и к осуждению других без достаточных к тому оснований.

Степан попробовал защищаться:— Да я их и не осуждаю вовсе...

— Нет, осуждаете! В такое время и люди—вне войны! Это что—разве не осуждение? Значит, вы их гражданами не признаете? Я эти ваши мысли заметила сразу, по глазам.

— И обиделись за свою коммуны?

— Может быть, и обиделась. Потому что несправедливо!

Она разволновалась, разгорячилась; глаза ее расширились, потемнели.

— У нас всегда так: если человек о себе кричит, его замечают, а если молча работает,—не видят. Это нехорошо!—добавила она убежденно.— Вы меня послушайте, я сейчас расскажу вам.

...Тихо шелестели ее слова, наполняя Степана безмерным удивлением перед скрытой глубиной людей, что несколько минут назад пили с ними чай за одним столом. Он узнал от Веры, что все они без исключения—коренные, природные севастопольцы и отказались эвакуироваться из родного города, считая бесчестным покинуть его в трудное время. Он узнал, что старичок Арсений Дмитриевич всерьез намеревался вступить в народное ополчение, а когда ему отказали по причине слишком уж преклонного возраста, долго томился не зная, куда пристроить себя с пользой для фронта. И все-таки нашел себе дело, да такое, что его теперь знают и в бригадах, и на батареях, приглашают в части.

— Представьте себя в его положении,—говорила Вера, блестя глазами.— Вам семьдесят лет, вы—пенсионер. Что бы вы придумали? Каким бы делом занялись, чтобы для фронта было полезно, необходимо... А?

Ожидая ответа, она смотрела на Степана с торжеством.

— Не знаю,—чистосердечно признался он.— В семьдесят лет... Какое же тут дело?..

— А он вот нашел. Придумал. Он конверты клеит.

— Конверты?— не понял Степан.

— Ну да! В день штук полтораста, иногда двести. Для бойцов, понимаешь? Письма-то люди пишут, а конвертов нет. Разными там ниточками зашивают. Вот он и сообразил — клеит конверты. А как его благодарят за это! Недавно с батареи целое письмо прислали благодарственное.

— Это он ловко придумал — конверты. Действительно, простая вещь...

Вера насторожилась, посмотрела на Степана подозрительно.

— Вам все насмешки.

— Ничуть, — испугался Степан. — Я серьезно говорю. Если бы он к нам на катер прислал штук сто, мы бы тоже письмо написали ему с благодарностью. Нет нигде конвертов, а нужны дозарезу...

Вера успокоилась за своего любимца, убедившись, что Степан не собирается его выменять и рассказ о конвертах произвел должное впечатление.

— Он и сейчас клеит. Слышите?

Прислушавшись, Степан уловил слабый лязг ножниц. Старик работал.

Далее Степан узнал, что старушка в пенсне и со смешным пучком на затылке — это севастопольская учительница, работающая здесь с незапамятных времен; ее знают все, и на улицах ей нередко почтительно козыряют капитаны, полковые и даже бригадные комиссары — бывшие ученики. Многие так и остались для нее до сих пор Петями, Колями, Ванями, и в разговоре она часто обращается к ним на «ты»; она же для них — всегда «вы» и «Екатерина Семеновна». Ее питомцы есть и на Тихом океане, и на Балтике; у нее обширная переписка, она принимает живейшее участие во всех делах своих корреспондентов, переживая вместе с ними и женитьбы, и разводы, и рождения, и смерти — словом, все радости и все горести. Она одинока... Но разве она одинока?.. В начале осады она, зная характер своих бывших учеников, правильно рассудила, что Севастополь так просто и легко немцам не сдастся, и предстолит, по всем признакам, тяжелая фронтовая зима. Могла ли она, Екатерина Семеновна, остаться в стороне? Она немедленно организовала коллектив женщин и приняла над ними командование. Коллектив вырабатывает для фронта теплые носки и фуфайки; часть женщин теребит шерсть, часть прядет, остальные, в том числе и сама Екатерина Семеновна — отличная рукодельница, — вяжут. Разве это шуточное дело — теплые носки для бойцов?

Склонив повинную голову, Степан вынужден был признать, что дело, конечно, совсем не шуточное: зимой в окопах в бумажных носочках не очень уютно.

Армянка с огненно-черными глазами оказалась помощницей старушки-учительницы по прядильной бригаде. Ее единственный сын погиб на фронте, мать осталась партизанить в немецком тылу, по горе не согнуло ее, она только стала относиться к людям строже, требовательнее, чувствуя свое неоспоримое право на это. В бригаде она распределяет работу, устанавливает сроки, и не было еще случая, чтобы кто-нибудь отказался или не выполнил. Степан про себя подумал, что и невозможно отказаться под этим прожигающим взглядом.

Тетя Клаша — единственная из всех — жила в отдельной комнате со своими тремя ребятишками. Муж ее ушел на фронт, она стала на его место за сверлильный станок на морзаводе. Утром по гудку тетя Клаша уходит на работу, возвращается поздно; накормив ребятишек, уложив их спать, заштопав их одежку, тетя Клаша становится на кухне к большому корыту и часов

до двух ночи стирает двадцать пять пар фронтového белья. Это ее ежедневная обычная норма, в выходные дни она стирает пятьдесят пар. Спать ей удастся едва ли больше четырех-пяти часов в сутки. Ничего — держится теть Клаша, продержится, если нужно, и год и два и никогда никому не пожалуется на тяготы своей жизни.

Эти простые героические повести по-новому открывали Степану славный город Севастополь, город-фронт, слившийся в единый поток все мелкие ручейки человеческих судеб. Эти судьбы, горевшие до сих пор незаметным огнем обычной жизни, вдруг просияли, превратившись в подвиг, как это всегда бывает в години бурь и всенародных битв, меняющих русло истории. Теть Клаша, Арсений Дмитриевич не были исключением — так жили тысячи и тысячи севастопольцев.

...Потом Вера провожала Степана по темной лестнице, и он опять ушиб колено об ящики, наваленные в подъезде. Дворик встретил их влажным ветром; далеко в холодной беспредельности сияла голубая луна; ее свет был тускл, облачен, отливал перламутром на мокрых камнях. В мягком тумане Вера казалась бледнее и тоньше, ветер туго обдувал ее легонькое платье; она представилась Степану совсем новой, не такой, как раньше; иными были и глаза ее, светившиеся лунным печальным отблеском.

— Прощайте, — сказала она. — Заходите, если будете в Севастополе. Может быть, и на фронте еще увидимся, — я все-таки вырвусь на фронт. Я желаю вам победы и большой удачи, — чтобы вас не убили, не ранили. Мы увидимся, правда? Я это знаю...

Слабый озноб прошел по нему от прикосновения теплой руки, от блеска глаз, которые он видел так близко перед собой. Эти несколько минут прощания с Верой слились для него в одно тревожно-туманное ощущение ее близости, ветра, обещающего счастье. Он ушел приподнятый, взволнованный, уже не скрываясь перед самим собой — да, конечно, он любил ее, и это чувство было совсем не похоже на то влечение, которое приходилось ему испытывать раньше к некоторым девушкам. Что будет дальше? Он не знал и не хотел думать; пока довольно и того, что есть... А завтра — на фронт. Впереди все представлялось туманным и удивительным.

Покидая на рассвете следующего дня Севастополь, он почувствовал этот город бесконечно близким и дорогим; каждая улица и ступенька здесь были веяны чистым дыханием его молодой любви. Сзади, к юго-востоку, небо теплилось, едва тронутое зарей; а на северо-западе, куда направлялся грузовик, над позициями лежала темная иллотная мгла... Грузовик мотало по ухабам, подкидывало на кочках; Степан ничего не замечал, думая о своем. Чем полнее осознавал он свою любовь, тем радостнее было ему; охваченный неизлечимым волнением, он испытывал чувство нераздельного слияния со всем большим миром — с Верой, городом Севастополем, с этим рассветом и бледной зарей. Его ожидали бои, страдания, опасности, он шел навстречу им просветленный, словно уверен был в своем бессмертии.

Севастопольцы расскажут своим детям о ненастных и страшных декабрьских днях, когда немецкие орды, устлая трупами заснеженную землю, рвались к горюху. Ночи были светлыми от летучего и зловещего блеска орудийных залпов, ракет и минных разрывов. И чем светлее были ночи, тем напря-

женнее становились лица людей: это означало, что враг продвинулся еще вперед. Был момент, когда немецкие автоматчики находились уже на Братском кладбище, и пули свистели на северной стороне города.

— Немцы на Братском кладбище,— шепнул один рабочий другому. Тот взглянул на товарища воспаленными от бессонницы глазами и, ничего не ответив, снова повернулся к своему станку.

— Немцы на Братском кладбище!— сказала женщина своим товаркам в подземельи.

— Знаем!— коротко и сурово ответили ей. Больше ничего не было сказано, швейные машины продолжали стрекотать до самого рассвета.

Женщины верили своим сыновьям и мужьям. Город верил своим людям, своим гражданам. Немцы на Братском кладбище? Пусть. А в порту под покровом ночи продолжали швартоваться корабли Черноморского флота, груженные войсками, боеприпасами, продуктами. Беспрерывно сновали от одного корабля к другому юркие катера. Буксиры запрашивали стоящие на рейде корабли: не нужно ли пресной воды?

Это были грохочущие, огневые дни, когда каждый час десятками рождал героев. Севастопольцы дрались яростно. Трижды раненные люди находили в себе силу, чтобы подняться и пойти со своим батальоном в четвертую контратаку.

Па головы врагов с линкоров и крейсеров обрушивался огненный шквал пуль, мин, гранат, тяжелых снарядов. А немцы с тупым и бешеным упорством, с налитыми кровью глазами продолжали напирать, подгоняемые сзади пулеметами эсэсовцев. Стволы наших орудий накалялись; батареицы обкладывали их мокрыми тряпками. Ствольные накладки винтовок обугливались изнутри. С грубых ладоней бойцов, бросавших десятки гранат, сходила кожа, обнажая кровоточащее мясо. А немцы все рвались к городу. Они шли по трунам своих солдат, по телам раненых.

Город был перед ними, совсем рядом. Огненная буря ревела вокруг Севастополя. А седая учительница Екатерина Семеновна, поправляя поминутно свое пенсне, хлопотала в это время в подземельи, около елки, стараясь сделать ее понаряднее. Ей даже не приходила в голову мысль о том, что Новый год, может быть, придется встретить в другом месте.

...Приказ, который в эти дни командир Гусаров отдал по своей бригаде, был бесспорно одним из самых коротких приказов, известных военной истории. Он гласил:

«Севастополь за нами! Ни шагу назад!»

Ни шагу назад!.. Степан, сражавшийся в одной из рот знаменитой Гусаровской бригады, перестал различать дни и ночи, оглушенный и ослепленный грохочущим огненным вихрем. Рота обороняла очень важный рубеж, прикрывающий фланг батареи. Немцы стремились во что бы то ни стало прорваться на этом участке и атаковывали без передышки, бросая на моряков свои отборные части.

Ни шагу назад!.. Близкий разрыв засыпал Степана землей. Опять началась артиллерийская подготовка, предвещающая атаку,— шестую за последние сутки.

Степан выглянул из окопа. Даль и сопки вокруг белели, запыленные снегом, но перед самыми окопами и позади окопов земля была серой, словно опаленной— так перепахали, перемесили ее снаряды, бомбы и мины. Сиротливо торчали покривившиеся кольца проволочного ограждения,— каждую ночь

заграждение восстанавливали, и каждое утро немецкая артиллерия сметала его. Дальше, за кольями, метрах в ста пятидесяти, горбилась хмурая сопка, поросшая густой щетиной кустарника; там в блиндажах и ДЗОТах сидели немцы, господствуя над равниной.

Огонь становился всё гуще; тугой и низкий басовой рев снарядов перемежался с пронзительным скрежетом мин; визжали, разлетаясь, осколки. Всплывшие в землю, Степан поглядывал на часы. Огонь продолжался уже пятнадцать минут, значит, сейчас начнется атака. Но стрелка передвинулась еще на десять минут, огонь усиливался, а немцы не появлялись. Щетинистый гребень сопки был попрежнему пуст и безлюден.

Кто-то легко тронул Степана за плечо. Степан обернулся, увидел политрука Касимова; его смуглое горбоносое лицо было окровавлено. Подтянувшись на локтях, политрук лег рядом со Степаном.

— Пустяки,— сказал он, заметив испуг в глазах Степана.— Вскользь задело осколком. Не обращайтесь внимания.

Кругом стояли гул и грохот, словно в гигантскую наковальню, высекая вспышки, били десятки чудовищных молотов. Темный дым разрывов застывал в безветренном воздухе и тяжело оседал на огоны, сливая свой кислото-удушливый запах с запахом взрытой земли.

— Крепко!— сказал политрук, отирая платком кровь с лица.— Что-то готовят они сверх обычной программы.

В эту минуту на гребне сопки возникла темная волна людей. Немцы поднялись в атаку.

Это была их излюбленная психическая атака, хорошо сренетированная и подогретая немалым количеством спирта. Немцы шли в полный рост и вопили дикими голосами; в дыму и гуле разрывов Степан слышал близящийся, нарастающий синопый рев. Темная волна двигалась, колыхаясь; вверху над немцами рвалась шрапнель, оставляя в небе пушистые белые клубочки, навстречу били минометы, винтовки, пулеметы, но немцы шли, не считаясь с потерями, не оборачиваясь на падающих. Позади волны оставались на снегу темные пятна — убитые.

Степан прикинул: атакуют по меньшей мере батальоном. Он бегом посмотрел на политрука. Оторвавшись на мгновение от своего автомата, политрук сказал:

— Провод наш перебит. Связи с батареей не имеем. Послали связного, что бы дали с батареи хороший огонек. Вряд ли он успеет...

На гребне сопки возникла вторая темная волна и, колыхнувшись, двинулась вниз. Сердце Степана сжалось. Эта вторая волна означала, что на каждого краснофлотца, обороняющего рубеж, приходится по меньшей мере пять немцев.

— Нет!— сказал политрук.— Не успеет связной...

И, словно в ответ ему, на гребне, сменив вторую волну, уже спустившуюся к подножью сопки, возникла третья волна атакующих. А первые надвинулись близко; они шли, тускло поблескивая сталью штыков, по-бычьему пригнув головы,— бездушная, безликая толпа убийц. Они принимали на себя весь огонь моряков, зато вторая и третья волны шли почти без потерь.

Немцы надвигались. Их синопый рев звучал ближе. Политрук протяжно свистнул, посмотрел на Степана округлившимися глазами, нырнул в ход сообщения и побежал, пригнувшись, к центру траншеи, где рядом с телефоном пахотился командир.

Степан вложил в магазинную коробку новую обойму. «Значит, сегодня ко-

до двух ночи стирает двадцать пять пар фронтového белья. Это ее ежедневная обычная норма, в выходные дни она стирает пятьдесят пар. Спать ей удастся едва ли больше четырех-пяти часов в сутки. Ничего — держится тетя Клаша, протерпит, если нужно, и год и два и никогда никому не пожалуется на тяготы своей жизни.

Эти простые героические повести по-новому открывали Степану славный город Севастополь, город-фронт, слившийся в единый поток все мелкие ручейки человеческих судеб. Эти судьбы, горевшие до сих пор незаметным огнем обычной жизни, вдруг просияли, превратившись в подвиг, как это всегда бывает в години бурь и всенародных битв, меняющих русло истории. Тетя Клаша, Арсений Дмитриевич не были исключением — так жили тысячи и тысячи севастопольцев.

...Потом Вера провожала Степана по темной лестнице, и он опять ушиб колено об ящики, наваленные в подъезде. Дворик встретил их влажным ветром; далеко в холодной беспредельности сияла голубая луна; ее свет был тускл, облачен, отливал перламутром на мокрых камнях. В мягком тумане Вера казалась бледнее и тоньше, ветер туго обдувал ее легонькое платье; она представилась Степану совсем новой, не такой, как раньше; иными были и глаза ее, светившиеся лунным печальным отблеском.

— Прощайте, — сказала она. — Заходите, если будете в Севастополе. Может быть, и на фронте еще увидимся, — я все-таки вырвусь на фронт. Я желаю вам победы и большой удачи, — чтобы вас не убили, не ранили. Мы увидимся, правда? Я это знаю...

Слабый озноб прошел по нему от прикосновения теплой руки, от блеска глаз, которые он видел так близко перед собой. Эти несколько минут прощания с Верой слились для него в одно тревожно-туманное опущение ее близости, ветра, обещающего счастье. Он ушел приподнятый, взволнованный, уже не срываясь перед самим собой — да, конечно, он любил ее, и это чувство было совсем не похоже на то влечение, которое приходилось ему испытывать раньше к некоторым девушкам. Что будет дальше? Он не знал и не хотел думать; пока довольно и того, что есть... А завтра — на фронт. Впереди все представлялось туманным и удивительным.

Покидая на рассвете следующего дня Севастополь, он почувствовал этот город бесконечно близким и дорогим; каждая улица и ступенька здесь были навеяны чистым дыханием его молодой любви. Сзади, к юго-востоку, небо теплилось, едва тронутое зарей; а на северо-западе, куда направлялся грузовик, над позициями лежала темная плотная мгла... Грузовик мотало по ухабам, подкидывало на кочках; Степан ничего не замечал, думая о своем. Чем полнее осознавал он свою любовь, тем радостнее было ему; охваченный неизъяснимым волнением, он испытывал чувство нераздельного слияния со всем большим миром — с Верой, городом Севастополем, с этим рассветом и бледной зарей. Его ожидали бой, страдания, опасности, он шел навстречу им просветленный, словно уверен был в своем бессмертии.

Севастопольцы расскажут своим детям о ненастных и страшных декабрьских днях, когда немецкие орды, устилая трупами заснеженную землю, рвались к городу. Ночи были светлыми от летучего и зловещего блеска оружейных залпов, ракет и минных разрывов. И чем светлее были ночи, тем напря-

нец!» — подумал он. В этой мысли не было ни смятения, ни страха. Спокойно Степан смотрел в лицо жестокой правде, не обманывая себя надеждами. Если в рукопашной схватке и удастся остановить первую волну, то вторая и третья затопят, раздавят моряков своей численностью. «Ну, что же! Будем драться до последнего!» Так он решил и больше о себе не думал. Мысли его перекинулись на батарею. На сколько времени удастся задержать немцев здесь, на этом рубеже? Добьют ли связной, успеет ли батарея приготовиться к отпору?..

Немцы надвигались. Еще пятнадцать метров — и они бросятся в штыки. Интервал между первой и второй волнами заметно уменьшился. Винтовка в руках Степана, как всегда перед рукопашным боем, немного отяжелела...

И вдруг в интервале между первой и второй немецкими волнами с чудовищным чугунным грохотом поднялись к небу столбы огня и дыма. Земля вздрогнула. И еще не успел Степан сообразить, что произошло, как уже покатилося вдоль траншеи «ура!», поднимая людей и бросая их со штыками наперевес навстречу немцам.

Моряки ударили неудержимо, с гикальем, свистом. Что-то кричал и Степан, видя перед собой в кровавом тумане каски, шинели, винтовки, слыша вокруг хруст, вонли, ругательства. Сколько раз ударил он штыком, сколько раз на немецкие головы опустил тяжелый, окованный железом приклад, он после боя не смог бы сказать. А земля все дрожала, и все грохотал чугунный гул могучих взрывов там, где две минуты назад так неотвратимо и грозно двигались в атаку вторая и третья немецкие волны. Степан в рукопашной схватке совсем забыл об опасности, угрожавшей ему; одно только ясно и отчетливо пошмал он — отбили! Мелькнуло перед ним перекошенное болью и ужасом лицо какого-то немца, совсем еще мальчика, — он поднимал дрожащие руки, а сам уже клонился, падал, и на его шинели сбоку темнело кровавое бурое пятно. Толстый офицер без каски сидел, расставив ноги, на земле и хрипло кричал, плюясь кровью, бил навстречу Степану из парабеллума. — Держи! — крикнул Степан, подскочив и с размаху опуская приклад.

И сразу все кончилось, — как будто пронесся какой-то мгновенный дикий вихрь, опрокинул, разворочал все и исчез. Огневой вал, взметая дымные смерчи, грохотал уже на самом гребне сопки; где укрылись уцелевшие немцы. Стопали раненые; какой-то краснофлотец, залыхавшийся, с потным красным лицом, деловито очищал грязь со своей затоптанной шапки. Рядом со Степаном стоял политрук, озабоченно разглядывая свой распоротый вражеским штыком полусубок. Двое краснофлотцев провели мимо десяток пленных... Степан старался понять: что же произошло? Политрук коротко объяснил: в самый решительный момент, когда и командир уже не видел для роты иного выхода, кроме неравного боя и геройской гибели, восстановилась вдруг связь с батареей. Узнав о критическом положении своего флангового прикрытия, батарея обратилась за помощью к двум другим батареям; сосредоточенный огонь двенадцати, а может быть и пятнадцати орудий в несколько минут опрокинул немецкие боевые порядки.

— Остальное известно вам, — сказал политрук. — От себя одно могу добавить — повезло... Кстати, нет ли иголки толстой у вас? Распорол проклятый немец, а полусубок — новый. Надо зашить...

Чья рука соединила концы провода и этим предрешила исход контратаки? Степану не пришлось долго гадать: в траншее, задохнувшись от радостного изумления, он увидел Веру с брезентовым подсумком у пояса. Политрук жал ей руку, благодарил ее; она, смущаясь, говорила, словно оправдываясь:

— Я, право же, не при чем... Меня послали с батареи осмотреть провод, я нашла обрыв, соединила — вот и все. По мне даже стрельбы особо сильной не было. Так, цемножко...

По левая рука ее была перегнана, локти и колени измазаны глиной.

— Ползти пришлось? — спросил Степан.

Она молча кивнула головой: да, пришлось... На этом разговор и кончился. Вера пошла назад на батарею. Несколько раз фигура ее застилалась дымом разрывов, и сердце Степана падало, замирая. Наконец Вера спустилась в ложину, и Степан немного успокоился. Да, нелегкая выпала ему любовь — не в садах и не в парках, как обещали многие прочитанные книги, а на фронте, под огнем, под снарядами, когда не только свиданиям, но даже мыслям о своей любви удается уделять лишь считанные минуты в промежутках между боями.

А промежутки эти становились с каждым днем все короче. Немцы напирали, беспрерывно атакуя по всему фронту. Видимо, очень хотелось им украсить новогодние номера своих газет пыльными заголовками: «Доблестные германские войска ворвались на улицы Севастополя! С новым годом! Хайль Гитлер!». Разведчики принесли однажды несколько таких плакатов, заранее заготовленных немцами. Краснофлотцы разглядывали их и мрачно посмеивались, твердо зная: между немцами и городом стоит стена севастопольской обороны 1941—1942 годов. И если бы в те дни появился на передовых позициях под Севастополем матрос Петр Кошка и строго спросил бы: «А кто здесь хорошо дерется? Кто храбро защищает Севастополь?» — тысячи голосов откликнулись бы ему из бригад и полков Гусарова, Потапова, Горнищенко, Жидилова, и матрос Петр Кошка остался бы доволен своими презимьями. Люди не ждали, когда события своим естественным течением дадут им возможность совершить подвиг, — люди искали подвига, жадно рвались к нему. Никакая опасность, никакая риск не останавливали героев.

«Севастополь за нами! Ни шагу назад!» И краснофлотец Ермолов, когда его наступающее подразделение остановилось перед склоном сопки, потому что склон этот был, по всем признакам, минирован, вызвался проверить спуск и проверил, несколько раз скатившись с вершины сопки вниз. Краснофлотец Василий Смирнов в один день принял четыре боя с немецкими пулеметчиками; уничтожил все расчеты, а пулеметы доставил в свою часть.

Степан терпеливо ждал своей очереди. Он уже многократно проверил себя и знал твердо, что у него хватит и силы и вытержки на любой подвиг. Многие повидал он за эти дни, и трудно было теперь чем-нибудь его испугать: видел он совсем низко над головой немецкие пикировщики и вместе со всеми сбивал их групповым винтовочным огнем; видел и танки, научился спокойно подпускать их вплотную и поджигать метко брошенными бутылками; бывал он в разведках, захватил однажды «языка», только этот «язык» оказался, к сожалению, румынским солдатом, давно уже искавшим случая слиться в плен и горячо благодарившим Степана за оказанную ему услугу. Все это были обычные дела, военные будни. Степан ждал. В мечтаньях своих он рисовал себе подвиг, способный затмить все, совершенное под Севастополем до сих пор!

По судьба рассудила иначе.

Дело, которым предстояло ему увенчать свое возмужание, мало чем походило на те блестящие подвиги, что рисовал он себе в разгоряченном вообра-

жени. Это, конечно, был тоже подвиг, по особенный, лишенный всякого внешнего блеска; тяжелый, трудный и смертельно опасный, он мог даже остаться навсегда неизвестным,— разве только в бумагах гестапо сохранилась бы память о нем...

Беседовавший со Степаном полковой комиссар, маленький, сухой, с пронзительными серыми глазами, прямо так и сказал:

— Вы должны учесть, что дело очень сложное и опасное. Малейшая оплошность будет стоить вам жизни.

Разговор происходил в Севастополе, в просторном и теплом кабинете на втором этаже; через двойные рамы глухо доносилась канонада, день за окнами был серый, тихий, с однокими снежинками. Комиссар встал, пригладил темной рукой седеющий бобрик на голове, прошелся по мягкому ковру из угла в угол.

— Есть два рода подвигот. Одни требуют порыва, мгновенной вспышки. Это — легче. Другие требуют постоянного и неослабного напряжения и, если понадобится, готовности выдержать без стопа любые пытки... Я это к тому говорю, чтобы вы взвесили. Если в душе у вас есть хоть малейшая тень сомнения, вы должны, обязаны сказать. Такие поручения требуют людей особой породы, понимаете!

— Товарищ полковой комиссар! — спокойно и твердо сказал Степан. — Породы моя — черноморская, коренная. Присягу я принимал, готов ко всему. Родину я не продам никогда — пусть режут на куски и жгут огнем. Когда разрешите получить боевое задание?

Комиссар сдержанно, одними глазами, улыбнулся Степану.

— Я не ожидал от вас иного ответа, товарищ Полосухин. Я позабыл сказать вам, что знавал когда-то вашего отца — в одном отряде были мы с ним на Киевщине. Он жил потом в Керчи, кажется? Значит, к немцам в лапы угодил старик.

— Нет, — ответил Степан. — К немцам он не угодит. Он в партизанах сейчас.

— Вы имеете какие-нибудь сведения?

— Сведений у меня нет, но я своего старика знаю. Не из таких он, чтобы остаться...

Помолчали. В тусклом свете зимнего дня серебрилась густая седина на голове комиссара. Он протянул Степану руку.

— Значит, решено. Жду вас завтра в девять часов. Договоримся окончательно и все уточним.

— Есть явиться завтра в девять часов!

Степан взял под козырек, повернулся и вышел.

С попутным грузовиком добрался он до батареи. В землянке разыскал Веру. Она сидела за шатким дощатым столом и старательно переписывала в «Боевой листок» какую-то заметку.

От этого прощального свидания в памяти остались ее глаза с золотыми искорками в глубине, тихий голос, тонкие пальцы с фиолетовыми следами чернил. Она оживленно рассказывала о командире батареи, — какой это чудесный, веселый и добрый человек, но только с одним большим недостатком: деvушек не признает на войне, считает, что в это чисто мужское дело им вмешиваться не следует.

— Да вы и не слушаете вовсе! Почему вы сегодня такой рассеянный? О чем вы думаете?

Степан посмотрел умоляюще. По его глазам она все поняла и сама слегка покраснела. И была такая секунда обоюдного невольного молчания, когда Степан, охваченный приливом своей любви и мучительно томясь ее невысказанностью, стоял, как будто над пропастью. Ринуться?.. Сказать?.. Она и эти мысли прочла в его глазах и глазами же умоляюще ответила: «Не надо... Еще рано...» Он подчинился и сказал совсем не то, что думал.

— Я рассеянный? Нет, это просто вам показалось. Я слушаю очень внимательно.

Прощаясь, Степан задержал ее руку.

— Мне придется уехать недели на две... Может быть, на три.

— Куда?

— Скажу, когда вернусь.

Мысленно он добавил: «Если вообще вернусь».

— Я буду ждать.— сказала Вера.

Эти слова прозвучали для него как призыв и как обещание. Мог ли он подумать, что это был его последний разговор с нею, что больше никогда они не увидятся, а то немногое, что между ними было, останется только в памяти, как чистый весенний сон его молодой души!..

...В глухую ветреную ночь катер, приглушив моторы, медленно подходил к берегу близ Феодосии, занятой немцами. Гористый берег нависал черной глыбой, без единого просвета или огонька. Катер вошел в береговую тень, в самую черноту.

Пора! Степан пересел в тузик. Скрикнули весла, и берет стал надвигаться, заслоня собою небо с высокими редкими звездами в разрывах туч. Слышался неласковый рокот прибоя, перекатывающего мокрую гальку.

Высадив Степана, тузик отошел, темнота сразу поглотила его. Степан остался один на голом, неприветливом берегу. Свистел порывистый ветер, глухо рокотал прибой, ночь дышала в лицо Степану сыростью, холодом и тревогой. Так пустынно, дико было вокруг, словно во всем огромном мире остался только он один живой человек, да еще — ветер, море и далекая зеленоватая звезда, трепетно мерцающая за тучами...

Итти пришлось опунью, а задерживаться было нельзя: берег паверняка патрулировался. Подъем становился все круче, переходя порою в отвес; тогда начинались в темноте поиски обходов и уступов, чтобы, уперев ногу, ползти еще на один-два метра. Чем выше, тем хуже — каждую секунду грозила опасность оборваться и рухнуть вниз, на острые жадные камни. К счастью, с половины подъема начался лес — деревья помогали итти, можно было даже отдышаться у мокрых шершавых стволов.

Рассвет застал Степана далеко от моря, на какой-то полянке. Моросил мелкий нудный дождь; голые деревья, жалобно свистя прутьями, качались на ветру; густо и низко шумел неизвестно кем запосенный сюда кшпарне, оббитый желтым мертвым плющом. А кругом опять безлюдье, ни единого живого звука. Впрочем,— Степан прислушался — лаяла где-то собака. Верно, деревушка. Туда Степан и пошел, рассчитывая узнать дорогу на Феодосию. По случай встречи с немцами в кармане у него лежали паспорт и воинский билет с отметкой об отсрочке призыва.

Но в деревне никого он не встретил — ни своих, ни немцев. Крохотная, в десяток домов, деревушка была разрушена и сожжена дотла. В почерневших от копоти стенах зияли провалы окон и дверей. на земле валялись обгорелые тряпки, черепки битой посуды. Немцы погуляли здесь вельась. Шагах в десяти от дороги стояла виселица, шесть трунов висели на почерневших веревках, слегка раскачиваясь от ветра. К столбу виселицы прибита была надпись на фанерном листе: «Так будет со все кто помогать партизанам хлеб и другие продукты». Уцелевшие жители деревни покинули ее, остался на родном пепелище один только пес — худой, с грязными ошметками шерсти на боках; тихонько скуля и подвывая, он издали смотрел на Степана, но осмеливаясь подойти. Его желтые глаза светились тоской и безумием. Он звал хозяина — который уже день? — и не мог понять, почему хозяин не отвечает и зачем висит, сложив так странно руки за спиной. Степан вытащил из кармана сухарь и бросил псу; взвизгнув, пес отскочил, забился куда-то в развалины.

Чем мог почтить Степан память своих замученных советских братьев. Он подобрал кусок угля и резко крест-накрест, с нажимом перечеркнул немецкую надпись, чтобы заменить другой, словами, которые вместили бы весь его гнев, все презрение к убийцам, всю силу ненависти, всю глубину его скорби, всю любовь к родине и непоколебимую веру в скорое отмщение. Ему нужны были такие слова, чтобы немцы, увидев их, побелели от страха и ярости. — раскаленные, неостывающие слова!

Он подошел к фанере и четко, крупно написал углем вкось по немецкой надписи:

«Берегитесь, гады! Ни один не уйдет живым с нашей земли! Смерть немецким оккупантам!»

Подумав, он подписался:

«Черноморский моряк. Я проберусь к вам, гады, в тыл!»

13

Земля родная, крымские родные берега!..

Незабываема юность, и навсегда человеку остаются близкими и своими места, овеянные когда-то ее дыханьем... Шесть лет минуло, а Степану казалось, будто вчера только он, семнадцатилетний паренек, шел здесь вдвоем с товарищем, таким же беспокойным странником, из Керчи в Севастополь. Утрами, когда с облаков не сошел еще розовый отблеск, трогались они в путь, минуя татарские деревушки, виноградники, накрытые влажной тенью холмов, миссальные сады, проснувшиеся навстречу первым лучам. Друзья поднимались все выше к соснам; опаловый туман над морем редел, чистейшая синева сквозила в просветах стволов; над морем и над горами небо сияло, полное света. Скрипели старые мажары, буйтолы рожали слюну в дорожную пыль, от дерева к дереву перепархивали сойки, выпыхивая в солнечных полосах голубыми крыльями, прыгали по камням ручьи, звенели цикады — близился полдень, и зной на белых дорогах стучался. Друзья разделили и продолжали путешествие в одних трусиках, вселяя своим голым видом великое недоумение в собаках, охраняющих сакли, спугивая задремавших на солнце ящерц. Бегом, вдогонку за осыпавшимися камнями, спускались крутыми тропинками к морю, к зеленовато-зубкой прохладе. Море! Степан нырал и кувыркался, взблески-

вая загорелой спиной, ухаю и гогоча от радостного возбуждения. Почевка на берегу; нагревшаяся за день земля остывает медленно, звезды тянут серебряные нити к вершинам уснувших деревьев, в море; в его тихой мгле негнет да и блеснет далекими огнями теплоход...

На этих берегах было счастье. Были цветущие богатые деревни, поля, сады, были веселые приветливые девушки, мудрые старики с важными седыми бородами, была любовь, были песни; детишки с голыми коричневыми животами выбегали навстречу гудящим автобусам... Где все это? Что случилось?.. Развалины, трупы на виселицах, трупы в канавках и расклеенные всюду немецкие приказы, оканчивающиеся неизменным словом — «расстрел». Оно было выделено, это слово, напечатано большими жирными буквами. За неспадучу охотничьих ружей и пороха — расстрел! За неявку в полицию для регистрации паспортов — расстрел. За неспадучу в срок положенного количества хлеба и мяса — расстрел!

Перед Феодосией Степан остановил немецкий пост. Документы проверял фельдфебель, не знавший русского языка; ему помогал какой-то вертлявый человек — предатель, фашистский наймит. Степан разглядывал его внимательно, даже с некоторым любопытством. Не каждый день видишь в двух шагах от себя живого предателя. На всякий случай Степан запомнил вертлявого человечка: может быть, придется когда-нибудь встретиться.

Документы и ответы Степана никаких подозрений не вызвали. Его пропустили в город.

Феодосия встретила его молчанием и запустением. Мертвый город закрытых дверей, наглухо закрытых ставней, пустынных улиц и площадей с обязательным пулеметным окопом посредине и скучающим возле него немецким патрулем. Редкие прохожие, которых крайняя необходимость выгнала из домов на улицу, пробрались торопливо, косясь на немецкие приказы, кричавшие со стен и заборов о расстреле за хождение позже пяти часов вечера, за распространение неблагоприятных слухов, за сокрытие теплых вещей, подлежащих немедленной сдаче в комендатуру. Как доказательство, что словесные угрозы эти претворяются в дело незамедлительно, на улицах Феодосии красовались две виселицы, а на стенах рядом с приказами белели списки уже расстрелянных. Степан остановился перед одним таким списком: с истинно немецкой аккуратностью указан был день и даже час расстрела, а фамилии следовали одна за другой в строго алфавитном порядке. Абрамов М. Г., Авакумов В. С., Гордон Я. М., Дервянко Л. И., и дальше до Ячцевоцкой К. А., всего — тридцать восемь фамилий. Степан читал и думал: сколько фашистских голов надо теперь снять во искупление этого спешка! Пронес, тяжело тоная подкованными сапогами, немецкий солдат; Степан посторонился с недобрым блеском в глазах. Весело болтая с поджарым немецким офицером, шло высокая красивая женщина в дорогом меховом пальто: она говорила быстро, офицер же, с трудом понимая по-русски, переспрашивал, наморщив лоб:

— Вечеринка? Что это означай? Вас ист дас?

Лицо этой женщины Степан тоже запомнил — на всякий случай.

Он был спокоен здесь, на поруганных улицах Феодосии. Его ненависть гнездилась глубоко, и он знал, что не выдаст себя каким-нибудь неуместным взрывом. Наоборот, увидев воочию немецкие злодеяния, он ощутил странный холод на сердце. Зачем волноваться, возмущаться и негодовать, когда все так ясно, когда ненависть пропитала собою всю кровь, когда она стала дыханием, когда один остался разговор — пулеметами, наконец, до последнего человека!

Он мог бы даже сесть за один стол с фашистом, пить с ним вино и есть хлеб, если бы это нужно было для победы и мести!

...Был в городе Феодосии неподалеку от вокзала переулок (вряд ли что осталось от него сейчас) и висела в этом переулке на одном из домов, над закопченной низенькой дверью, облупившаяся вывеска с изображением английского ключа, примуса и электрического утюга. Надпись под этим нехитрым художеством кратко поясняла: «Ремонт». Больше никаких реклам и пояснений не требовалось, потому что работал в этой мастерской сам Федор Игнатьевич Косицын, чье искусство в излечении примусов, чайников, керосинок, швейных машин и других предметов, преимущественно женского обихода, известно было всему переулку и стаяло в нем Федору Игнатьевичу немалую славу. Бывало и так, что ему приносили вещи в ремонт с противоположного конца города; с чужеземцев Федор Игнатьевич брал дорожки и сроки ремонта назначал удлинненные, как бы подчеркивая этим свою единственность и неповторимость в городе.

Посетителя прежде всего обладало в мастерской густым духом меди и керосиновой копоти. Деревянный прилавок, углы мастерской — все савалено было жестяной ружьялю, проржавевшим хламом, которому предстояло под искусными руками Федора Игнатьевича родиться во второй раз и вновь повторить свой жизненный цикл где-нибудь на кухне в тесной коммунальной квартире. По стенам мастерской на гвоздиках, солидно поблескивая медными и никелированными боками, висели уже отремонтированные предметы, а под ними, так же солидно поблескивая лысыной, трудился с напильником или паяльником в руках мастер, тоже отремонтировавший в свое время: вместо левой ноги была у него ниже колена деревяжка.

Никто не помнил, когда и как появился он в переулке, никто не предполагал в нем особых гражданских доблестей: мастер как мастер, дело свое знает, выпивает в меру, а выпивши никогда не буянит, словом, человек вполне добродетельный, для переулка необходимый, но в смысле общественно-советском малозаметный. Правда, Федор Игнатьевич с готовностью подписывался на займы, принимал обязательное участие во всех демонстрациях, выборах, — большего и не требовали от него, и никому никогда не приходило в голову, что этот одинокий человек с крючковатым носом на рябом лице, в очках, железная дужка которых обмотана черной ниткой, думает не только о примусах и швейных машинах, что было у него два сына и оба погибли в гражданскую войну, что с тех пор он, вложивший так много в общее дело, почувствовал себя полноправным хозяином этого дела, — потому и ворчит на разные порядки и взыскательно ругает на улице какого-нибудь нерадивого шофера, машина которого словно бы приняла незавно грязевую ванну.

Воркотню его принимали за обычную старческую брюзгливость — и ошибались: смысл ее был гораздо глубже. Это была хозяйская воркотня, законная требовательность человека, который знает цену трудовой копейке.

В дни, когда немцы приближались к Феодосии, военный комендант города меньше всего ожидал увидеть в своем кабинете старика в промасленном пиджаке и башке блонном, пропахшего насквозь керосином, ржавчиной и медью. Постукивая своей деревяжкой, Федор Игнатьевич подошел к столу и очень просто, словно речь шла об очередном примусе, сказал:

— Эвакуироваться вам придется, а свой глаз неплохо оставить в городе.

Комендант откинулся на стуле и с минуту смотрел на Федора Игнатьевича молча. Федор Игнатьевич не смутился, только слегка прищурился.

— Это вы к чему разговор заводите?— спросил, наконец, комендант и, быстро поднявшись, подошел к двери — проверить, плотно ли закрыта. Федор Игнатьевич в душе одобрил его за такую предусмотрительность.

— Дело простое, — пояснил он, кашлянув. — В партизаны я не тожусь по натуре моей хромой ноги, уезжать мне тоже ровно бы ни к чему, а здесь, в городе, я в самый раз буду. В городе я редкого человека не знаю, да и меня знают, привыкли ко мне. А привычный человек — он малозаметный. Да и работа у меня такая — весь я на виду.

— А что же вы делаете? — полюбопытствовал комендант.

— Ремонт примусов, керосинок, швейных машин и прочего, а также электроагрегативных приборов, — четко ответил Федор Игнатьевич и, улыбаясь, разрешил себе пошутить: ,

— Фирма существует с тысяча девятьсот двадцать четвертого года. И все на одном месте. Я понимаю: вам, конечно, надо меня проверить. Вы в переулке нашим спросите — меня там все знают. Также и члены партии, что в нашем переулке живут. Солдат я старый, воевал и в японскую войну и в германскую первую. Документы все имеются.

Он полез во внутренний карман пиджака, вытащил оттуда толстую пачку бумаг и разложил их на столе перед комендантом.

То ли очень уж русское и открытое было у Федора Игнатьевича лицо, то ли в словах его и в самом голосе заключалась неотразимая убедительность, только все люди, весьма ответственные, с которыми Федору Игнатьевичу пришлось на следующий день беседовать, верили ему и, после упоминания о двух погибших сыновьях, сразу понимали чувства и мысли, побудившие его прийти к военному коменданту со своим предложением.

Так просто и буднично произошла в жизни Федора Игнатьевича великая перемена, превратившая его из скромного мастера в грозного бойца на самом опасном участке фронта. Теперь он был важным звеном в незримой, но страшной для фашистов цепи, тянувшейся от наших штабов в немецкий глубокий тыл к партизанам. Немцы метались, рыскали, искали, вешали и расстреливали десятки людей, силясь ухватить хотя бы кончик этой цепи, от которой поминутно отскакивали горячие искры, зажигая автоцистерны с бензином, взрывая склады боеприпасов и воинские эшелоны, летящие в огне под откос! Неуловимый, многоликий, имеющий тысячи рук, глаз и ушей, враг этот проникал всюду, не давая немцам ни минуты покоя, превращая их тыл в участок фронта. Партизаны! Немцы тряслись от бессильной ярости, услышав это ненавистное слово, но поделаться с партизанами ничего не могли: карательные экспедиции возвращались потрепанными, оставив партизанам половину оружия; угрозы не действовали, на объявления, обещавшие крупные денежные награды лицам, сообщившим о местонахождении партизан, никто не отзывался... А в городе Феодосии, в привокзальном грязном переулке, так же, как и год назад, до войны, сдвинув на самый кончик носа свои очки, прилежно трудился с утра до вечера старый мастер, чинил примусы, швейные машины, электрические чайники, оказывая порою мелкие услуги и немецким солдатам, заходящим сюда починить зажигалку или спать поломанную шпору.

Кто мог заподозрить в чем-либо старого мастера? Во всей Феодосии трудно было найти человека по виду и занятиям своим более далекого от всяких военных дел. А между тем именно здесь, в этой законченной мастерской, сходились, перекрещивались многие и многие нити, за которыми с таким усердием охотились гестаповские ищейки. Что может быть проще — войти в мастер-

скую, заказать английский ключ и, пока мастер выпиливает его, шепнуть десяток гужных слов, затем так же просто уйти. А слова уже сами дойдут куда следует, и смотришь — немцы не досчитались еще одного склада или гарнизона где-нибудь в деревушке...

Степан вошел. Федор Игнатьевич непристеливо посмотрел на него поверх очков.

— Здравствуйте, — сказал Степан.

— Здравствуйте, — ответил Федор Игнатьевич и замолчал выжидательно.

— Ключик мне новый надо бы сделать.

Федор Игнатьевич протянул руку.

— Давайте, посмотрим.

Понизив голос, Степан сказал:

— Вам привет от Василия Лукича Земешкова.

Федор Игнатьевич как будто и не слышал пароля, даже бровью не дрогнул.

— Ключик давайте, — повторил он, слегка пошевелив пальцами.

Степан в недоумении замаялся.

— От Василия Лукича Земешкова... — пробормотал он.

— Слышал, — строго и сдержанно остановил его Федор Игнатьевич. — Говорить по два раза такие слова вовсе даже ни к чему. Давайте ключик ваш.

Никакого ключика у Степана, конечно, не было. Федор Игнатьевич посмотрел сычом, исподлобья.

— А если бы кто-нибудь третий был в мастерской? Тогда что? Выходит дело — зашел человек ключ заказывать, а образца у него и нет... На таких вот мелочах и попадаются... Откуда вы? Из Севастополя, говорите... Ну, как там дела?

Для вида Федор Игнатьевич зажал в тиски какую-то медяшку и начал шаркать по ней напильником. Степан рассказал ему о своем занятии.

— Ну, что же, — вяло, с видом полного равнодушия сказал Федор Игнатьевич. — Сделаем... Документики-то в порядке у вас? Покажите...

Документы он проверял гораздо тщательнее, чем немецкий ефрейтор. Проверив, одобрил.

— Все правильно, придраться не к чему... Ну, что же, остановитесь пока у меня денька на три.

...Через полчаса Степан сидел в маленькой полутемной комнатке; ставни окон, выходивших на улицу, были закрыты; тускло горела крохотная лампа, сдвигая в углы тяжелую темноту; доносились жалобные надрывные гудки паровоза, — казалось, он призывает на помощь.

Пили жиденький чай. Федор Игнатьевич неторопливо рассказывал скорбную повесть феодезийской жизни последних недель. Услышав от Степана о вертлявом человечке — помощнике ефрейтора, о высокой женщине, что, смеясь, болтала с немецким офицером, Федор Игнатьевич ответил:

— Об этих беспокоиться нечего. Эти все на заматке, никуда не денутся. А вот есть похуже...

Он закурил и долго молчал, словно раздумывая — довериться ли Степану до конца или пока обождать. Так больше ничего и не сказал в этот вечер.

Вскоре, отстегнув свою деревяжку, улегся он спать и захрапел с присвистом. А Степан долго не мог уснуть — то чудились ему голоса под окнами, то шали в коридоре. Паровозы все кричали и кричали на линии, шумел по ставням почной холодный дождь.

Рано утром Федор Игнатьевич отправился в свою мастерскую. Степан до

вечера просидел взаперти в темной комнате, наедине с коптилкой и остывшим чайником. То же повторилось и на следующий день. От скуки и беспрестанной зевоты у Степана ломило челюсти. Он спросил Федора Игнатьевича, когда же, наконец, можно будет приступить к выполнению боевого задания.

— Выполняется, — коротко ответил старик, не вдаваясь в подробности. Он никогда и ничего не посвящал в подробности; даже люди, связанные с ним вплотную, не знали до конца, где и как происходит эта муравьиная кропотливая работа: два слова одному, сигнал второму — и вот побежала по живой цепи искра, и в горах уже знают, что прибыл шз Севастополя свой человек и есть у него неотложное дело к Шмелеву — командиру партизанского отряда.

Ничего старик не сказал и на третий день. Степан не пытался больше его расспрашивать. Молчит, ну, и пусть молчит — его дело. Но Степан предполагал, что старик по крайней мере устроит ему личную встречу со Шмелевым. Воображение рисовало тайные тропы в горах, немецкие заставы, сквозь которые надо пробираться ползком, глубокие пещеры со многими выходами в разные стороны, сигнальную переключку партизан: крику совы тонким свистом отвоевает из леса заблук. Может быть, в действительности все именно так и было, но только Степану ничего этого увидеть и услышать не пришлось, потому что на четвертый день старик вернулся из мастерской в сопровождении какого-то Василия Карповича, видимо, старшего своего приятеля. Человеку этому было лет за пятьдесят и наружность он имел ничем особенно не примечательную: темное лицо, иссеченное глубокими морщинами, напоминало потрескавшийся бурый камень, на скулах и подбородке бессильными пучками росла редкая полуседая-полурыжая борода, светился только один глаз, второй же, затянутый бельмом, был неподвижен и мутен. Очутившись в комнате, Василий Карпович сейчас же принялся разуваться и развешивать для просушки свои портянки с коричневыми подтеками, а Федор Игнатьевич, буркнув Степану: — Вот с Василием Карповичем поговорите, он Шмелеву все передаст, — отправился в сени кипятить чайник.

— Прохудились подметки! — огорченно сказал Василий Карпович, ковыряя пальцем сапог. — По этим самым горам, чтоб им пусто было, ну, прямо горят подметки. Хоть каждую неделю новую ставь! Беда!..

Устремив на Степана свое единственное око, спросил:

— Ну, что там прислали из Севастополя? Какую инструкцию?

— Да есть кой-какие, — уклончиво ответил Степан. — А насчет подметок — это вы правильно. Сырость, главное дело...

— Да сырость — шут бы с ней! — возмущенный, подхватил Василий Карпович. — Камень — в нем вся причина! Ходишь, ходишь целый день, ровню по рашпилю, разве ж тут такая обувь выдержит? Да и то сказать — товар нынче слабый пошел. Если бы, скажем, лосевая была подметка или спиртовая настоящая — тогда, конечно, дело другое. А это — какой же товар? Так, для вида...

Он с пренебрежением бросил сапог и опять вонзился в Степана своим зрячим оком.

— Ну, какое же у вас дело к Тимофею-то Петровичу, к нашему командиру?

— Сейчас расскажу, — ответил Степан, взял со стола кружку и вышел в сени. Там, зачерпнув из ведра воды, он шопотом спросил Федора Игнатьевича.

— Все, что ли, говорить ему?

— Как это — все? — не понял Федор Игнатьевич.

— Я думал самому Шмелеву сказать. Лично...

— А где же его взять, самого Шмелева? Что он вам — в город поедет, когда тут объявления везде понаклеили? Пятьдесят тысяч за него обещают.

— Вы этого человека хорошо знаете?.. Василия Карповича?

Федор Игнатьевич рассердился:

— Какое вам было отдано приказание? Ко мне явиться. Я вам человека представил, значит — отвечаю. Не в первый раз!..

После этого Степану ничего другого не оставалось, как вернуться в кампату и начать с Василием Карповичем свой секретный разговор. Кстати, разговор этот был очень коротким, всего два десятка слов: база с продовольственным и боеприпасами находится за Старым Крымом, на реке Ингол, как раз там, где река принимает свой главный приток, с восточной стороны скалы Караташ.

— Ишь ты! — воскликнул Василий Карпович. — А мы ее на Карасу искали. Камня сколько переверочали... Ну, теперь-то мы ее разыщем. А вы, значит, передадите в Севастополь поклон от Федора Тимофеевича. Скажите там: поездов мы спустили в декабре два, один целиком сгорел, а от второго половины отстояли немцы. Грузовиков разбили шестьдесят три начисто да покалечили еще пятнадцать. Немцев положили, так чтобы вам не соврать, сотни четыре. Полковника одного прихватили в машине на дороге, но только он живым не дался. Застрелился. Еще показывал Федор Тимофеевич, чтобы человека обязательно прислали, который по-немецки знает. А то нам с допросами — прямо зарез. Все по разговорнику жехитряемся, а много ли узнаешь по разговорнику?..

Вошел Федор Игнатьевич с клышным чайничком в руках и связкой копченой кофали. Началось неторопливое чаепитие и такие же неторопливые разговоры самого обывательского, по мнению Степана, характера: как трудно доставать продукты и какая холодная выдалась зима, а дрова и уголь на исходе. К тому же и табак немцы весь позабрали — нечего курить. Слово сидели они все трое не в Феодосии — городе, по улицам которого разгуливали немцы, а где-нибудь в Актюбинске, в трех тысячах километров от фронта. Только однажды за весь вечер разговор повернулся по-боевому, по-партизански, да и то всего на несколько минут.

— А с этим, Аслановым, как? — спросил Федор Игнатьевич.

— Рассчитались...

— Сознался?

— Сознался. Куда же он денется?

— Старосту из Карагода тоже, слышал я...

— С этим третьего дня рассчитались.

— Угм! — промычал Федор Игнатьевич, поджав губы. — Ты, Василий Карпович, в Насыльское этого, усатого, знаешь?

— Знаю. А что?

— Свиридова Митю помнишь?

— Ну как же! Старуха, говорят, стала седая вся.

— Поседеешь, — один ведь был. Так вот — его работа. Усатого.

— Ага! — Василий Карпович поставил кружку. — Так, может, и Павел Ильич — тоже его работа?

— Нет, Павел Ильич — это другое. Это я еще не дознался. А насчет Мити Свиридова — точно. Он!..

— Так... Ну, ладно. Учтем, Федор Игнатьевич. А насчет Павла Ильича ты постарайся... Узнай, кто выдал.

— Дознаюсь...

Из этого разговора Степан понял, что судьба неизвестного ему «усатого» решена и предателю недолго осталось погасить воздух своим дыханием. И еще понял Степан, что Федор Игнатьевич здесь, в Феодосии, в своей законченной мастерской, ведет неумолимые и точные счета всех изменников и предателей, а выискивает с них по счетам Василий Карпович где-то в горах. Но, верный своему правилу, старик и в этом разговоре воздержался от всяких подробностей, оставив неудовлетворенным жадное любопытство Степана.

Уложив Василия Карповича на сундуке, старик, устранившись на кровати с кряхтением и охами, сказал Степану:

— Завтра надо вам двигаться. У меня задерживаться ни к чему: еще пронохает кто, неровен час. Сведения я вам все приготовил. Там, под Керчью, есть у нас свой человек — он уже знает. Перекиннет вас через пролив... Охо-хо!..

Старик протяжно зевнул и потушил копилку. Уснул быстро, вдвоем с Василием Карповичем они храпели вразупски. А Степан в темноте огорченно думал, что рушилась последняя надежда задержаться недельки на три и повоевать вместе с партизанами. Для Степана, по молодости его и по складу характера, война включала в себя, помимо общего для всех советских людей освободительного смысла, и еще некий спортивный интерес: чем опаснее — тем заманчивее. А Федор Игнатьевич, будучи человеком вполне прозаическим, в этой войне ничего интересного и заманчивого не видел. Трудная, опасная работа, но выполнять ее надо: при немцах жизни русскому человеку не будет. Чем скорее будут вышвырнуты немцы с нашей земли, тем лучше; поэтому в своем деле Федор Игнатьевич всегда выбирал пути наименее рискованные и самые верные. Все дела свои выполнял он обстоятельно и прочно, учитывая каждую мелочь. Степан догадывался, что рискованное путешествие в немецкий тыл обходится до сих пор без всяких приключений вовсе не потому, что немцы ретозейничают или вдруг подобрали: всему причиной Федор Игнатьевич, его практический, трезвый ум и предусмотрительность. Не особенно полагаясь на опытность и выдержку Степана, Федор Игнатьевич запер его в комнате, а все задание взял на себя и выполнил с обычной добросовестностью. Зачем бы стал он посылать Степана в горы, к партизанам? Гораздо проще вызвать Василия Карповича в Феодосию. За сведениями тоже никуда не надо ходить — есть свои люди, они принесут сведения в мастерскую. В Керчи есть свой человек, он позаботится о переправе. А что же осталось самому Степану от всего задания? Выходит — он просто почталов, даже хуже — какой-то неодушевленный предмет, вроде конверта. Вернешься в Севастополь и — нечего рассказать. Слово было не в немецком тылу, а где-нибудь в колхозе, куда тебя доставили на подводе и на подводе же отвезли обратно домой. Единственным утешением Степану была папирос, оставленная им у висельницы; об этой папиросе он Федору Игнатьевичу ничего не сказал, справедливо опасаясь, что старик не одобрит подобного мальчишества.

Проснувшись на другой день, Степан не увидел Василия Карповича: он уже ушел в горы какими-то ему одному известными тропами. Федор Игнатьевич вскипятил свой неизменный чайник, за столом передал Степану собранные сведения (без всяких записей, конечно, только папаять), рассказал, где искать под Керчью своего человека. Из дому вышли вместе, у дверей мастерской распрощались; Федор Игнатьевич отправился к своим примусам, а Степан — дальше, на керченские берега.

Но выйти Степану из Феодосии не пришлось. На углу переулка остановил

его немецкий патруль. Степан спокойно протянул начальнику патруля свой паспорт и воинский билет — и вдруг оцепенел, ощутив холодную пустоту в груди. К начальнику патруля, закончив проверку документов у какого-то прохожего, подходил Кротов, собственной персоной.

На мгновение Степан встретился с ним глазами, но только на одно мгновение. Кротов тихо что-то сказал. Степана схватили, скрутили руки назад, ударили прикладом и повели, уперев штыки в спину... Конечно!.. Да, Степан Полосухин, не таким уж легким и безопасным оказалось твое путешествие в немецкий тыл!..

Вели его мимо мастерской; в дверях, дымя цыгаркой, стоял Федор Игнатьевич и смотрел таким безразличным взглядом, словно все это дело несколько его не касалось и он, скромный мастер, не имеет никакого отношения ко всякого рода подозрительным личностям. Но по незримому проводу Степан услышал сердцем его приказание: «Теперь — молчи!» И сердцем же по этому проводу ответил: «Все в порядке. Буду молчать...»

19

Первый допрос... Степана били дубинками и прикладами. Он молчал. Офицер отправил его обратно в подвал.

На рассвете Степана вывели во двор, бросили в кузов грузовика, под ноги пьяным солдатам. Дорогой они пили еще; вылезая, топтали Степана подкованными сапогами.

В стороне от дороги, у полузанесенной снегом лощины, расплывчато обозначалось темное пятно. Степан услышал женские воли, детский залихватистый плач. Это пригнали на расстрел очередную партию из феодосийской тюрьмы. Степан подумал, что его расстреляют вместе со всеми. Но он был для немцев слишком драгоценной добычей, они не собирались так легко с ним расстаться. Немцы привезли Степана для устрашения, в надежде, что он, может быть, развяжет язык.

Под охраной двух солдат Степана поставили шагах в десяти от приговоренных. Светало заметно, на мутном небе проступала бледная полоска зари. От земли крепко и дымно пахло свежим снегом, морозом; прямо перед собой Степан видел древнего старика — босого, без шапки, с белой бородой. Старик медлительно крестился, устремив в светлеющее небо скорбный и строгий взгляд. Рядом стояла женщина с двумя детьми; маленького держала она на руках, а девочка лет восьми, плача, теребила ее за юбку: — Мама! нас сейчас убьют? Мама! — Ничего, ничего, — говорила мать странным ломким голосом. — Ну, что же теперь делать? — И вдруг она упала на колени, закричала, прикрывая девочку своим телом, толпа ответила напряженным звенящим стоном, — и сразу застрекотали немецкие автоматы. Степан ощутил во рту горячую сухость; сердце оборвалось, стало душно, потемнело в глазах. Он взглянул на солдат, охранявших его; один из них, высокий, тощий, был смертельно бледен и трясся, второй спокойно курил свою трубку...

Степана опять бросили в грузовик, повезли обратно в город. Он лежал под ногами солдат и думал, что если бы ему дали десять жизней, он бы десять раз пошел в немецкий тыл, десять раз согласился бы перенести все мучения и пытки, лишь бы — месть! Пусть немцы делают с ним все что угодно — только бы месть!

...Второй допрос. Конца его Степан не помнил — очнулся уже в подвале.

на промерзшем земляном полу. Он осторожно ощущал голову, руки, ноги. Все цело, кости не переломаны. «С расчетом бьют, подлецы!» — подумал он. Потом его мысли затуманились, он погрузился в темную глубину забытья. Смутные видения проносились перед ним, он слышал голос отца, треск автоматов, видел неясно, словно сквозь дым, лицо Веры, старика с белой бородой, женщину с грудным ребенком на руках.

...Третий допрос. Степан сам не мог подняться по лестнице: два солдата вели его под локти.

Допрашивал все тот же офицер, очень чисто говоривший по-русски и обходившийся на допросах без переводчика.

— Вы подумали? — осведомился офицер, и некое подобие улыбки тронуло его губы, шевельнув усы, но глаза оставались прозрачными и пустыми — две бледноголубые ледышки. — Итак, с каким заданием вы проникли в наш тыл? Кто помогал вам в Феодосии?

Степан молчал, глядя поверх головы офицера в стену. Спирный узор на обоях рябил и сливался в глазах.

Офицер откинулся в кресле.

— Мне надоело возиться с вами. Сегодня я даю вам последний шанс. Мы умеем быть жестокими, это вам уже известно, но пока — не полностью. Далеко не полностью, понимаете? Но мы умеем быть и снисходительными к тем, кто нам помогает. Ваш знакомый... этот... как его... Кротов совсем неплохо чувствует себя у нас на службе. Он оказался гораздо предусмотрительнее вас: во-время перешел из Севастополя к нам. Что вы на это скажете?..

За окном, за глухими шторами, выл зимний ветер, ледяная крупа паралала стекла. И ни Степан ни офицер не знали, конечно, что в этот поздний час в темном вспененном море идет с потушенными огнями эскадра — катера, тральщики, эсминцы, крейсера, что месьть, о которой только и думал Степан, — ближе, чем он мог предположить в своих самых смелых мечтаниях.

— Что вы на это скажете? — повторял офицер.

Ответа он не дождался. Поморщившись, он позвонил. Вошли солдаты, увели Степана. Дверь закрылась. Офицер остался один в кабинете.

Он был человеком утонченного воспитания и сам никогда не притрагивался к арестованным даже пальцем. «Обработка» производилась нижними чинами, в специально отведенной для этого комнате. Господин офицер не вникал в подробности «обработки», вполне полагаясь на опытность своих подручных.

Телефонный звонок. Офицер снял трубку. В мембране послышался знакомый голос:

— Алло, майор! Вы не забыли? Ровно в половине двенадцатого. Не опаздывайте, иначе вы рискуете встречать новый год без дамы.

Офицер положил трубку, взглянул на часы. Что они там возятся столько времени с этим мальчишкой? Он фанатичец, и сговориться с ним, повидимому, не удастся. Жаль... Ликвидация партизанской агентуры в городе была бы хорошим новогодним подарком командованию.

Ввели Степана, вернее, внесли. Глазами офицер указал солдатам на кресло. Степана усадили, влили в рот ему полстакана воды.

Офицер курил и молчал, терпеливо ожидая, когда Степан очнется. Вот он пошевелился...

— Я предупредил вас: мы умеем быть жестокими, — сказал офицер. — Вы еще раз убедились в этом, но опять не полностью. Впереди еще много — мож

ребята искусны в таких делах. Я советую вам не заходить слишком далеко, это рискованно. Будьте сговорчивее, и все обойдется... Итак, с каким заданием проникли вы в наш тыл? Кто помогал вам в Феодосии?

Молчание.

— Я жду,— сказал офицер.

Веки Степана, дрогнув, приподнялись, и блеснул из-за них такой неукротимый, раскаленный взгляд, что офицер не выдержал — отвел глаза.

— Я жду,— повторил он и положил на стол перед собой часы.— Я могу уделить вам еще десять минут.

— Я не скажу!

Это были за весь вечер первые слова Степана. В упор, прямо в лицо офицеру сверкал его взгляд. И офицер понял: бесполезно уговаривать. Он был опытный офицер и не в первый раз чувствовал на себе такой взгляд. Месяц назад так же смотрела на него семнадцатилетняя девушка-партизанка, так же смотрел старик-армянин, захваченный у железнодорожного полотна с прокислиновыми шашками в сумке. Ни девушка, ни старик ничего не сказали. Офицеру не хотелось признавать за этими людьми особую духовную силу, и он придумал для себя другое объяснение: вероятно, у людей низших рас понижена организация нервной системы, поэтому они боль переносят легче. Интересная мысль, можно написать хорошую статью. Жаль только, что печатать ее придется под псевдонимом — слишком уж... специфический материал...

— Не скажете...— Офицер усмехнулся.— Россия может радоваться, имея таких солдат. Только много ли их?

— На вас хватит — на всех!— ответил Степан, и огонь его глаз вспыхнул еще сильнее.

— Значит, вы добровольно подписываете себе смертный приговор? Так прикажете вас почитать? Во имя чего, интересно было бы мне услышать.

Офицеру хотелось поговорить, больше того — хотелось поспорить, схватиться с врагом в открытую, ощутить со всей полнотой свою внутреннюю правоту, выйти победителем из этого открытого столкновения. Это желание давно томил офицера, но оставалось неудовлетворенным. И, прожоя своих молчаливых пленников на смерть, он всякий раз испытывал странное и неприятное чувство — не жалости, нет! — а какой-то досады, тревоги и душевной сумятицы, похожей на страх... Кротова и подобных ему господин офицер, конечно, всерьез принимать не мог и сам относился к ним с презрением. Это — чистое мясо, о духе здесь не приходится и говорить. Но вот перед ним сидит в кресле человек другой породы. Он молчит. Он не желает вступать в разговор. Почему? Неужели он всерьез убежден, что ему известна вся истина до конца и другой истины в мире не существует?.. Восток, восток, восточный фанатизм!..

Неожиданно для себя самого офицер придвинул Степану коробку с папиросами.

— Курите.

Степан даже не взглянул. Он сказал уже все, что хотел сказать, и молчал. В эти минуты он вел разговор со своей совестью. Он спрашивал себя: все ли сделал так, как нужно, достойно ли вел себя и чиста ли была до конца его жизнь перед пародом и родиной? Совесть отвечала ему: да, сделал все так, как нужно, вел себя достойно, жизнь чиста до конца... И как будто отплыла от сердца тяжелая льдина, унося на себе все, что мучило Степана: жалость о недожитом, тоску о счастье, которое могло быть и которого не будет. Ему стало престошно и легко, он почувствовал всем существом вечность ми-

ра — ясных зорь, прохладных лесов, пенных волн; все останется и будет вовек пребывать таким же немеркнущим. Он поднял глаза и взглянул — не на офицера, а сквозь него, как будто в кресле по другую сторону стола никого не было. И вдруг улыбнулся — светлой, спокойной улыбкой. В ней не было ничего оскорбительного или вызывающего, но офицер весь побагровел: эта улыбка была для него хуже пощечины.

Он позвонил. Степана увели. Офицер прошелся по кабинету, заметил папирсы, которые так некстати и словно бы записывая предложил пленному. Скривившись, он резким движением бросил папирсы в корзину, достал из ящика и открыл новую пачку. «Нервы, нервы! — сердито сказал он самому себе. — Надо подтянуть нервы!» Но и сам отлично понимал, что дело вовсе не в его расстроившихся нервах: он был опять побежден — в который уж раз?.. А этот мальчишка ушел на смерть победителем.

Он вызвал адъютанта. Перетянутый, напомаженный, с пробором на плоском темени адъютант был ему сегодня невыразимо противен. С трудом сдерживая себя и заставляя голос звучать спокойно, офицер сказал:

— Этого молодца, что был сейчас у меня на допросе, — расстрелять.

— Слушаю, господин майор.

— Скажите, чтобы мне приготовили машину.

— Слушаю, господин майор. Приговор исполнить немедленно?

— Как хотите, но затягивать нет никакого смысла. Он безнадежен...

Разрыв на улице под окном. Второй разрыв, третий, четвертый... Звезда посыпалась стекла, и, раздувая шторы, в комнату со свистом ворвался ночной декабрьский ветер, распахнул с треском двери и пошел гулять ледяным сквозняком, закручивая бумаги на столе, разгоняя их по всем углам. Вместе с ветром ворвался грохот канонады, гул взрывов, рокот пулеметов, крики, вопли и тревожные прерывистые гудки машин.

Офицер подскочил к окну.

— В чем дело?! — заревел он, высунувшись до пояса в темноту.

Ночь ответила ему грохотом, криками, вспышками, топотом сотен ног, сумасшедшим рываньем сцепившихся на улице грузовиков. И вдруг из общего смутного гула выделился одинокий смятенный вопль:

— Русские матросы в городе!

Захлебываясь, судорожно задребезжал телефон. Адъютант сорвал трубку:

— Алло! Алло! Что?! В порту?!

Он позеленел, глаза его остановились.

— Господин майор, советские корабли высадили в порту десант! Матросы уже на улицах!..

Совсем рядом ударили автоматы. Майор кинулся к дверям, следом кинулся и адъютант. Через три минуты машина майора надрывно гудела уже в конце переулочка, пробиваясь сквозь беспорядочную толпу солдат. А сзади все грохотало и грохотало орудия, освещая ночное небо дрожащим заревом вспышек, и по ветру уже слышно было далекое «ура». Русские матросы, очищая перед собой путь гранатами, шли в штыки!..

Это надвигающееся «ура!» услышал и Степан в подвале. Прижавшись к железной двери, он плакал и бормотал, захлебываясь от слез: «Братишки! Родные!» Братишки отвечали ревом, гиканьем, свистом, грохотом пушек, дробью пулеметов, взрывами гранат...

Через час моряки, занявшие здание гестапо, освободили Степана.

Новогодний советский удар по Керчи и Феодосии был для немцев полной неожиданностью. Моряки испортили немцам весь праздник. Столы, приготовленные к встрече Нового года, так и остались во многих домах нетронутыми. К утру, когда немцы были уже далеко, за этими столами пировали наши бойцы.

Степан, перевязанный, перебинтованный, лежал на диване в том самом кабинете, где вчера майор-гестаповец допрашивал его. Моряки, занявшие здание гестапо, трогательно ухаживали за ним, притащили откуда-то бутылку вина, кусок жареного гуся. «Подкрепляйся, братишка!..» Он так ослаб в подвале, что vino сразу его свалило, и он уснул — в первый раз за три последних дня.

Разбудил его Федор Игнатьевич. В своей неизменной замазленной вешке блином и в железных очках старик казался помолодевшим лет на десять — может быть потому, что побрился ради торжественного дня. Он осторожно пожал руку Степану.

— Спасибо.

За письменным столом сидел неизвестный Степану батальонный комиссар и перебирал какие-то бумаги. Старик, обратившись к нему, добавил:

— Герой! Молчал... Я так и надеялся, что будет молчать, потому — не боялся. Ну, ладно, вставай, будем перебираться ко мне, а то здесь, в кабинете, неловко лазарет устраивать.

В своей комнате Федор Игнатьевич напоил его чаем, уложил на кровать, и Степан снова уснул. И приснился ему сон, будто подошел отец, склонился, гладит волосы и приговаривает:— Степушка, Степушка!— а Степан ответить не может — отяжелел язык. И долго так продолжалось: отец все гладит и все приговаривает, а Степан не может ответить. И приснилось еще ему (бывают такие двойные сны), что он проснулся, открыл глаза, а сон продолжается... Не сразу он сообразил, что действительно проснулся и это в самом деле отец стоит.

Они долго молчали, глядя в глаза друг другу; отец склонился ниже, поцеловал сына в губы; Степану капнула на щеку его горячая слеза.

...Радостно было Степану узнать, что он в своих предположениях не ошибся: отец не остался в Керчи, ушел партизанить. В последнее время отряд действовал в районе Старого Крыма; узнав о советском десанте, партизаны проблись в Феодосию.

— Держишься, значит?— спросил отец.

— Держусь,— ответил Степан.

— Так, так... Правильно!.. Порода наша — полосухинская, черноморская, коренная. Нас — ни сломить, ни согнуть; ничего с нами нельзя сделать!

— Не знает он русского человека, вот и лезет,— наставительно сказал Федор Игнатьевич, выставляя на стол чашки со шербатыми краями и отбитыми ручками.— Знал бы, так не полез. Русский человек живучий; его хоть в землю закапывай, все равно вылезет.

— Верно!— сказал отец.— Который уж раз пробуют закапывать — все вылезает. Только он сам, Гитлер, как бы нище не закопался. Вот он-то вылезет ли?

— Он?— отозвался Федор Игнатьевич и с уверенностью заключил:— Ему не вылезти... Нет. Так в земле и останется.

Потом пили вино, закусывая конченой кефалью. Степану подносили в постель. Отец, захмелев, восхищенно кричал:

— Наша порода! Мой характер! Душой не кривит, правды не боится, врать не умеет. Хороший корень после меня останется, Федор Игнатьевич!

— Было и у меня два таких,— взгрустнул Федор Игнатьевич.— Да вот не уцелели в девятнадцатом году...

А Степану казалось, что время потекло вдруг назад и вернулось детство, вынырнул из тумана давно ушедшие годы: вот так же отец, захмелев от вина, похвалился своей породой, и так же грустил керченский рыбак Родион Акимович о своих погибших в гражданскую войну сыновьях... Все так же, только он сам, Степан, совсем иной, чем тогда...

В гестаповском подвале, в кабинете немецкого майора, завершился его переход из юности в мужественную зрелость, словно окреп, затвердел в нем какой-то стержень — и уже навсегда. Путаница жизни, смешение в ней противоречивых начал и течений — все это теперь не смущало его, ибо он твердо знал ту четкую и ясную формулу, которая открывала ему истинное содержание всех человеческих слов и дел. Формула эта определялась простыми словами: «Наша победа!» Он, спасшийся чудом от смерти, знал теперь, что и смерть легко принять ради победы, что смерть — это еще не самое страшное: страшнее — гибель общего дела, поражение, после которого наступила бы для всех вечная, беспросветная ночь.

...Через несколько дней, немного окрепнув, Степан отправился на кавказский берег, чтобы продолжить отсюда свой путь в Севастополь. Перед отъездом пришлось ему увидеть Кротова — один единственный раз, на допросе. Будучи уверенным в том, что Степан расстрелян, Кротов упорно отрицал свое предательство. Тогда следователь, которому опротивела эта бессмысленная и трусливая ложь, решил устроить очную ставку. Это происходило так:

— Значит, вы утверждаете, что к аресту Полосухина не имеете никакого отношения? — спросил следователь.

— Утверждаю, категорически, — ответил Кротов. — Полосухина арестовал сам начальник патруля, а я даже и близко не подходил. Видимо, Полосухин оказался подозрительным; возможно, какие-нибудь неурядки в документах были...

Помолчав, он добавил покаянным голосом:

— Конечно, я поступил мерзко и преступно, когда, испугавшись угроз, согласился выполнять для немцев чисто техническую переводческую работу. Но предателем... (здесь голос Кротова окреп и даже появились в нем нотки пафоса)... предателем я не был никогда, и с этой стороны моя совесть чиста.

— Чиста, значит? — переспросил следователь.

— Чиста! Видите, я смотрю вам прямо в глаза и повторяю: чиста!

— А как проверить? — сказал следователь.

— Если бы можно было воскресить Полосухина... — подхватил Кротов.

— Попробуем, — перебил следователь и приоткрыл дверь в соседнюю комнату. — Полосухин, войдите!

Степан вошел. Лицо Кротова от ужаса превратилось в какой-то дрожащий студень, глаза погасли, задернувшись оловянной мутью...

...Странным покажется, но, покинув кабинет следователя, Степан, увлеченный множеством дел, дорожной суматохой, сразу начисто забыл о Кротове, словно человек этот никогда и не встречался ему на жизненном пути...

Степан всю дорогу смущенно и радостно думал о Вере. Бурные события по-

следних десяти дней ничего не изменили в его любви — она существовала и росла в душе Степана по своим отдельным, особым законам, вопреки войне, опасностям и смертям. Теперь Степан мог бы рассказать Вере, что помнил ее и в подвале, и в кабинете майора, и в снежном поле за Феодосией, когда уверен был, что это последний рассвет в его жизни...

Из Новороссийска он вышел на тральщике. Сильно штормило, шли через ледяную мглу с мокрым снегом, море гудело, ревели, посылая в атаку на тральщик мутные горбатые валы. Степан думал о Вере. Он видел ее под ясным Севастопольским небом. Почему-то казалось ему, что в Севастополе — обязательно ясное небо, зимнее солнце, иней, сверкающий на деревьях. Но Севастополь встретил его ненастным, порывистым ветром, свинцовой мутой над бухтами, обледенелыми пристанями, гулом канонады и сигналами воздушных тревог. Город сражался и был еще напряженнее, суровее, чем в тот день, когда Степан покинул его. Охраняя город, рожотали за низкими тучами истребители, на Северной и Корабельной били наши батареи, взблескивая сквозь мгlistый туман острыми жалами пламени. Немцы отвечали, снаряды звеняще лопались на улицах и во дворах, вышибая последние стекла. Бой под Севастополем продолжались. Степан чувствовал, что после тихого кавказского берега опять натягивается в нем тугая струна, и понял, что не сможет говорить с Верой так, как думалось ему на борту тральщика. Не то время, и место не то...

В убежище, где, поблескивая спицами, десятки женщины вязали теплые носки для фронта, учительница Екатерина Семеновна сказала Степану, что Веры нет.

— Как нет? — спросил он, и вдруг страшная догадка наполнила холодом его грудь, а уши — странным тяжелым гулом.

Екатерина Семеновна поправила дрожащей рукой пенсне, вытащила из кармана вязаной кофты платок.

— Она погибла в бою... На прошлой неделе.

— Погибла? — переспросил Степан, чувствуя, как его сердце превращается в мертвый холодный комок. — На прошлой неделе?..

— Да, — Екатерина Семеновна слегка коснулась пальцами его руки. — Му-жайтесь... Время такое — жестокое...

— Да, жестокое, — повторил Степан безжизненным, тусклым голосом. — Очень жестокое...

— Мы похоронили ее в городе.

— Да, да, в городе, — повторил он, ничего не соображая.

Лицо Екатерины Семеновны сморщилось, задрожал смешной лучок на затылке, она всхлинула. Степан посмотрел на нее бессмысленным, сумасшедшим взглядом, повернулся и вышел.

В городе была воздушная тревога, били зенитки, рвались бомбы, на Северной стороне начались пожары. Патруль загнал Степана в убежище; там, в душной полутьме, Степан ощутил мир пустыни, где он — один со своей тоской. Оглушенный и смятый, он не заметил, когда окончилась тревога, и просидел в убежище лишних полчаса. «Моряк, а выйти боится, — сказали мальчишки, случайно заскочившие сюда. — Кончилась тревога, выходи!» Он вышел, на улице остановился и вслух спросил самого себя: «Что же теперь будет?» Кто мог ответить ему на этот вопрос?

Он тосковал и горевал смертельно. Весь день провел он в странном оцепенении, в каком-то безвыходном и тягостном полусне. «Что же теперь делать?

Что делать?» — без конца повторял он, чувствуя, что боль нестерпима, что нельзя нигде найти от нее исцеления.

Так продолжалось и на следующий день и еще на следующий. Степан побывал у полкового комиссара, доложил ему о выполнении задания, потом оформил свое новое назначение. Но все эти дела проходили как-то вне его внутренней жизни, ничуть не приглушая боли и тоски, которую он носил в себе.

Но все чаще приходила мысль: «Ведь я не один!» Народ совершал на бранном поле свой великий подвиг, сражался и побеждал, и Степан сражался вместе со всем народом. Теперь вот и горевать ему придется тоже вместе со всеми: полная слез, текла огромная река народного русского горя, и боль Степана была только каплей в ней... Ну, что же?... Такая, значит, судьба — бороться вместе со всеми, горевать вместе со всеми — для того, чтобы вместе со всеми разделить торжество и радость победы!..

Степан сказал себе: «Надо терпеть, терпеть и драться до конца — тогда будет победа. Сердце надо зажать в кулак... Ничего... Я сумею!..»

Боль свою он загнал в глубину. Еще туже натянулась в нем внутренняя струна, а в глазах появился жестковатый серый холодок...

Перед отъездом в часть он посетил могилу Веры. Небо прояснилось, и заря горела ярко, окрашивая прозрачным светом тонкий пушистый снег на могиле. Степан осмотрелся; никого вокруг не было. Тогда он стал на колени и поцеловал заснеженную землю. Навсегда запомнился ему холодок этого первого и единственного поцелуя. — Прощай, Вера! — сказал он. Глаза его были сухи — да, он сумел зажать в кулак свое сердце...

Над линией фронта, над немецкими позициями сгущалась мгла. Степан посмотрел в ту сторону грозно и непримиримо. Здесь похоронена была его любовь — можно ли это простить?..

...Так вместе со всем народом шел он, вчерашний юноша, через огонь и смерч войны, через страдания, испытания и неопененные утраты, к тому большому и высокому мужеству, без которого нет великих дел и великих побед!

.....

Севастополь, город неповторимой судьбы!

Опять немецкое наступление... Грохот взрывов, багровое пламя, черные султаны земли и дыма!.. Немцы прут, как обезумевшие, рота ложится за ротой, скошенные огнем. Новые полки бросаются в атаку — и откатываются...

Родина! Во имя твоё пять моряков, обвязавшись гранатами, ложатся под немецкие танки. Взрывы, взрывы, грохот, пламя и дым!.. Родина! Во имя твоё старшина Степан Полосухин поднимает навстречу немцам в контратаку свой взвод.

Е. ШЕВЕЛЕВА
ПЯДЬ ЗЕМЛИ

Вот карта.

Вот до этих мест,
Где жить бы нам и петь,
Дополз немецкий черный крест,
Дошла, добралась смерть.
Здесь наше все: небес юстер,
Ветров крутой разбег,
Донских степей родной простор,
Течение древних рек.
Болят река, и степь болят,
И жжет росу свинец.
И вижу я клочок земли,
Где ты стоишь, боец,
Пядь золотую, чернозем,
Таящий трудный пот.
Колосья крепкие на нем
Вставали каждый год.
Клочок земли, что дорога,
Как слава прошлых лет,
Святой земли, что от врага
Берег отец и дед.

Там вспыхнет маха яркий круг,
Где ты не отступил.
И твой рубеж отыщется в нук
В обветренной степи.
Но там, где ты врагу отдал
Твоей отчизны пядь,—
Мелькнет, как горькая беда,
Травы седая прядь.
Там смолкнут птичьих голоса,
Цветов погаснет взор,
Не смоет ясная роса
С природы твой позор.
Нет!

Если в стонущей пыли
Придется умирать,
Обнимем мы клочок земли,
Как обнимает мать.
Ведь этот шаг, ведь эта пядь —
Кусок страны, друзья,
Отчизны часть. И отступать
Нам, стало быть, нельзя.

ИВАН НЕХОДА
ВСЕ РАВНО ПОБЕДИМ!

Мы цепью лежали на взгорьях,
Готовы погибнуть в бою.
И каждый в небесном узоре
Звезду замечетили свою.

Над нами в просторе закатном
Шли зори и гасли в пути..
Все было так просто, понятно:
— И ты, пока светишь, свети!

Катились звезды над нами..
Быть может, и я упаду.
Но знаю — своими сердцами
Зажжем мы новую звезду!

Мы знаем — ей вечно быть юной!..
Когда ж отгрохочут бои,

Знмою, а может, в июне,
Так скажут потомки мои:

«Когда-то в боях легендарных
Свет этой звезды родился».
И будут смотреть благодарно
На звездные наши сердца.

Так думали мы. Звезды скрылись!
Был бой. День блеснул и погас!
Мы все до последнего бились.
Немало погибло из нас.

А то, что остались живыми,
Сомкнулись рядами стальными..
И думали мы: «Слава им!
Пусть смерть — все равно победим!

Перевел с украинского СЕМЕН ОЛЕНДЕР

И. ФЕФЕР

КЛЯТВА БОЙЦА

Клянусь нестареющим солнцем, клянусь изумленной звездой,
Клянусь всем, чем можно поклясться пред вечностью нашей седою,
Клянусь, как в присяге, оружием, стремящимся в праведный бой,
Клянусь изувеченным садом, разбитой сожженной избой,

Клянусь тополиной семьей, смотрящей в днепровские воды,
Клянусь своей кровью, глазами, давно позабытыми отдых:
Мой гнев, моя месть не остынет, пока этот бой не утих,
Пока не увижу кончины врага на просторах моих!

И если тевтонская пуля пронзит мою правую руку —
Я левой сожму парабеллум, забуду в сражении мутку;
А если и левую руку пронзят — я не стану слабей,
Я буду ногами топтать их, проклятых фашистских червей.

Покуда живет мое слово, покуда глядят мои очи,
Я буду сражаться отважно и в дни, и в тревожные ночи,
Вниением сердца, как пулей, я буду врагов поражать,
И взором бойца, как пожаром, я буду их всюду сжигать.

Недаром клянусь пред отчизной, пред миром клянусь я недаром,
И перед народом древнейшим, и перед отцом своим старым.
И если я клятву нарушу, — пусть, грозен и неумолим,
Народ, как штыком беспощадным, пронзит меня гневом своим.

И пусть от меня отвернутся и дети, и сестры, и братья,
На страшных кострах, негасимых веками, да буду сгорать я.
Пусть прах мой земля не приемлет, и пусть человекье жилье,
Детей устрашая, припомнит презренное имя мое.

Нет, нет, но нарушу я клятвы! О, строгое время похода,
Готов до последнего вздоха сражаться с врагами народа.
Клянусь всем, чем можно поклясться, я буду отважным в бою
За гордую и огневую, большую отчизну мою.

Южный фронт

Перевел с еврейского ЯКОВ ГОРОДСКОЙ

М. ПЛАТОШКИН
ДЯДЯ МИША

I

Вдоль длинного поезда быстро шел человек. На нем был старый брезентовый плащ, на боку висела обтертая кожаная кондукторская сумка. Плащ, падавший на вагный пиджак, делал плотной и коренастой его невысокую худощавую фигуру. Лицо его с острыми, мелкими, почти детскими чертами обрамляла седенькая и тоже острая бородка. Маленькие умные глаза глядели задорно и молодо.

Поезд был смешанный. Крытые вагоны перемежались кое-где платформами, на которых стояло что-то, закутанное брезентом. На одной из них черпал большой трактор-тягач, около борта теснилось человек двадцать матросов. Морьяки редко проезжали по этой дороге, и человек в плаще с нескрываемым любопытством осматривал их бравые, подобранные фигуры. Но главное, что он разглядывал с особенным любопытством, заключалось в другом: весь поезд был тщательно замаскирован не только еловыми ветками, — ветки украшали чуть не каждый состав, — а маскировочными сетями и полотнищами, свисавшими с вагонов на обе стороны. Такой маскировки кондуктор еще не встречал. Дойдя до середины поезда, он влез на крышу четырехосного вагона и встал на ней во весь рост. Худощавое лицо осветилось лукавой усмешкой: искусная маскировка совершенно преобразила вид поезда. Вместо привычных крыш и пролетов отсюда, сверху, виднелись зеленые лужайки, песчаные плешины. Довольный осмотром, он сошел вниз и направился к паровозу.

С платформы, где стояли матросы, соскочил пожилой моряк в черной шинели, со знаками различия на рукавах и зашагал вслед за человеком с кожаной сумкой. Догнав его, спросил:

— Послушайте, товарищ главный, вы знакомы с грузом?

— Примерно, товарищ начальник эшелона.

— Состав очень важный... специального назначения. У нас есть такие вагоны, которые весь поезд могут погубить, если в них угодит бомба. Так что, товарищ, посмотривайте в оба. На дороге спокойно?

— Каков спокойно! Последнюю неделю вздохнуть не дает. — Главный оживленно высморкался, вынул носовой платок и поеронил им свои пушистые, чуть пожелтевшие от табака усы. — Горячо стало, товарищ начальник. Да уж как-нибудь проведем такой-то состав, — добавил он, и светлые глаза снова зажглись задорной, лукавой улыбкой. — Как-нибудь проскочим.

Они подошли к паровозу. В окно высунулся молодой механик в засаленной фуражке, повернутой назад козырьком. Увидев главного, он весело закрыл:

— Дядя Миша, здравствуй! Ты сопровождаешь? Значит, опять на пару?

И, обрадованный тем, что едет с таким знакомым, гостеприимно пригласил:

— Влезай, дядя Миша, покурим!

Начальник эшелона угостил папиросами, и пока курили, он все приглядывался к машинисту, будто изучая, что он за человек. Когда спустились вниз, озабоченно спросил главного:

— Как механик? Кажется, расторопный?

— Как сказать!..— дядя Миша замылся, побарабанил по своей сумке.— Для спецсостава можно было бы получше подобрать машиниста. Знаете, есть какие? Они поездом-то, как гармошкой играют. Ну, а этот... парнишка, конечно, храбрый. В общем ничего, товарищ начальник, с такой маскировкой проскочим.

Главный еще раз обошел поезд, проведая своего помощника Белова на задней площадке и, как всегда перед отправкой с опасным эшелоном, уговорившись с ним о сигналах и наблюдении за воздухом, отправился к дежурному.

Через пять минут поезд специального назначения отбыл со станции. Главный кондуктор устроился на тормозной площадке в голове состава. Впереди шла платформа с накрытым брезентом самолетом, на ней собралось большинство моряков, сопровождавших эшелон. Их было здесь человек тридцать, молодых, обветренных, в коротких черных куртках. Ближе всех к кондуктору расположилась на брезенте шумная и, видимо, дружная компания. В середине ее, привстав на колени, высокий черноволосый парень, подмигивая и жестикуюлируя, рассказывал какую-то забавную историю, прерываемую такими веселыми взрывами хохота, что дядя Миша — так звали главного кондуктора — и сам невольно улыбался, хотя ни одного слова не слышал из того, что рассказывал черноволосый. Он стоял на площадке, облокотившись о перекладину, и поглядывал по сторонам. Низкая платформа впереди давала возможность хорошо наблюдать за воздухом, — виден был весь небосклон, и справа, и слева, и над паровозом, пускавшим вверх сизые клубы дыма.

Поезд шел по широкой лесной просеке. Осенние заморозки уже сбили листья с деревьев, лес стоял редкий, насквозь просвечиваемый обильными солнечными лучами. Около полотна часто попадались воронки, то мелкие — от осколочных бомб, то глубокие, иногда заполненные водой, — от фугасок. С каждым рейсом дядя Миша находил по сторонам пути все новые и новые воронки. Многие из них были ему памяты и служили своеобразными вехами.

К полудню благополучно доехали до станции П., и тут начались невзгоды. Путь впереди был разбит, приходилось ожидать часа полтора. Дядя Миша потемпел, услышав об этом. До смерти не любил он эти затяжные стоянки с боевыми, лакомыми для фашистов, поездами. Станция была маленькая, перегруженная, но он отвоевал у дежурного свободный путь и для безопасности рассредоточил на нем свой состав, разорвав его на четыре части. Все время, пока был закрыт семафор, он ходил около вагонов, тревожно вглядываясь в ясное, подозрительно спокойное небо. Лишь после того как дежурный вывес жезл, и залязгали буфера вагонов, вытягивавшихся в одну линию, он вскопал на площадке и вздохнул с облегчением.

Но не облегчение принесла дорога, а новую, уже ощутительную опасность. Дядя Миша ехав успел закурить на радостях, как увидел неприятельский самолет. Он летел навстречу поезду, на высоте 500—600 метров, чуть в стороне от полотна. По очертаниям главный узнал в нем разведчика. «Заметит, подлец, или нет? Выручит ли маскировка?» Поезд, как на грех, шел по прямой,

открытой насыпи, и если не вагоны, то черный-то паровоз должен был резко выделяться на желтой насыпи. К счастью, из трубы паровоза вырвался теперь легкий, почти прозрачные клубы дыма,— машинист, видимо, обнаружил врага. Дядя Миша выпрямился, лицо его посуровело, сузившиеся глаза неотрывно следили за фашистским коршуном. Казалось, летчик не замечал поезда. Не меняя курса, он прошел над составом, вот уже удалился километра на два, стал затихать рокот мотора, и вдруг..

Кондуктор крепко обхватил ручку стоп-крана. Разведчик неожиданно развернулся, зашел на другую сторону полотна и, сгнжаясь, быстро стал нагонять состав. Он шел по прямой сбоку и мог только обстрелять поезд из пулемета. Останавливаться поэтому не было смысла. Но фашист и обстреливать не стал. Он проскочил мимо поезда на высоте двухсот метров, заглушив воем мотора грохот колес, обогнал его, развернулся еще раз и, еще больше снизившись, опять помчался навстречу. Он как будто изучал эшелон, искусная маскировка, очевидно, путала его. С платформы моряки следили за ним десятками настороженных глаз и, когда разведчик, сделав над поездом полный круг, круто повернул на запад, они радостно загомонили, а черноволосый рассказчик весело подмигнул главному:

— Не по зубам... Улететьывает...

Однако дядя Миша не разделял их радости. Самолет изменил первоначальный курс, полетел на запад, и старому кондуктору ясно было, зачем он туда отправился после настойчивой разведки. Дядя Миша с досадой выплюнул изжеванный потухший окурок и посмотрел на молодых моряков. Они попрежнему расположились мирными группами, а в ближнем кружке черноволосый балагур опять стал забавлять товарищей. «Зачем они на одну платформу сбились? Рассыпались бы по всем вагонам,— озабоченно подумал главный.— Может, остановить поезд? А может, дотянем до станции. Там скажу начальнику».

Но удается ли дотянуть? Дядя Миша нервно ходил по тесной площадке, тщательно осматривая всю западную часть горизонта. В другие стороны он даже не смотрел, именно отсюда ожидая появления врага. И враг появился. Два самолета отделились от темневшего вдали леса и под острым углом пошли к линии. Дядя Миша помахал флажком Белову, чтобы тот был наготове, и снова напряженно замер у стоп-крана, как капитан у штурвала в минуту грозной опасности. На этот раз летели бомбардировщики,— широкий размах крыльев и прерывистый рев перегруженных моторов хорошо были знакомы старому кондуктору. Пока еще неясно было, когда и в каком месте пересекут они железнодорожное полотно и попадет ли поезд в момент пересечения под удар. Замаскированные вагоны, сливавшиеся сейчас с местностью, мешали летчикам взять точный ориентир. Но вот бомбардировщики чуть изменили курс, направление их полета стало по отношению к линии еще острее, и дядя Миша понял,— наметилась на паровоз, как наиболее четкую цель. Сильнее заколотилось сердце, но рука спокойно лежала на рычаге стоп-крана. Главный пристально следил за черными бомбардировщиками, мысленно определяя высоту их полета. По его расчетам выходило, что если остановить поезд в тот момент, когда бомбы оторвутся от плоскостей самолетов, то они не попадут ни в первые вагоны, ни в самый паровоз. Только бы не снижировали фашистские хищники, только бы не подвел машинист.

Дядя Миша не раз попадал под бомбардировку. И теперь, как только от крайнего самолета отделился первый черный комочек, он повернул рукоятку стоп-крана и в тот же момент взмахнул красным флажком, зная, что на зад-

ней площадке кондуктор Белов следит за его сигналами. От бомбардировщиков отделились шесть черных комочков, но свиста бомб не было слышно. Под поездом заскрежетали десятки чугунных колесок, прижатых к стальным ободам колес. Состав дрогнул, лягнул буферами и остановился. И только тогда стал слышен воющий свист бомб. Дядя Миша лег влодь площадки. Тяжко разрывы бомб где-то впереди поезда следовали один за другим. После шестого разрыва он поднялся и побежал к паровозу. С платформы и из вагонов соскакивали матросы. Одни падали тут же, около линии, в кустарник. Черноволосый рассказчик побежал следом за главным.

Зоркие глаза не подвели старого кондуктора. Все бомбы упали около полотна, метров на пятнадцать впереди паровоза. Около воронок крутился чумазый дочегар, а молоденький машинист, наморщившись, осматривал паровоз.

— Ловко мы их, дядя Миша, обьегорилиц,— похвастался он, заметив рядом с собой главного.— Можно отправляться дальше, все в порядке.

— Молодец!— похвалил дядя Миша.— Поглядывай лучше. Могут вернуться.

Проверив путь, он поднес ко рту вставший на нее свисток и подал сигнал к посадке. Моряки повернули к вагонам. Главный отыскал начальника эшелона, предупредил его, чтоб он распределил людей по всему составу и засвистал отправление. Сейчас нельзя было терять ни минуты. Дядя Миша был твердо уверен, что фашисты вернутся, что они еще не сбросили всей своей бомбовой нагрузки.

И действительно, паровоз еще не успел набрать полную скорость, как снова показались самолеты. Опытный машинист и на этот раз вытащил бы состав из-под бомбардировщиков, нацелившихся теперь в хвост поезда, но молодой Костя, испугавшись возможного крушения, затормозил. Дядя Миша видел, как отделились от самолета бомбы, но теперь на заторможенном составе он был бессилен что-либо сделать.

Снова земля заколебалась от тяжелых разрывов, и снова, переждав взрывную волну, главный побежал к хвосту поезда. Он понимал, что на втором заходе фашисты не промахнулись. Только куда попали? В какие вагоны? Может, еще можно предотвратить катастрофу? Старый кондуктор бежал, задыхаясь, путаясь в своем плаще. Впереди завихрились языки пламени, черный дым густо вымахнул из-за вагонов.

— Товарищи! На пожар!— закричал он матросам, еще не видя, как и что горит, но понимая, как опасен огонь для их поезда.

Одна фашистская бомба ударила в платформу, на которой стоял трактор-тягач. Трактор был заправлен, из развороченного бака горючее разлилось по платформе, и она пылала теперь, как огромный костер. Когда к платформе приближался главный, занялись лобовые стенки смежных вагонов.

Дядя Миша хотел отцепить платформу. Но передний ее скат был вышиблен взрывом, она повисла на стяжках, и снять их не было никакой возможности. Он оглянулся: от головы поезда к нему бежали матросы. Бежали с лопатами, с ломиками, а знакомый высокий балагур-рассказчик мчался с красным огнетушителем, взвалив его на плечо, как миномет. И дядя Миша повеселел: «С таким народом не пропадешь». Он отдал команду в первую очередь тушить лобовые стенки. Но это не спасало положения. Нужно было любыми средствами отделить пылающую платформу. Моряки, стоявшие без лопат, смотрели на него, ожидая приказаний. И эти молчаливые, требующие работы взгляды подстегивали старого кондуктора.

— Ну-ка, товарищи, заходи по обе стороны платформы. Проворней, провор-

ней, не бойсь! — подбодрил он, скидывая толпу заблестевшими глазами. — Подыдем ее на руках.

Моряки с обеих сторон облепили пылающую наклоненную платформу. Дядя Миша, загораживаясь локтем от огня, подошел к буферам.

— Берись крепче! Только не обжигаться, ребята. Спокойно. Слушай мою команду. Взя-али! Еще выше! Так. Держи, держи на весу.

Перекошенная платформа выпрямилась. Дядя Миша скинул одну стяжку и, покрикивая: «Держи! Держи!», забежал на другой конец. Лязгнула вторая стяжка. Освобожденную платформу опустили на рельсы. Наклон у ней стал еще больше, и трактор поехал было вниз, но кто-то во-время успел подложить полено.

Дядя Миша отрядил черноволосого к машинисту, чтобы тот отвел состав метров на десять вперед. Он хотел оттащить состав от задних вагонов, но, оглядев толпившихся около него молодых моряков, готовых выполнить любую работу, невольно улыбнулся и сказал:

— А ну, товарищи, сумеем мы с вами скинуть под откос платформу? Хватит силенки?

— Осилим! Хватит! — возбужденно ответили ему.

— И я думаю — хватит. Подходи дружнее!

Через несколько минут пылающая платформа вместе с изуродованным трактором легла под откос. А еще через две минуты дядя Миша сцепил состав и дал сигнал отправляться. Моряки бросились к вагонам.

II

Увидев разбитую, горящую платформу, начальник эшелона подумал, что они основательно застряли на перегоне. И теперь, влезая на заднюю тормозную площадку, он с радостью и недоумением смотрел, как поезд набирает все большую и большую скорость. Вот и разгоревшаяся ярко платформа осталась далеко за поворотом. Он покачал головой, дивясь тому, что удалось сделать. Лапоть у него волдырилась от ожогов, шинель была опалена, в земле, но, взвонивший, он не замечал ни боли, ни тлевшей одежды.

— Дешево отделался. — проговорил он, с улыбкой обращаясь к Белову. — Очень дешево. Если бы не главный...

— Старик надежный, — ласково перебил Белов.

— Герой! Как он все ловко организовал! Не-ет, просто герой.

— Старик бесстрашный, — так же ласково повторил Белов, осторожно беря обожженными пальцами тонкую папироску. — В каких только переделках мы с ним ни бывали, и везде он первый. Однажды повели восстановительный состав. Паровоз там в воронку завалился, поднять нужно было. Подошли, смотрим, — что за чорт... бомба лежит. Носом под шпалу зарылась, лежит, как бороз черный, откормленный. Восстановители, конечно, напугались. Отказываются работать — и шабан. Что делать? Движение стоит, фронтные поезда: пускать надо. Вызвали саперов, а когда они придут? Да-а. Ну, дядя Миша сам к бомбе подходит. Не его, конечно, дело. Его дело привести поезд в исправности к месту работ. Ну, а он разве утерпит, — ведь стоит движение. Да-а. Подходит к ней, прилег рядом, послушал, помудровал что-то. «Кто, — спрашивает, — охотники на подмосту? Обкрутим ее веревкой и втроем-вчетвером отволодем в сторону». Ну, а кто пойдет? Чорт ее знает, когда она, дьявол, взорвется. Что делать? Ну, а он изворотливый старик. Обложил бомбу хворостом, керосинчиком облил и поджог.

Белов прикурнул папиросу, затаился жадно, зажмурился от наслаждения и с неохотой выпустил ароматный дымок.

— Взорвалась? — спросил начальник эшелона.

— Сорок минут поджаривал. Ну и ахнула!

— Все-таки ахнула?

— А то как же! Уж если он возьмется за что, — конец... Добьет. Настоящий старик. Жалко, здоровьем подбил. Со стороны посмотришь — бегаёт, командует, жлится... Куда твой молодой! А у него болезней больше, чем годов. Язвой особенно страдает.

— А на пенсию не пора?

— Ну-у... Что вы! Посадишь его на пенсию! Война смертельная идет, людей нехватает, а он на пенсию. Попробуй-ка, предложи. Да он бюллетени-то, — врач даст, — всегда в кармане таскает, не показывает никому. Один раз поехали с ним, у него тридцать девять температура. Я говорю...

Поезд резко остановился. Послышался глухой взрыв и нарастающий рев моторов, потом второй взрыв, ближе. Начальник эшелона совсем рядом увидел самолет, сзади ухнул третий взрыв, затрещала вагонная обшивка, посыпалась земля, и на них хлынула волна душливого, пахнущего газом воздуха.

— Чорт тебя дер, пристал!.. — выругался начальник, вставая и отряхивая землю.

Последняя бомба упала сбоку от полотна и разворотилась осколками борт тормозной площадки. Начальник молча указал Белову на расщепленные доски, где минуту назад стоял кондуктор, и побежал к паровозу. Поезд как будто не пострадал, нигде ничего не дымилось и не горело. Но человек двадцать почему-то столпились кучей в середине состава. Начальник еще не добежал до них, как послышались тревожные голоса: «Воздух! Разворачивается!» — и сейчас же из толпы раздался сердитый оклик дяди Миши:

— А ну, разбегайся, товарищи! Что вы без толку лоб подставляете! Не нужна мне сейчас ваша помощь. Давай, давай! А то всех из пулемета перещелкает.

Моряки побежали к лесу, и начальник только теперь увидел главного. Он стоял с запасным резиновым рукавом, поглядывая на приближающийся самолет и на буфер, где что-то исправлял поездной вагонный мастер.

— Вы бы, товарищ, тоже за укрытие шли, — встретил он начальника эшелона. — Кажется, из пулемета хочет обстрелять. Сопливый какой-нибудь. Тре-мя бомбами вот один рукав в воздушной магистрали перервал... Спокойно, Петров, спокойно, — обратился он к поезвному мастеру, прекратившему было работу. — Идет сбоку, слева. Скажи, когда кончать. Как там в хвосте у вас? Также в порядке? Ну вот... Говорю, сопливый... Давай, Петров, кончай.

Дядя Миша пролез под вагоном на правую сторону поезда и вместе с мастером и начальником залег в придорожной мелкой канавке. В то же мгновение застрекотал пулемет, почти неслышный за ревом моторов. Он начал обстрел с хвоста поезда и, не обрываясь, прошел все вагоны вплоть до паровоза.

Дядя Миша поднялся, посмотрел из-под ладони вперед и позвал мастера:

— Пойдем, Петров. Может, закончим, пока он вернется.

— Вы думаете — вернется? — спросил начальник.

— Пока все патроны не изведет, не отстанет, собака.

И самолет действительно вернулся. Он еще два раза обстрелял состав, ведя огонь сразу в обе стороны, по вагонам и по лесу, где скрылись моряки. Никаких потерь этот обстрел не принес. Поезд снова тронулся.

Но враг крепко приметил специальный состав и, видимо, решил во что бы то ни стало его остановить. Еще не дошел состав до станции Т., показавшейся за лесом, как вверху снова появились два черных бомбардировщика. Они заходили четыре раза, сбросили десять бомб, выпустили ряд пулеметных лент, вывели из строя еще одну платформу и ранили трех матросов. И все это время дядя Миша метался взад и вперед вдоль поезда, то сзывая на подмогу людей, то отсылая их в лес, чтобы они не попали напрасно под огонь. Самого его будто не касались ни бомбы, ни пулеметные очереди. Он ни на шаг не отходил от поезда и, переждав в капаве или за паровозом, когда промчатся над ним самолеты, снова вскакивал и бежал, хлопотал, командовал. Начальник эшелона советовал ему побереечь себя, выйти из-под огня, но старый кондуктор и слушать не хотел. Тогда начальник просто приказал ему отойти от линии. Дядя Миша рассердился.

— Ну что вы, товарищ! Куда я пойду? Я должен поезд спасать. Иногда секунда дорога. Бомбы мне не страшны. Из-под бомбы я всегда выйду.

Но, несмотря на спокойствие, начальник заметил, что дядя Миша затанцевал большую тревогу. Главный уже не шутил, не ехидничал над промахами гитлеровских летчиков. Хмурые морщины не сходили с его маленького, озабоченного лица и даже после того, как тронулся поезд.

— Устал, дядя Миша? — спросил, подсаживаясь к нему, начальник.

— Не устал, а дело очень скверно, — невесело отозвался дядя Миша. — Охотятся за нами. Выследили. Шутка сказать — третий налет на одном перегоне!

— Постой, постой... Так ты что же?.. Ты думаешь, что все три были специально за нашим поездом?

— Вот в том и беда-то, что специально. Не отстанут они теперь. Аэродром у них, видно, под рукой.

— Ну, дядя Миша, ты уж хватил. Не может этого быть.

Дядя Миша промолчал. Но на станции Т. он отозвал начальника в укромное место, где их никто не мог услышать, угрюмо сказал:

— Я, товарищ начальник, вижу один выход: размаскировать поезд.

— Что-о? Вы, товарищ главный, с ума сошли!

Дядя Миша передернул плечами: дело, дескать, ваше, а я так рассуждаю, — и забарабанил по своей кожаной сумке.

— Да вы же сами восторгались — замечательная маскировка! А теперь... Не-ет. Об этом не может и речи быть.

— Я и сейчас говорю — знатная маскировка. Но не удалось провести врага, что ж поделаешь! Обстоятельства изменились. Приходится, как на войне, применяться к обстоятельствам.

— Давайте, дядя Миша, не спориться, честное слово. — мягко и покровительственно проговорил начальник. — Человек вы хороший, уважаю я вас, а в этом вопросе вы спаликовали. Давайте-ка лучше закурим... Долго нас будут здесь держать?

Дядя Миша рассеянно крутил в пальцах папиросу, размягчая тугую набивку. Седенькие лохматые брови его насупились, — он был обижен покровительственным тоном начальника и тем, что тот отводит его, как маленького, как чужого, от серьезного вопроса.

— Вы, конечно, больше моего отвечаете за эшелон, — заговорил он тягуче, не подымая на начальника опущенных глаз. — Но я тоже отвечаю. Я обязан доставить его на место назначения в целостности. Никто не упрекнет меня, если

нас совсем разбожбят, но сам себе я не прощу. Я не могу допустить этого, не испробовав все возможности для сохранения состава. Я вам говорю: за нами охотятся. Или какая-нибудь сволочь донесла о специальном эшелоне, или они сами смекнули. Ведь никто не станет так маскировать, прятать обычный состав. Дитю понятно. Расчет был на то — не заметят с первого взгляда. И заметить с высоты первоначально им было тяжело. Вы видели, как разведчик крутил над нами? А теперь они распознали поезд, знают, где он находится. А раз так, его уж нетрудно увидеть даже неопытному летчику, — он отличается от обычных составов своей маскировкой. Вот они и охотятся за нами, как за лакомой добычей. Испро. У меня случая не было, чтобы на одном перегоне три раза бомбили. Нужно нам размаскировать поезд. Сделать похожим на обычный состав. Пускай они тогда пощут нас.

Конец своей длинной речи старый кондуктор произнес горячо, с жаром, в голосе была уже не обида, а нетерпение, злость, желание убедить, доказать ему свою правоту.

И начальник задумался. Он тер ладонью высокий лоб, морщился, поглядывал с сомнением на спокойное небо и пытливо всматривался в просветленное горячей речью лицо старого кондуктора.

— Пожалуй, ты прав, дядя Миша, — неохотно признался начальник, и в тоне его не было прежних покровительственных тонок.

Но лицу дяди Миши от сощуренных умных глаз побежали веселые морщинки. Он наклонился, прикурил папиросу, скрывая от начальника лукавую, победную улыбку.

III

Черный бомбардировщик прямым курсом шел на станцию Т. Здесь он должен был перехватить важный эшелон, который трижды — и неудачно — бомбили его приятели. У летчика были точные приметы эшелона. Эшелон было трудно различить с большой высоты, но он знал его маскировку. Она отчетливо выделяла эшелон среди обыкновенных составов. И местонахождение его он знал точно — эшелон должен находиться на станции или на подходе к ней.

Два железных креста украшали грудь гитлеровца. Это был ас — жестокий, убежденно ненавидевший всех людей чужой, расстилавшейся под ним земли, гитлеровец. Он сам вызвался лететь за «неуязвимым» эшелонем и полетел один, чтобы одному себе приписать честь победы, чтобы показать приятелям, как нужно поражать цель.

Фашистский ас повел машину па снижение, — впереди за лесом сейчас покажется станция. А вот и она: в лучах осеннего солнца приплюснутые бугорки зданий, светлые нити железнодорожной колеи, эшелоны на путях, похожие на спичечные коробочки. Он, снижаясь, делает круг над станцией. Предметы внизу пухнут, растут в высоту. А вот и высыпали люди. «Ага-а, признали! Заметались!» Недобрая усмешка искажает лицо гитлеровца. Ему хочется по привычке нажать педаль, сбросить бомбу или дать пулеметную очередь. Ас не может равнодушно видеть бегущих людей. Но он сдерживает свое желание: для его груза есть цель посерьезней. Достаточно поразить ее, и все полетит на воздух, всем достанется. Нужно только отыскать ее, эту цель. Планируя, заглушив мотор, он кругами спускается все ниже и ниже, — он знает: здесь нет зениток, опасаться нечего. Где этот «неуязвимый», как прозвали его приятели? На путях рельефно выступают два эшелона. Нет, это

не то. Один — порожняк, двери распахнуты. Другой... Нет. И другой не то. Никакой маскировки. Обыкновенные крытые вагоны. Та-ак. Значит, еще не пришел. Что ж, ладно. Подождем. Въедешь меж эшелонов, тут мы тебя и встретим. Будет на счету не один, а три с одного удара.

Асс кружится над станцией, потом не выдерживает и летит туда, откуда должен прибыть замаскированный эшелон. Но и на перегоне, где его трижды бомбили, ничего похожего нет. Странно! Асс долетает до следующей станции, злобно делает крутой разворот, так что земля опрокидывается вверх, и, стиснув зубы, летит обратно. Со станции Т. один эшелон-порожняк уже вышел. Асс догоняет его, обгоняет, проскакивает еще два перегона. Что за цыволыщина! Опять крутой вираж — и бешеная гонка к станции Т. и дальше. Чорт! Куда он мог спрятаться! Асс скрипит зубами. Но спокойно, Ганс, спокойно! Он снова разворачивается и тщательно смотрит, нет ли где боковой ветки. Со станции Т. отправился второй эшелон, но он не обращает на него внимания. Дальше, Ганс, дальше! Ты разыщешь его, хотя бы пришлось сжечь последний литр бензина. Один перегон... второй... третий... четвертый... пятый. К чорту!

Ганс Мюллер, заслуженный летчик, хладнокровный и жестокий убийца, кичившийся своей выдержкой и сильной волей человека, бешено давит рули поворотов. Вот опять навстречу эшелон. Тот самый... порожняк. В бессильной ярости Ганс сбрасывает на паровоз бомбу, зная заранее, что промазал. Но поезд останавливается, из вагона выбегают люди. Асс разворачивается и, не помня себя, бешено поливает кусты бесконечной пулеметной очередью. Сорвав злобу, он снова выравнивает машину на станцию Т.

А к поезду из-за кустов сбегается моряк, и около паровоза заливается костяной свисток дяди Миши. Старый кондуктор озабоченно смотрит на кусты: все ли бегут оттуда сами, не ведут ли кого, нет ли раненых? Уж очень люто стрелял этот обозленный неудачами подлец. Брови его хмурятся, когда из кустов показывается первый раненый, опирающийся на плечи товарищей. Он напряженно ждет следующих, но следующих нет, и глаза дяди Миши лучатся в лукавой усмешке.

— По-моему, товарищ, лучше не выбегать людям на таких остановках, — говорит он стоящему рядом начальнику эшелона. — И потерь меньше, и поезд не будем открывать. Порожняк и порожняк. Не станет же он по порожним вагонам палить.

Солнце перешло на левую сторону полотна, — короткий осенний день близился к концу. Но дядя Миша попрежнему зорко держал свою сторожевую воздушную вахту. Он был очень доволен тем, что так ловко перехитрил фашистских стервятников. Это по его предложению сняли с поезда не только маскировочные сети, но и двери распахнули в крытых вагонах, перетащив, где можно, весь груз с середины в концы, к лобовым стенкам. Поезд стал совершенно неузнаваем; даже с земли его принимали за порожнячковый состав.

Поезд безостановочно шел к фронту, громко постукивая колесами на стыках рельсов. И вот в третий раз его нагнал черный бомбардировщик. Костя, механик, договорившийся с главным кондуктором, не стал останавливать состав. Матросы на платформе прилегли, чтобы не выхватить себя, но глаз не сводили с бомбардировщика. Самолет шел сбоку, и ему явно было не до них.

Минут через десять бомбардировщик снова показался над полотном, но теперь он был не один. Маленький проворный истребитель крутился вокруг него, как ястребок вокруг матерого хищника, он то подлетал ему под брюхо, то

наваливаясь на него сверху, часто строчил короткими отрывистыми очередями. Фашисту, видимо, приходилось туго. Он круто вздымался вверх, стараясь оторваться от паседавшего «ястребка», стремительно падал, кидался то влево, то вправо, то назад, то сам ожесточенно принимался строчить из пулемета, но «ястребок» не отставал — она упрямо петлял и крутился вокруг черного бомбардировщика.

Матросы с шумным восхищением следили за поединком. И когда, не выдержав атаки советского истребителя, фашист, сбросив над лесом остаток бомб, повернул по прямой на запад, радостные крики матросов приветствовали отчаянного «ястребка». Черный бомбардировщик уходил на запад, а на хвосте у него, не отрываясь, висел наш красноезвездный истребитель. Уже только за лесом отвалил «ястребок» влево, и тут все увидели, как задыхим подбитый бомбардировщик, как сквозь дым прорвались полотнища пламени и заслуженный ас камнем пошел вниз.

— Дядя Миша! Канут фашисту! — восторженно закричал черноволосый и яростно захлопал в ладоши.

— Дядя Миша! Кончай свою вахту. Отбомбил фриц! Канут ему! Теперь победать можно! — кричали матросы кондуктору. Они развязали рюкзаки, выложили на разостланную газету белый хлеб, какие-то свертки. Пригласили дядю Мишу за компанию к себе, а когда главный отказался, черноволосый надел на плечи рюкзак, перебрался по буферам на площадку к главному и выложил перед ним ковригу белого хлеба и пять концов копченой колбасы. Дядя Миша смутился, запротестовал.

— Ну, ну, ну! — оборвал его матрос. — нас не обидишь, дядя Миша, не беспокойся. Ты наш, родной.

Ночью на конечной станции дядя Миша прощался с матросами. Они подошли к нему, жали руки, и хотя он не видел в темноте их лиц, она все были для него дороги, как родные дети. А ближе всех и дороже казался веселый, черноволосый Кострецов. Его дядя Миша и в темноте узнал. Он взял его руку в обе ладони и, не выпуская, сказал:

— Ну, ребятки, в добрый час. Бейте его, проклятого, в хвост и в гриву. А если придется погибнуть, что ж... За святое дело, за родину свою и жизни не жаль. — Голос его дрогнул, он хотел поцеловать Кострецова, но замялся, еще раз крепко потряс его руку и зашагал, не оглядываясь, к новому эшелону.

Обратно дядя Миша повел санитарный поезд.

Морозило. Ярко горели звезды. Старый кондуктор надвинул шапку, запахнулся потеплее. Он стоял на площадке быстро идущего поезда, а мысли его были все еще там, позади, на конечной станции, где распрощался он с моряками. Но не только о моряках думал старый кондуктор. Он перебирал в памяти сотни знакомых людей, которых он перевез к фронту, с которыми, так же как с матросами, сжился в трудной военной дороге. Это все были смелые, сильные, веселые люди, и воспоминания о них наполняли сердце старого кондуктора теплом. Да, такие люди не сдадут, не спасуют перед врагом.

Л. КАХИЕВ

ПЕСНИ ВОЙНЫ

1. ОСЕТИНСКАЯ БОЕВАЯ

На кавказские вершины
Пало зарево войны.
В битву,
В битву, осетины,
Хетагурова сыны!

По-кавказски
Бей, с налета,
На скаку и на бегу!
Первый немец или сотый —
Меткой пулей по врагу!

На коне, как ветер, быстром
Всадник в полночь поскакал,
И аукнулся на выстрел
Весь Клухорский перевал.

Скачет степью всадник ловкий,
А за ним идут полки,
Осетинские винтовки,
Осетинские клинки.

В сочных травах Приазовья,
Слыша зов своей земли,
Автоматы в изголовьи —
Осетины залегли.

Бой!
И хлынула лавина
На поля большой войны.
В битву,
В битву, осетины,
Хетагурова сыны!

2. ПЕСНЯ ГОР

Горы — косая сажень,
Конус на конус насажен,
Реки — сабля на сабле,
Лепится сахла к сахла.

Вот они — гор отроги,
Змейка белой дороги,
Горных крутизы бездорожье,
Бурая зелень подножья.

Выйди-ка из аула —
Ветер аукнется гулом,

Дорассветным звоном,
Воздухом граненым.

Что бы я делал на свете,
Если б не горы вот эти,
На голубой вершине
Колотый сахар синий.

Кто их врагу подарит?
Если и гром ударит,—
Знайте: из каждого дома
Три последуют грома.

3. ПЕСНЯ МАТЕРИ

Темная ночь стучится в дверь,
Горю помочь ты можешь теперь,
Сын мой, послушай меня:
На коня!
Горда я тобой.
В бой!

Ты ведь один у меня,
От души
Я говорю тебе:
Сын, поспеши!
Враг, он уже у порога.
В дорогу!
Горда я тобой.
В бой!

Саблю отцовскую
Снять со стены?
С волей бойцовой —
На поле войны!
Бурку — на плечи.

В дорогу трогай!
Горда я тобой.
В бой!

Ты чтобы мог победить поскорей,
Надеюсь
(Надежда — бог матерей!)
Со всей материнской силой...
Мой милый,
Горда я тобой.
В бой!

В битву иди,
От пуль и огня
Загороди
Сестру и меня.
Не посрами меня,
Нашего имени.
Горда я тобой.
В бой!

Перевел с осетинского ЛЕВ ОЗЕРОВ

Ан. ТАРАСЕНКОВ

АРТОБСТРЕЛ

Над городом шагает артобстрел
Свястиящими гремучими шагами.
Снаряд в большую комнату влетел
И разметал каминный белый камень.

Беспомощно повисла из окна
Разорванная надвое портьера,
И зацвела соседняя стена
Кирпичной кровью на фасаде сером.

А у стены на голубом снегу
Лежит убитый наповал мальчишка,
Раскинув ноги — будто на бегу, —
Рукой прижав раскрашенную
книжку.

И это все... А улица пуста...
Мороз январский к вечеру
крепчает.

Под звездами дымится высота,
И ветер тихо провода качает.

Нет, не окончен этот разговор.
Квадрат нащупан. Час урочный
выбран.

И в гневе сотрясается линкор
Орудиями главного калибра.

Ленинград, 1941 г.

А. ЕРУСАЛИМСКИЙ

ПИСЬМА ИЗ ИРАНА

1. Тавриз

На большой высоте, между двумя горными вершинами, покрытыми снегом, самолет пробивается вперед. Справа остается река Аракс, а за ней, совсем близко, гора Арарат. Здесь, по библейскому преданию, после потопа нашел себе пристанище ковчег. И теперь, право же, все еще чудится, что на этих огромных пространствах в неповторимых и диких очертаниях первобытной природы навеки окаменело взбалмученное море, покрытое пеной. Огромные скалистые горы, волнами расходящиеся вдаль. Раннее солнце придает им то бурый, то бирюзовый оттенок. Они сменяются большими квадратами земли, серыми и зеленеющими. Словно крепким жгутом, земля перетянута шоссейными дорогами, расходящимися в разные стороны. Так труд человеческий преобразует землю и украшает ее. Издали отсвечивает каменное русло какой-то пересохшей реки. Когда серая долина, приоткрывающая бесконечные дали, исчезает, перед нами снова вырастает горный кряж, могучий и суровый. Путь к нему пролегает через пустынное плато и большие желтые холмы. Летчик показывает вниз и запиской поясняет: «Здесь граница Ирана».

Словно через громадные горные ворота, мы переступаем по воздуху эту невидимую сверху границу; здесь кончается наша земля, где каждый человек в труде и в борьбе завоевывает победу; там начинается земля, которой война не коснулась своим смертоносным дыханием. А ведь еще так недавно — всего лишь менее года назад — и на этой грани-

це шипела приползшая сюда издалека немецко-фашистская змея. Ныне Иран — наш друг и союзник. Эта страна, по размерам своим превышающая любое государство Западной Европы, имеет богатую историю, восходящую к глубокой древности. Связав свою судьбу с демократическими народами, Иран может иметь и богатое будущее.

Вот первые иранские селения — крохотные, оголенные. Вот первые города — Гергер, Маранд, как стрелой, пронзенный шоссейной дорогой. Высокие горы, как бы окрашенные в мягкие фиолетовые тона, расступаются и из беспорядочно нагроможденных на широкой равнине серых глиняных коробочек быстро вырастают очертания большого города. Самолет делает круг и идет на посадку. Это — Тавриз, крупнейший торговый и административно-политический центр иранского Азербайджана.

Город сохранил все своеобразие своей архитектуры, быта и нравов. Он почти такой же, каким был в начале века. Таким мы его знаем по известному роману азербайджанского писателя Ордубады — «Тавриз туманный». Как и тогда, он весь изрезан кривыми улицами и переулками, очень узкими и глухими, пригодными только для движения немногих пешеходов и мулов. С улицы домов не видно. Они скрыты за высокими, утомительно однообразными стенами, сложенными из серой глины, которая может выдержать и палящее солнце, и сухие ветры, и любопытствующие взгляды посторонних. Изредка пройдет мужчина; на его голове — шляпа, на босых ногах — туфли без задников. Промелькнет

сгромная фигура женщины, покрытой чадрой. Пробегут несколько школьников в картузах и в серых мундирах. Тихо и знойно.

Только на главной улице, где здания почти европейского типа, шумно и многолюдно. Мужчины с четками в руках степенно прогуливаются или, стоя группами, толкуют о том и о сем. Многие чем-то торгуют, и притом обычно на ходу. В толпе снуют мальчишки, черноглазые, босые, шустрые. Своим криком они стараются привлечь внимание покупателей. Один предлагает лед и какие-то напитки красного и желтого цвета, другой — сласти с замысловатыми названиями. На панели зеваки толпятся у больших многокрасочных афиш кино или глазят на местных модниц, прогуливающих пешком или на «дрожках». Многочисленные аяны (полицейские) не совсем ладно регулируют движение, пропуская вперед те автомобили, на которых развезается флажок какого-нибудь иностранного консульства. Но и здесь оживление только по вечерам.

Вато под крышей персидского базара жизнь кипит с восхода солнца и до заката. Здесь — настоящий человеческий улей, большой, причудливый и сложный мир. Торговые ряды — это целые улицы и переулки, в которых расположены лавки и мастерские людей одной профессии. Сапожники тачают обувь, и хозяин тут же продает ее. Медники луют посуду или другую домашнюю утварь. В лавках рядом с глиняным сосудом, сделанным нехитрой рукой местного гончара, продается натуральное розовое масло, привезенное из Индии, и отличный английский шевит.

В лавке, поджав под себя ноги, на цыновках сидят купцы. Из маленьких стаканчиков они пьют чай, крепкий и прозрачный, как доброе старое вино. Здесь заключают торговые сделки и обсуждают последние события. Базарная молва переходит из уст в уста. На Востоке — она своего рода газета, и притом самая распространенная. Эту устную газету в Иране немецко-фашистские агенты пытались использовать в своих интересах.

В планах германского «свижения на Восток» Иран на протяжении последних 40 лет занимал особое ме-

сто. Здесь перекрещивались пути и к сокровищам Малой Азии, и к бесценным залежкам Кавказских гор, и к тучным землям Средней Азии, и к рынкам обособленного Афганистана, и к природным богатствам арабских стран, и вечно фантастическую Индию. Наконец сам Иран, его нефтяные и другие ресурсы издавна привлекали к себе алчные взоры германских империалистов. Уже много лет назад рядовые немецкие купцы стали выполнять в Иране функции консулов, а безвестные немецкие консулы становились богатыми купцами. В конце концов, когда грянула первая мировая война, все они оказались офицерами германской разведки — организаторами диверсий и восстаний. В Тавризэ эту многообразную роль выполнял некий Шюнеман, хозяин ковровой фабрики, консул и шпион. После войны он считал за благо перебраться отсюда на юг, в Исфагань. Как и другие немецкие агенты, он притаился в ожидании лучших времен: в то время интерес немцев к Ирану отошел на второй план.

Но вот захватнические аппетиты пробудились снова. Уже в 1928 году германская буржуазная пресса уделяла незаслуженно много внимания путешествию писателя Келлермана по Ирану и его плохой книге: «По персидским караванным путям». Это была своего рода коммерческая реклама иранскому рынку. Вскоре по персидским караванным путям устремились из Германии туристы другого типа. Их интересовала не экзотика, а состоящие агентурной сети. Они присылали из Ирана не литературные дневники, а военные донесения. В одном кармане у них был трейскурант гнилых немецких товаров, а в другом — инструкции и карты германского генерального штаба. Каждый немецкий купец был разведчик, а каждый разведчик выступал как купец, журналист или ученый. Задача была формулирована так: гитлеризировать Иран, создать там плацдарм для нападения даже там плацдарм для нападения Великобритании.

Тогда в Тавризэ появился полковник Шмидт. Подобно Шюнеману, своему предшественнику, он стал владельцем ковровых мастерских. Он возглавил контору «Вебербауэр Транспорт». Он обеспечил немецкий

контроль над железной дорогой, идущей от Тавриза до Джульфы — к границе Советского Союза. Он руководил фашистской, антисоветской пропагандой в Тавризе и создал там несколько диверсионных групп. Впоследствии у него на квартире в Тавризе в телефонном аппарате был обнаружен маленький специально смонтированный коротковолновый радиопередатчик, а в Джульфе — большой склад оружия и динамита.

Все это теперь кажется далеким прошлым, и только обрывок старой немецкой афиши, когда-то наклеенной на глинобитной стене, внешне напоминает о прежней деятельности немцев. Где они теперь? Полковник Шмидт бежал, иных уж нет, а те далеке. Немцы не могут больше выступать в Иране открыто. Поэтому им приходится пользоваться наемниками и подставными лицами. Эти последние действительно крайне неумело. Они рассчитывают вызвать среди иранского населения симпатии, а вызывают только насмешки.

Так было и на сей раз. Купцы, сиди на полу в просторной лавке, завели речь о последних событиях на фронтах войны. Один из них, недавно прибывший в Тавриз из глухой провинции, тихим голосом и как бы невзначай назвал Гитлера близким по созвучию иранским именем Гайдар. В свое время немцы заврали легковых мусульман, будто Гитлер принял магометанство и стал называться этим именем. Купцы Тавриза — вежливый народ, и гости они никогда не обидят. Но тут присутствующие как-то по-особому переглянулись, затем один из них все же не сдержался и разразился громким добродушным смехом. Наконец, обратившись к присутствующим, он, иронически ухмыляясь, сказал: «Мы уже убедились в том, что пришествие имама Гайдара состоялось точно в назначенный день». Тут все рассмеялись, и только один высокий худощавый старик строго заметил: «Зачем повторять это немецкое кощунство?»

Дело в том, что немецкие агенты уже давно и много раз пытались занять приспособлением мусульманских продалей и целям своей пропаганды. Согласно преданию, один из эмиссаров (учеников) пророка Магомета когда-то бесследно исчез. Но настает день, гласит предание, и

он вернется, правоверные узнают его, пойдут за ним, одержат конечную победу, а после этого обретут райскую жизнь. Еще зимою немецкие агенты установили срок пришествия «имама Гайдара»: иранский новый год, то есть 21 марта. Так они приспособляли предание к своей пропаганде о «весеннем наступлении». Но вот уже давно прошел этот день, и обещанное «пришествие» не состоялось. Даже самые темные люди прозрели.

В Тавризе в кругу молодежи мне рассказывали следующее: по городу какой-то дурак распространяет слухи, будто Гитлер недавно женился в Берлине на девушке из знатной мусульманской семьи и летом он собирается приехать с женой в Иран. Играя четками, юноша добавил при этом: «Неизвестно, в состоянии ли Гитлер вообще жениться». При этом он сопроводил свое замечание таким выразительным жестом, что вызвал звонкий хохот всех присутствующих. Тавризцы славятся в Иране своим юмором. Они умеют различать ложь и неплохо высмеивают тех, кто передает недобрые слухи.

Иногда эти слухи исходят от людей, находящихся на государственной службе. В местечке Миане, недалеко от Тавриза, за столиком возле чайхане жандарм убеждал местного торговца: «Немцы перешли иранскую границу. Вчера они подошли к Тавризу, завтра они придут к Миане». Он советовал торговцу не везти продукты в Тавриз и попридержат их на складе. Он улекся своими собственными измышлениями и не заметил, что несколько человек, покинув только что прибывший из Тавриза автобус, расположились за соседними столиками. Услышав, что говорит жандарм, один из прибывших, повидимому, тоже торговец, по выдержал и, обращаясь к жандарму, громко воскликнул: «Врешь, собака! Отродье! В Тавризе немцев нет и никогда их там больше не будет». И как бы желая прекратить разговор, он добавил, показав на стену: «Прочти, если умеешь». Натянуто улыбаясь, жандарм начал искать повода поскорее уйти. На стене расклеен был отпечатанный на гербовой бумаге текст обращения генерал-губернатора 3-го астана: «Ложные слухи... имели целью создание замешательства среди населения...»

Зачем жандарму понадобились столь нелепые слухи? Хотел ли он напугать торговца, чтобы уменьшить подвоз к Тавризу? Хотел ли он подорвать доверие к Красной Армии? Кто знает, чего хотел этот неопытный хитрый человек в синем мундире! Но местные люди — народ бывалый. Они имеют широкие связи с другими провинциями и знают, что нет причин жаловаться на экономическое и продовольственное положение, существующее в северном Иране. «Там, где Красная Армия — порядок в городах и спокойно на дорогах», — говорит старый житель Тавриза Ага-Заде. «Конечно, — говорит он, — цены и здесь несколько поднялись, но ведь всеобщая война не могла не отразиться на наших связях с внешними рынками. Видеть по этому поводу части Красной Армии будет так же несправедливо, как и винить солдате за то, что человек беден. Все знают, что русские всегда нам помогали. Сходите на базар, и вы убедитесь, что в Тавризе товаров и продовольствия вдоволь».

Еще год назад ни один иранец не посмел бы не только избаловать лживые домыслы жандарма, но и просто перечить ему. Но с тех пор как старый шах отрекся от престола, многое изменилось. Некогда Тавриз был очагом демократического движения в северном Иране. Старшее поколение тавризцев все еще помнит Энджумен и бесстрашного лидера Саттор-хана, борovéhoся против династии каджаров. Но и Реза-шаха, деспотичского и жестокого властелина, тавризцы не помнят добрым словом. В Тавризе люди не чувствуют себя столь подавленными, как прежде. Многонациональное население Тавриза — турки, армяне, айсоры и другие — знает, что разжигание национальной розни в провозглашенных целях теперь очень затруднено.

Факты, как известно, — упрямая вещь. Жизненный опыт научил тавризцев даже наиболее легковых, разбиться, где правда и где ложь. Вот почему здесь все так интересно: каждая весточка, приходящая из Советского Союза. Газеты и журналы иранские, советские быстро раскупаются. Теперь они дают пищу народной молве. Теперь молва, основанная на правдивой информации, вьется по лавкам боль-

ного базара, по улицам и переулкам большого города и через высокие глинобитные заборы проникает в дома тавризских жителей. Тавризцы радуется каждому успеху Красной Армии, а к шептунам он относится с нескрываемым презрением. Народная азербайджанская пословица гласит: «Лиса без шакала не бьется». И тавризцы говорят: «Пусть фашистские шакалы воют, все равно подохнут».

Между делом тавризцы любят посудачить с приятелями в чайхане, в лавке или на улице. Но всегда они замолкают, услышав, как по улице широко льется бодрая красноармейская песня; бойцы, возвращающиеся с тактических занятий с поля, проходят стройными рядами, сопровождаемые взвздесущими чумазыми ребятишками. Запрудив тротуары, тавризцы ловят мелодию затихающей песни и еще долго, долго смотрят в сторону, куда удалились бойцы.

2. Дружба

Казвин. В этом небольшом городе всегда много людей; они стекаются сюда по нескольким дорогам, расходящимся в разные стороны. Одна дорога ведет к большому, широкому ушению. Там, далеко за городской стеной, начинается край, богатый водою и растительностью. На низинах — заливные луга, рисовые и чайные плантации. В буйной зелени садов спрятались небольшие дома местных землевладельцев. Но и там есть голые скалистые места, — к ним, будто нарочно, прилепились крестьянские хижины.

В самом городе что-то еще напоминает о природных богатствах приморского края. Сады укрывают большие дворы богатых людей, а здесь — сладкие вина, густые, как кровь, имеют широкую славу. Небольшие крытые балконы, украшенные затейливой резьбой, нависают над улицами, и чудится издали, будто небо, как голубой ситец, растянутое между домами, заполняет и просветы в резьбе — творении безвестного мастера.

С раннего утра узкие улицы оглашаются громкими криками, — это все-го лишь беседа проезжающих людей. В лавку собрались приятели и э чем-то говорят. На тротуаре, свесив

ноги, сидят пожилые люди и курят свои толстые трубки. Многие идут на главную площадь. Там остановилась большая колонна грузовых машин, окрашенных в зеленый цвет. Эти машины прибыли из Соединенных Штатов Америки в южные порты Ирана, и оттуда под палящим иранским солнцем по широком иранским дорогам шоферы-красноармейцы ведут их в Советский Союз. В кузове — ценная поклажа, покрытая плотным брезентом. Эти колонны проходят здесь ежедневно, и каждый раз вокруг них собирается много людей.

Шоферы отдохнули немного и тронулись дальше в путь; их встречают и провожают везде с улыбочкой привета. На перекрестке дорог, проложенных по песчаной земле, они всматриваются вдаль, туда, где в складках голых холмов разбит большой лагерь. Там расположена красноармейская часть.

Суровая жизнь на этой земле, выжженной солнцем и ветром. Здесь нет ни одной хижинки, в которой могли бы разместиться командиры и бойцы. Камни и пыль. Все пробивает эта едкая желтая пыль. Слово густой ил, она покрывает жилище, предметы, коней и людей.

А бывает еще хуже. Тогда кажется, будто дорога отодвинулась куда-то далеко, а над ней взметнулось огромное облако, желтое, как песок. В сильном вращательном движении облако быстро надвигается на лагерь. По сторонам начинается такое же движение мирнадов мелких песчаных частиц, и тогда с земли вырываются новые столбы пыли. Искривляясь, но все же не распадаясь, эти столбы приближаются к лагерю. Порыв стихии никто не может остановить. Он настиг нас, и теперь уже совсем невозможно пробиться сквозь непроницаемую серо-желтую пелену. Впереди и по сторонам ничего не удастся различить даже на расстоянии десяти шагов. Сильный водоворот желтого песка едва не сбивает с ног, но прыв слабеет, и постепенно становится видно, что столбы желтой пыли удаляются, чтобы в другом месте продолжить свой безумный танец вращения. Это — смерти. Он проходит, и снова все сливается в унылом однообразии песчаных холмов. Красноармейские палатки навсегда

потеряли свой первоначальный цвет. Исдали их просто не видно. Многие бойцы живут в глубоких землянках. Здесь нет и признаков комфорта. Сама природа позаботилась о том, чтобы каждый боец привыкал к тяжелой походной жизни.

Здесь нет войны, но нет и отдыха. Здесь каждый день заполнен напряженной работой. Здесь учат и учатся искусству воевать. Часто ночью раздается сигнал, начинаются тактические учения.

В лагере над иранским небом рядом живут и веселый тамбовец, и крепкий сибиряк, и жизнелюбивый грузин, и украинец, тоскующий по своей земле, оскорбленной немецкими насилишками. У всех — одна родина, одна судьба, одно желание. Вот почему каждый вечер к командиру поодиночке приходят бойцы и, переминаясь с ноги на ногу, начинают с ним медленный разговор: «Человек я сознательный и понимаю, что стоим мы здесь не зря а за делом. Но только прошу я вас отправить меня на фронт». Командир спокойно и строго отказывает бойцу. Иногда завязывается длинная задушевная беседа. Пришел другой боец. Молча кладет он на стол газету, где помещен снимок растерзанной немцами женщины. Боец кусает губы и тихо говорит: «Это моя мать. Дайте разрешение — хочу отомстить». Какой командир может в этом отказать бойцу?

Многие командиры и бойцы уже побывали на фронтах отечественной войны. Некоторые из них ранены, контужены, многие отмечены правительственной наградой. Еще совсем недавно генерал М. командовал кавалерийской дивизией на Западном фронте. Он многое видел, много испытал и много сделал. Вместе с легендарным Доватором он бил немцев под Москвой. Теперь, потряхивая копною своих круто выющихся светлых волос, он говорит: «Мы не признавали слов «немецкое окружение», мы знали только другие слова: «проткнуть немецкие тылы». Теперь этот строгий боевой генерал, посещая подчиненные ему части, учит бойцов и командиров, как следует использовать опыт отечественной войны.

Недавно одну из частей Красноармии, расплаженную в Иране, посетил Джейкоб, военный корреспон-

дент английской газеты «Дейли Экспресс». В статье, помещенной в газете, он писал. «Уверенность в своей силе — вот что является доминирующим в Красной Армии. Красноармейцы прекрасно снаряжены. У них в избытке ручные пулеметы и автоматы. Они не выложены внешне, но ни одна армия не может похвастаться более стойкими и жизнеспособными людьми». В заключение Джейкоб следующим образом формулировал свои впечатления: «Присутствие Красной Армии в Иране приносит большую пользу делу объединенных наций на Востоке, так как образцовая дисциплина и корректное поведение советских войск по отношению к местному населению показывают всю лживость пропаганды о «красном дьяволе», которая здесь в течение нескольких лет распространялась немцами».

В свое время немцы немало поработали здесь, чтобы восстановить иранский народ против его великого северного соседа. Все же они не смогли устранить старые симпатии иранского народа к Красной Армии и Советскому Союзу. Эти симпатии, как известно, нашли свое выражение уже в те дни, когда Красная Армия вступила на территорию Ирана. Население встречало ее, как друга, тепло и восторженно. Крестыне выходили на дорогу. Высоко над своей головою, на поднятых руках они несли барана и тут же, заколов его, утощали наших бойцов. Торговцы приглашали красноармейцев в лавки, предлагали им фрукты или местные напитки. Они очень удивлялись, когда те, воспользовавшись приглашением, за все аккуратно и сполна платили. И сейчас еще можно услышать: «Господин товарищ коммунист, прошу вас зайти в мою лавку!»

На днях один купец, пригласив красноармейца в свою лавку, просил его принять, по восточному обычаю, подарок. Красноармеец отказался. Обиженный купец начал настаивать на своем, но безрезультатно. Через несколько дней купец пришел в советское консульство, чтобы принести свои извинения. «Я понял, — сказал он, — что красноармеец придерживался правил, установленных в Красной Армии, — за все следует платить. Если бы он, выполнив мою сердечную просьбу, принял от

меня подарок, плохо люди сказали бы, что он вынудил меня к этому. Отказавшись, он был прав. Наставная, я совершил ошибку». Купец просил принять от него взнос в фонд обороны.

Многочисленные взносы в фонд обороны СССР являются одной из наиболее распространенных форм проявления дружбы иранского народа и Красной Армии. За год войны иранское население внесло в фонд обороны Советского Союза около двух миллионов реалов. Приносят золотые и серебряные изделия, теплые вещи, продукты. Рабочие промышленных предприятий Тавриза и Тегерана постановили производить ежемесячные отчисления в фонд обороны СССР. Такие же отчисления делают и рабочие многих участков строящихся железных и шоссежных дорог. Рабочие знают, что эти дороги необходимы, чтобы ускорить прохождение военных грузов, поступающих из Англии и США и направляемых в Советский Союз. Своим большим трудом и скромными денежными взносами они хотят помочь разгрому гитлеровской Германии. Они считают борьбу Красной Армии против немецкого фашизма своим собственным делом. В советские консульства ежедневно поступают десятки писем, выражающих симпатии иранцев Красной Армии и готовность оказать ей посильную помощь. Эта волна симпатий охватила теперь различные круги иранского населения — мужчин, женщин, молодых в старых, состоятельных и малоимущих. У каждого есть к тому свои основания.

Когда зимой немцам удалось захватить Ростов, некоторые купцы в Тавризе устроили баявет. Это вызвало негодование многих купцов. Один из них рассказывает: «Когда Красная Армия вступила на территорию Ирана, некоторые решили бежать из Тавриза на юг. Жена моя просила меня последовать их примеру. Я сказал ей: «Нут, ханум, от этого места не оторвется моя нога».

Раньше этот купец имел тесные торговые связи с немецкой фирмой. Сначала лаской и выгодой немцы пытались расположить его к себе. Они обещали ему золотые горы. Но вскоре они стали обращаться с ним нагло и грубо. Заключая сдел-

ку, они стали диктовать условия, и притом в форме унижительной для национального сознания иранца. Не встретив готовности подчиниться этим условиям, немцы начали прибегать к своему излюбленному методу: они стали угрожать. Возбешенный подобной наглостью иранский купец заявил немцам: «Так вызывающе вы будете разговаривать с иранцами тогда, когда займете Лондон и Москву. Но этому шикогда не бывать!» Он порвал с немцами и обратился к советским торговым организациям. Здесь он почтывал атмосферу уважения к национальной чести, независимости, к интересам иранцев. Когда сделка была заключена, этот купец обратился с просьбой принять от него большую сумму денег в фонд обороны СССР. Недавно, смеясь он рассказывал, что его жена, которая раньше боялась Красной Армии, теперь, узнав о его взносе, сказала: «А ведь ты пожалничал!»

Это характерно! Женщины Ирана все еще не принимают активного участия в политической жизни страны. Но и среди них в последние месяцы пробуждаются новые интересы и новые симпатии. Здесь знают о героическом подвиге советской девушки Тани. Здесь знают о боевых делах других советских патриоток. Группами и поодиночке иранские женщины стараются помочь Красной Армии чем могут. Они сообщают, что посылают Красной Армии «скромные подарки — доказательство нашей величайшей любви к вам, бойцам за правое дело». Одна девушка, жительница Тегерана, за время войны принесла в советское консульство свыше 300 небольших посылок, снабдив каждую из них трогательным письмом советским воинам.

Население Ирана každодневно убеждается в том, что части Красной Армии, не вмешиваясь во внутренние дела страны, с одинаковым уважением относятся к различным слоям и к различным национальным группам местного населения. В этом убеждаются и представители государственной власти. Генерал-губернатор 3-го остана (Тавризской области) Фахми сказал мне, что за все время он не получал от населения ни одной жалобы на действия частей Красной Армии или отдельных бойцов и командиров. В Зенджане крупный землевладелец Зольфага-

ри говорил мне: «Здесь в 1916 году бывали офицеры русского царя. Они всегда держали нос кверху и чувствовали себя у нас, как в завоеванной стране. Поведение ваших солдат и офицеров безукоризненно. Известный мусульманский деятель в Тавризе выражал удивление по поводу того, что берлинское радио распространяет слухи, будто части Красной Армии, находясь в Иране, оскорбляют религиозные чувства мусульман. Он заявил, что эти слухи абсолютно ложны и что поведение частей Красной Армии в отношении мусульман проникнуто глубокой корректностью.

В одном глухом селении на глинобитной хижине я увидел небольшой портрет товарища Сталина. «Это отец всех людей», — пояснил мне старик, бедный, но гостеприимный хозяин.

Мы сидели на циповке, покрывающей пол, пили из маленьких чашечек чай, и он долго говорил мне о великой дружбе соседей.

3. Тегеран

Со всех сторон обширной страны к столице Ирана сходятся дороги, и кажется, будто все они ведут из другого мира. Мы подъезжаем к Тегерану по шоссе, соединяющему столицу с юго-западными областями страны. Несколько раз шоссе пересекает ниточку Трансиранской железной дороги. Ее трасса была предметом больших политических споров, биржевого ажиотажа и серьезных международных конфликтов. Теперь по ней мчится небольшая паровоз, увлекая за собой несколько пассажирских и товарных вагонов. На станции, затерявшейся в степи, поезд по пути от Персидского залива ненадолго останавливается возле двухэтажной коробки вокзала, — и снова мчится на север, в Тегеран. Шоссеиная дорога отходит в сторону, как бы стремясь пробиться через нескончаемую песчаную степь. Нестерпимый зной вызывает жажду. И неожиданно, как обычно в пустыне, вы видите много воды. Не мираж ли это? Нет, это действительно по воля, но в она, возбуждая жажду, обманывает их. Это — Тузул Гуль, соленое озеро, окрашенное в такие же неопределенные, желто-серые тона, как и песчаная степь. Когда

вглядываешься вдаль, не видно конца соленой воде и песчаной пустыне.— все погрузилось в унылую, безнадежную дымку.

За какой-то высохшей речкой,azole скучившихся глинобитных домов, мы видим несколько хилых деревьев. Это сразу вселяет надежду, что недалеко путь туда, где можно укрыться в тени. Мы поднялись по большому деревянному горбату мосту, пересекли улицы, замешанные от зноя. Въезжаем в город, над которым висит прекрасная золоченая крыша мечети. Это Кум — священный город. Сюда стекаются паломники из самых дальних уголков обширного мусульманского мира. Но теперь их очень мало. Почему? Мне объясняют: война!

Едва зной немного спадает, улицы оживляются. Муллы, в длинных белых одеждах и в туфлях на босую ногу, степенно идут по тротуарам, направляясь к мечети. Туда же идут и правоверные миряне, молодые и старые. Торговцы, сидя на циновках возле своих лавок, провожают их глазами. Мальчишки, как всегда, шустрью, бегут за проходящей машиной и звонкими голосами нарушают покой и невозмутимость священного города. На улице женщины очень мало. В скромных ситцевых чадрах они стараются пройти незаметно, уступая дорогу каждому старику, у которого борода выгашена белой в луциновый цвет, а бедра перевязаны широким зеленым поясом. У ворот мечети — правоверные, склонившиеся в молитвенном преклонении; они не замечают, что делается вокруг. Некоторые толпятся перед лавками, в которых можно купить религиозные книги и реликвии. Мы подходим к мечети, чувствуя за себе тысячи устремленных глаз. Толпа нарастает, она становится все более возбужденной, а в глазах многих появляется недоброжелательный блеск, присущий только фанатикам. Ровно восемнадцать лет назад, в июне 1924 года, такая же фанатическая толпа растерзала в Тегеране американского вице-консула, который хотел сфотографировать проходящую по улице религиозную процессию. Теперь в Тегеране это не могло бы случиться. Но в Куме это возможно и сейчас. А ведь столица недалеко!

обычный для всех путей, подходящих к Тегерану: оголенные поля, над которыми висят желтые горы. Темнеет. Нас постигает песчаная метель. Это не самому, порывистый и быстрый. Пыльный покров, поднятый завывающим ветром, при свете фар кажется сильным снегопадом. Иногда мы останавливаемся, так как впереди ничего не видно. И вдруг, когда яркий сноп света разрывает плену, отчетливо выступают очертания домов европейскойстройки. Большие газовые лампы освещают лавки и магазины, ослепляя человека, который пришел из темноты. Несколько улиц залито электрическим светом. Желтые, синие, красные вспышки неоновых трубок взметаются в ночной темноте, — так реклама привлекает внимание прохожих. На главных улицах много людей, блестящих автомобилей. Женщины в модных прическах флаируют по улице, останавливаясь у витрин магазинов. Офисеры выделяются своей желтой формой, высокими картузами и блестящими лакированными сапогами. Группами и поодиночке прогуливаются английские солдаты. Изредка промелькнет тюбан индуса. Мальчишки снуют в толпе, выкрикивая названия вечерних иранских газет. Они же предлагают советскую «Правду» или «Известия». Только к 11 часам жизнь постепенно замирает, чтобы снова проснуться вместе с первыми лучами палящего солнца. После песчаной пустыни, после священного Кума кажется, будто это другой мир, будто это кусок Европы, чудом залесенный на Восток. Это — Тегеран.

Некоторые называют этот город Париж м Востока. Это лестно, но неверно. Тегеран напоминает только самого себя. Его улицы, стройные и прямые, его небольшие дома, светложелтые и приветливые, кажутся неотъемлемой частью пейзажа на этой широкой равнине, у подножья горы Демованд. Тегеран мало схож с европейскими городами, но еще меньше с другими городами Востока. Между тем он много тысяч лет назад поддерживал связь со всеми городами, слава которых охватила древний Восток. Где Ниневия, Мемфис, Вавилон — знаменитые столицы давних времен? Они исчезли, оставив незабываемый след в истории человеческой культуры. Тегеран — их со-

временник. Но в те времена он был всего лишь безвестным предместьем царского города Рага-Рей. По улицам этого города проходили караваны в Туркестан и в Индию; на базарах торговали китайскими шелками, а в домах жили замечательные мастера, знавшие секрет причудливой окраски тонкорунных тканей. В Тегеране, безвестном тогда селении, паслись большие царские стада. Прошли века, знаменитый Рага-Рей бесследно исчез, предоставив археологам разбираться в его тайнах, а Тегеран живет, растет и украшает созвездие иранских городов.

Старожилы рассказывают, что за последние годы Тегеран сильно изменился. Старый шах решил европеизировать страну. Он начал с того, что приказал полицейским срывать шапку с проходящих по улице женщин, а мужчинам повелел носить мягкие шляпы. Он прогнал многих феодалов-помещиков, но их земли он не отдал крестьянам, а взял себе. Так он стал самым крупным помещиком страны. На берегу Каспийского моря он построил виллы, которые могли бы украшать Монако или Ниццу, но они оставались пустыми.

И в Тегеране на окраинах еще много домов старого типа, и даже недалеко от центра много кривых улочек, настолько узких, что два мула с поклажей на спине, повстречавшись, не могут разойтись; появление там автомобиля заставляет проходящих тесно-тесно прижиматься к забору. Существует и персидский базар — огромный лабиринт, где с раннего утра до позднего вечера клокочет жизнь. Десятки тысяч людей, как муравьи, быстро ползают в разные стороны, сходятся и снова расходятся. Одни ташат большие тюки, другие носят на руках легкие бусы или безделушки из черного серебра. Громкие крики оглушают людей: кто требует уступить дорогу, кто зазывает покупателей. В лавках бойко идет торговля. Можно купить все: английские бритвы, швейцарские часы, индийский чай, иранские ковры, но больше всего предметов местного изделия. Сапожные мастерские, ювелирные магазины, торговые фирмы и биржевые конторы — все разместилось под одной огромной крышей восточного базара. Туда просто войти — много входных дверей, но нелегко оттуда выйти.

В бесконечных рядах трудно найти нужную дверь. Там всегда прохладно, но, когда выходишь на улицу, хочется глубоко вдохнуть свежего воздуха.

Реза-шах начал перестраивать столицу; на план нанесена была красная черта, и все дома, стоявшие за ней, безжалостно сносились, а на их месте были построены новые — более европейского типа. На площадях старый шах поставил себе неуклюжие памятники. Не все дома носят черты индивидуального вкуса архитектора, но каждый занимает свое место в общем ансамбле. Над ними возвышаются здания, которые издали производят впечатление дворцов или храмов. Дворцы шаха стоят, особо, скрытые за высокой белой стеной. Они выглядят очень солидно, их очертания спокойны и величественны. Они как бы напоминают, что каждый, входящий сюда через эту массивную дверь, должен проникнуться не только доверием к владельцу, но и пониманием собственного ничтожества. Как черберы. Стоит у входа стражи в пыльных мундирах с золотыми галунами. Здесь «Английский банк» и немного дальше, на площади, «Имперский банк Ирана».

Улицы, на которых стоят эти банки, в основном уже застроены новыми домами. Но имеются и еще недостроенные здания. Иногда в этом сказилось не время, а злостный расчет и личная выгода. Вот уже восемь лет в Тегеране строится здание театра — первого театра в Иране. На отпущенные средства подрядчики успели выстроить себе несколько домов, а театр все еще покрыт густым переплетом лесов.

Старый шах успел выстроить большое здание национального музея. На витринах музея множество экспонатов, извлеченных из-под руин старинного Персеполиса. Шах собирался устроить торжественное открытие музея, пригласив в Тегеран на празднество виднейших ученых мира, но так и не собрался. Зато он успел открыть новую тюрьму, построенную, говорят, по европейским образцам. Это большое здание, окруженное охрой, возвышается на горе рядом со старым зданием, где заключенные томились в ямах. Выстроив новую тюрьму, он успел быстро заполнить, но и старая оста-

вазальская перенаселенной. Старый дес-пот бросал в тюрьму всех, кто был ему не угоден: представителей оппозиционных партий, нерадивых чиновников, истинных демократов и проворовавшихся министров. Взятчики, делившиеся с шахом, назначались министрами, а обделившие его бросались в тюрьму. Никто не знал, сколько придется томиться за решеткой, и все боялось известия о предстоящем выходе из тюрьмы: часто заключенный, обрадовавшийся освобождению, в этот день умерщвлялся тюремщиком. Только после отречения шаха невинные люди вышли на свободу. Некоторые из бывших заключенных показывали мне свои руки, обезображенные пытками. Страшные условия жизни в тюрьме не сломили людей, борющихся за элементарные демократические свободы.

В сентябре 1941 года, после отречения старого шаха, пришла запоздалая весна. В столице началось политическое оживление. В бурном полове ды открылись новые течения, — одни стали пробиваться вперед, другие в сторону. Появились политические партии, фракции, группировки и союзы. Многие, не выдержав даж- слабого испытания временем, увядали, не успев расцвести. Другие, применяясь к новым веяниям, пытались старое вино влить в новый мех. Некоторые поняли полноту как доходное ремесло, и начали совершенствоваться в нем. Сплачивалось и демократическое движение.

Народ ищет новых путей, которые облегчили бы ему нелегкую жизнь. И он не остается безучастным, когда перед его глазами обнажают язвы, унаследованные от прошлого. Вот почему в Тегеране таким успехом пользовался спектакль, поставленный на подмостках одного кинотеатра.

Комедия показывала судьбу честного человека, учителя гимназии. Он был справедлив со своими учениками, старался привить им благородные чувства и не хотел покрывать грязные проделки своего начальства. Он поплатился за это — был уволен и долго не знал, куда приложить свои силы. Но как только, послушав чужого совета, он сошел с честного пути, так жизнь стала легка и приятна. Путем различных мошенничеств он стал богатым человеком, а богатство принесло ему силу, общественное

положение, низкопоклонство окружающих. В остром диалоге комедии было много метких поговорок. Положение героев, неожиданные повороты сценической интриги вызывали в памяти привычные, выхваченные из жизни ассоциации. Между тем это была лишь старая французская комедия нравов, ловко приспособленная к условиям местной жизни. Но никто этого не знал, а если бы узнал, никто не поверил бы этому. Все жадно смотрели на сцену, откуда впервые раздавались слова горькой правды. Вероятно, с таким же огромным волнением в свое время демократическая молодежь воспринимала сцены гоголевского «Ревизора». Большой зал, переполненный взволнованными зрителями, грохотал от аплодисментов. Порой, казалось, зрители забывали, что перед ними актеры. Они воспринимали комедию, как большой кусок жизни и считали себя его участниками. Они не только смотрели, громко смеялись и аплодировали. Они вскакивали со своих мест, подавали острые реплики, свистели, кричали и вмешивались в действия, как бы желая повернуть события в другую сторону. Жандармские офицеры, сидя в ложах, поглядывали вниз и хмылялись.

Тегеран поглощен внутренней жизнью страны, но каждый здесь пристально следит за развитием мировой войны. Правда, война кажется здесь отдаленной, однако она волнует столичного жителя. В областях, отдаленных от столицы, можно встретить людей, которые имеют самое смутное представление о том, что происходит за пределами их селения. Чаще всего это представители племен, живущих в условиях родового быта. Примитивная культура этих племен, заброшенных среди гор или расположившихся вокруг небольших оазисов. Крайне ограничены их представления о внешнем мире. Я встречал людей, которые никогда не бывали в городах и которые даже не знают, что в Тегеране правит новый шах и существует центральное правительство. Они глубоко убеждены в том, что верховная власть принадлежит местному шейху или, самое большее, генерал-губернатору области. Многие только смутно слышали о происходящей войне.

Этого пет и, разумеется, не может

быть в Тегеране. Тысячами невидимых нитей этот город всегда был связан с большой политической крупницей держав. Волны, вздымавшиеся в широком мире, размывали землю Ирана, подтачивали его государственную независимость. С тех пор как вспыхнула мировая война, над Ираном нависла еще большая опасность: многоголовая фашистская змея вползла в Тегеран в надежде проглотить всю страну. В центре города был создан «коричневый дом», щупальцы которого должны были охватить и задушить всю экономическую, политическую и культурную жизнь страны. Расчет был таков: овладеть всем Ираном, превратив его в поле боевых действий. Стремясь завлечь иранцев в свои смертоносные объятия, фашистские сирены пели о мире и дружбе, но весьма предосудительно построили в своем логовище, в «коричневом доме», вместительное бомбоубежище. Это была единственная постройка такого рода в Тегеране. В конце концов логово было разоружено, фашистские сирены в Тегеране умолкли, а Иран как самостоятельное независимое государство вступил в союз с Советской страной и с Великобританией.

Иран не принимает непосредственного участия в войне, но помогает союзникам, как может. Расширяются старые дороги, строятся новые, чтобы ускорить прохождение грузов из Англии и США в Советский Союз. По этим дорогам идут в СССР большие колонны машин. Каждое утро над городом пролетают американские самолеты, поступающие на вооружение Красной Армии. В условиях войны Тегеран превратился в один из наиболее оживленных пунктов международного общения союзников. В столице Ирана встречаются теперь советские люди, англичане, американцы, чехословаки, сторонники движения сражающейся Франции, свободные бельгийцы, поляки, норвежцы, индийцы — весь мир, поднимающийся на борьбу против фашистской чумы. Всех принимает Тегеран с гостеприимством Востока. В мире немного осталось городов, которые еще живут мирной жизнью. Тегеран не затронут войной. Он стоит в стороне, но к нему сходится много дорог, устремляющихся к вершинам Победы.

4. У англичан

Раннее утро. Легкая фиолетовая дымка медленно сползает с горной гряды, и большие плотные тени уходят с новозделанных полей. Еще несколько минут, и уже все залито ослепительным солнечным светом; вдаль — холмы, высокие и оголенные, скромно украшающие желтую песчаную степь; по ней проложено широкое шоссе. Кажется, будто вся дорога залита водой; это в солнечных лучах сверкает мелкий гравий, в блестящем от накала асфальте. Эту часть пути называют почему-то «дорогой шаха».

Позади остался Тегеран — европеизированная столица, «Париж Востока». Впереди — подлинный Иран. Все та же земля, выжженная солнцем и ветром. Все те же глухие глинобитные селения, где только изредка промелькнет человеческая тень. Все те же верблюды, медлительные и заводящие тоску. Все те же мулы, безропотные и выносливые, — на их спине огромные тюки и тут же по бокам свисают большие жестяные банки из-под бензина. Дорога вьется вдоль высохшей реки Казвин и уходит на запад. Она ведет к славящемуся коврами Хамадану, к живописному Керманшаху и далее, через глубокое и узкое ущелье Потахт, — в Ирак, к сказочному Багдаду. Чем дальше, тем оживленнее становится дорога. На ней работает много людей. Мужчины и женщины расширяют дорогу, ремонтируют ее, а черномазые ребята помогают им в этом. Каждый добывает себе пропитание, как может.

В селении Снях Дегене у бензинового колонки служитель, завидя иностранца, спросит, не говорите ли вы по-английски, и на английском же языке расскажет о достопримечательностях здешних мест. Провожая, он пожелает удачи и счастья, а влобавок поднимет ладонь, чтобы показать два раздвинутых пальца — указательный и средний. Ребята, стоящие на обочине дороги, тоже растопырят два пальчика и что-то прокричат вам вслед. Пожилой крестьянин приветливо и с поклоном приподнимает войлочную шляпу, а молодой дорожный работник обязательно покажет вам на пальцах тот же знак. Это знак «V» («Victory»), условный знак победы. Он родился в

самом сердце Европы — в Чехословакии, в тот день, когда немецко-фашистские полчища вторглись туда. Этот знак провозвучал как призыв к борьбе за победу. Ежедневно знак «V», начертанный мелом, немцы стирают в предместьях Парижа. Ежедневно он снова появляется там. Но и здесь, по этой дороге, знак «V» можно видеть и на глинобитных хижинах селян, и на пальцах ребят и дорожных рабочих, и на белых флажках проезжающих автомобилей.

Здесь проходит много машин, автобусов, грузовиков. Многие грузовики имеют над кабиной большую бляху, — на ней выведены буквы «I. K. S. S.» — название транспортной компании, перевозящей грузы, которые поступают из-за границы для Советского Союза. На бляхе нарисованы флаги союзников — советский, с серпом и молотом в углу, и британский «Юнион Джек». Замедлив ход, шофер повстречавшейся машины протянет руку, чтобы тоже подать на пальцах сигнал победы. Машины покрыты густым слоем пыли, и почти невозможно различить их окраску. Из-за пыли невозможно видеть и сидящих в них людей. Только большой индийский тюрбан на голове водителя напоминает, что эта машина принадлежит какой-то английской воинской части.

Дорога делает несколько крутых зигзагов и огибает гору Кух-Пау, на вершине которой даже в первые летние месяцы все еще держится белоснежный покров. На огромной скале, против восходящего солнца, высоко над тем местом, где сливаются реки Гамас-Аб и Аб-Диншвар, сохранился огромный барельеф. Этот величественный памятник воздвиг здесь когда-то персидский царь Дарий, чтобы через многие века пронести далекому потомству весть о его победе над Вавилоном. Немного ниже — клинописная запись, высеченная на скале. На древнеперсидском, ассиро-вавилонском и эламском языках она подробно рассказывает о великих опасностях, угрожавших государству, о превратностях войны и о конечной победе над врагами. Прелюбопытный Дарий приказал уничтожить все выступы в скале, чтобы человек не мог прикоснуться к барельефу и испортить надпись. Вот почему памятник, высеченный почти две с половиной тысячи лет назад,

сохранился до сих пор, и только разрушительная сила подземных вод не совсем-то посчиталась с волею Великого персидского царя. Скала называется Бисустун — «местопребывание богов». У подножья горы бьют родники и источники. С давних времен здесь останавливались для отдыха армии и караваны. И теперь недалеко отсюда, ближе к городу, разбиты палатки большого английского военного лагеря. Здесь устроен своего рода перевалочный пункт, лагерь отдыха для английских частей, которые передвигаются по этой дороге из Ирака в Иран и обратно.

У лагеря — огромная вывеска, раскрашенная в желтый цвет. Ее видно издалека. Она возвещает: «Заезжий дом. Отдых для путешественников. Здесь разрешается распитие пива». Тут же подпись: «Трактирщик Чаплин». А под нею юмористический рисунок: две свисающие с постели большие ступни спящего человека. «Трактирщиком», почти полновластным хозяином, является здесь сержант Чаплин: однофамилец великого американского артиста ведаёт всеми хозяйственными делами лагеря. Его все знают. Вместе с офицерами он показывает нам свои обширные владения. Тут же, в шуточной форме, он воздаёт должное майору, открывшему в себе талант инженера: из глины, пустых жестяных банок и старых заржавленных труб майор соорудил в лагере примитивнейшую кухню и баню с замысловатой подачей нефти и горячей воды. Как работает эта установка? «Ол райт» (All right), — отвечает сержант. Устройство таково, что нефть странным образом не попадает в суп. Разве этого не достаточно, чтобы потребовать патент? Все смеются и громче всех майор-изобретатель.

В лагере людей немного. Одни уже уехали, другие еще не пришли. Но на дороге большое оживление: приходят большие колонны англо-индийских частей. Они располагаются поодаль. Ближе, там, где дорога поворачивает к городу, в складке гор расположился другой лагерь. Здесь разместился штаб.

У входа в лагерь нас остановил молодой солдат — индеец из племени гурков. На нем зеленая мягкая шляпа с широкими полями, опу-

ценными на одну сторону. Слева у пояса привязан револьвер, а справа — огромный кривой нож. Таким он походит больше на ковбоя. Подвижной и проворный, он быстро пробежал в дальнюю палатку и, повидимому, не найдя там офицера, на мотоцикле помчался в штаб. Вскоре в одной из палаток, более вместительной, нежели остальные, нас принял генерал Майн. Он сидел за большим столом, сбитым из досок. Вокруг него сидели офицеры. Спокойно и как бы взвешивая каждое слово, генерал говорил о том, как важно для английской армии установить контакт с советской армией и ее генералитетом. Офицеры почтительно слушали его. Затем один из них, бригадный генерал Керруайт, повез меня в свою часть.

То была индийская танковая бригада. Всего лишь сутки, как она разместилась здесь в открытом поле, у подножья горы, но и на этой голый земле она уже успела обжиться. По команде экипажи быстро заняли свои места и тотчас же замерли. Высокие, статные фигуры солдат облачены в комбинезоны зеленого цвета. На ногах — мягкие туфли. На голове — зеленые тюрбаны различной формы. Солдаты долго молча стояли, устремив глаза вперед, и каким-то притоптыванием приветствовали проходящего командира. Их смуглые лица, их высокие коренастые фигуры застыли в напряженном внимании. Раздается новая команда, и экипажи быстро и ловко забираются в машины.

Командир доволен и машинами и людьми. Эти танки только недавно прибыли из Соединенных Штатов Америки, и он считает, что индийские солдаты хорошо освоили технику новых подвижных крепостей. Солдаты охотно показывают моторы и вооружение своих машин, и в особенности их радует установленный на танке зенитный пулемет. В каждом танке — небольшое походное хозяйство: металлическая аптечка с большим набором медикаментов и даже маленькая, компактно сконструированная, кухонька, вполне достаточная, чтобы обслужить экипаж. На всем лежит американское клеймо.

Заботливо показывая каждую мелочь, солдаты улыбались, как дети, которые радуются полученному по-

дарку. Они выглядят значительно старше своего возраста, возможно, потому, что их мужественные лица украшены усами и бородой. Эти солдаты принадлежат к наиболее воинственным племенам Индии — сикхи, патаи, роджмут, гуркасы. Не первый год они служат в английской армии. Но впервые они пришли на Ближний Восток, чтобы защищать свою страну от гитлеровской опасности. Один солдат из племени гуркасов сказал: — Я еще никогда не встречал немецких солдат и не знаю, хорошо ли они дерутся, возможно, что они дерутся хорошо, но я всегда готов их атаковать, где угодно, — здесь или в Европе. — Ему можно помирить, этому коренастому индийцу с живым, открытым, энергичным лицом. Гурки имеют славу замечательных ползунов. Они предпочитают встретиться с противником на близком расстоянии и любят пользоваться своим национальным оружием — большим кривым ножом. Джамадар, индийский офицер, добавил при этом: — Если придется, мы будем драться с немцами так, как дерется Красная Армия. У вас многое иное — природа, нравы, религия и форма одежды. Но у нас общая цель, — он показал два пальца, — победа. Недавно я видел русский фильм «Разгром немцев под Москвой». Это поучительный фильм.

Позднее бригадный генерал рассказал мне, что этот фильм вызвал огромный интерес и среди английских офицеров. «Теперь ясно, — говорил он, — что Гитлера можно разбить. Ясно также, что Гитлер совершил две роковые ошибки. Он напал на Россию, полагая, что это огромное государство, где живет свыше ста национальностей, распадется на свои составные части. Фильм показал, что уроженцы Туркестана и Сибири защищают Москву, как свой родной город. Гитлер полагал также, что после первого удара наступит распад Британской империи. Он мечтает о захвате Индии, но и тут он просчитался. Ясно одно: Индия против Гитлера, индийские солдаты будут драться против него. Для восточных народов такое большое значение имеет наша война в бассейне Средиземного моря. Там из каждых одиннадцати кораблей дер-

жав оси семь мы отпразднили на дне. Может быть Гитлер в Ливии еще будет иметь кое-какие успехи. Но Ливия для него то же, что Испания для Наполеона, когда тот вторгся в пределы России: рука тирана прострелена там, она постоянно кровоточит, и Гитлер никогда не сможет жмать ее в «кулак».

Не все офицеры разделяют это мнение. Молодой белокурый капитан, подумав, сказал, что он смотрит на вещи значительно проще. «Нужно,— говорит он,— чтобы союзники с обеих сторон схватили Гитлера за горло и начали душить его. Тогда из его коченеющих рук выскользнет и Ливия и многое другое. Массовые палеты английской авиации на Рур и на Кельн — это только начало».

Нашу беседу прервал старший сержант. Он пришел пригласить нас, советских людей, в сержантский клуб. Он пригласил туда и офицеров, которые, по старой армейской традиции, иначе не могут туда войти. Большая палатка, перегороденная на две части: одна должна изображать собою столовую, другая — гостиную. Все здесь, разумеется, весьма примитивно, но имеется радиоприемник, на столе — несколько журналов. На стене — обязательный круг для метания стрел — любимая игра английских солдат. Прерванный разговор здесь возобновляется. Некоторые англичане высказывают свои мысли отвлеченно. Один говорит: «Нужно защищать страну не там, где находишься, а там, где это целесообразно». Другой говорит более определенно: «Футбольная команда, если она только отбивает мяч от своих ворот, никогда не выиграет матча. Команда должна быть охвачена наступательным духом, а каждый ее участник должен играть в полном согласии с другими. Только тогда команда может рассчитывать, что ей удастся одержать победу. Конечно, война более серьезная вещь, чем футбольный матч. На войне нет времени тренироваться, нужно действовать, а это влечет за собой известный риск. Но разве бездействие не влечет за собой еще большего риска?»

Вместе с английскими офицерами мы сидели у подножья Кух-Пару в палатке, где индийские солдаты угощали нас австралийским сыром, крепким цейлонским чаем и новозе-

ландским консервированным молоком. Англичане живо интересовались боевыми днями Красной Армии, величественной простотой подвигов, на которые способен советский боец. И когда майор заметил, что хотел бы лично посмотреть, как дерется Красная Армия, другой офицер, почти еще безусый капитан, сказал: «Нет, скорее бы и мы поинди в дело, чтобы принести Европе...», — и он показал два раздвинутых пальца — условный знак победы.

5. Поездка в Ирак

По привычке в «дугласе» люди расположились, как в теплушке. Одни сразу улеглись на пол и, прикрывшись кожанкой, крепко заснули. Другие, сидя на скамейке, тихо беседовали или дремали. Мой сосед держал в руках иллюстрированный журнал «Имаж», издающийся в Каире, и долго рассматривал снимок советского партизана, готового бросить бутылку с горючей смесью в проходящий по дороге фашистский танк; под снимком была подпись: «Коктейль Молотова».

Все эти люди совершают очередной рейс: в одну сторону — в качестве летчиков, штурманов, радистов, в другую — в качестве пассажиров. Еще совсем недавно эти командиры Красной Армии были участниками воздушных боев с немцами. Многие отмечены высокой правительственной наградой. Теперь им поручено другое дело — вести американские бомбардировщики в Советский Союз. Только вчера они перегнали по воздуху группу американских самолетов на советский аэродром. Вечером, на обратном пути, они остановились в Тегеране, чтобы немного отдохнуть; кто дочитывал книгу Стендаля «Красное и черное» (эту книгу здесь читают поочередно), кто забавлялся с «Кумой», маленькой востроглазой лисичкой, любимицей всего общежития, кто писал письма жене, родителям или друзьям. А сегодня, еще на рассвете, они снова поднялись в воздух, чтобы успеть добраться до английской воздушной базы в Ираке и перегнать оттуда в Советский Союз еще одну группу американских самолетов. И так каждый день. Это чертовски утомительное дело. Но кто теперь говорит об

этом? Война! Говорят о другом: «Перегоном самолеты и сами еще позволюсь».

Наш «дуглас» прошел над высокими, совсем оголенными серо-бурыми грядками гор. Вдали серебрится могучий поток, — там сливаются реки Тигр и Евфрат. В библейские времена здесь были плодороднейшие земли. По древнему преданию, где-то здесь был рай Адама. Евы. Теперь здесь ничто не напоминает о райской жизни. За Шат-эль-Арабом, могучей, глубокой и многоводной рекой, по которой поднимаются океанские корабли, — бесконечная песчаная желтая пустыня. Самолет снижается, идет на посадку, и сразу становится жарко и душно, — а ведь утро еще только начинается. Солнце слепит глаза, и нужно время, чтобы, приоровившись, разглядеть что тебя окружает. Недалеко от аэродрома стоят несколько огромных ангаров; их высокие металлические каркасы выглядят странно среди этого спокойного безграничного моря песка. Более подходящими здесь были бы палатки смуглых бедуинов.

Впрочем, несколько в стороне стоят и палатки. Когда-то они, повидному, были белыми, теперь, покрытые пылью, они выглядят так же уныло, как и эти бесконечные пески. Палатки обычно плотно закрыты, — и все же, когда поднимается ветер, пыль пробивает все. Но и безветрие не дает облегчения, — палящий зной сковывает движение, сушит горло и заставляет искать тени. Две огромные лопасти своим вращательным движением создают в палатке подобие легкого ветерка. В углу — кровать. Над ней спущен большой белый тюлевый полог. Это не девичье украшение, это предосторожность. Против москитов, которые могут совсем отравить существование в этих безрадостных местах, люди нашли управу — «флит»; эту распыляемую жидкость здесь называют «черной смертью». Но нередко появляются и другие, тоже непрошенные и еще более опасные гости — маленькие, но смертоносные фаланги, отвратительные скорпионы. Остается только утешаться тем, что в других местах — в Ахвазе, в Бендер-Шахпуре, еще хуже — там в дома непринужденно вползают и змеи.

Сначала трудно разобраться, кто они, эти люди, которые выходят из палаток, работают на аэродроме. Все одеты одинаково: короткие брюки и легкая рубашка, на ногах — туфли и чулки ниже колен, на голове — шлемы из пальмовых листьев или из пробки, перетянутые зеленой парусиной. Все носят огромные темные очки, защищающие глаза от ослепительного солнца. В ангаре их различить уже легко. Здесь в два ряда стоят бомбардировщики. Несколько человек потрошат вскрытое брюхо этих огромных металлических чудовищ. Один из работающих снимает шлем и рукою вытирает пот со лба, на который свисают вихрастые волосы. Его одежда более чем у других покрыта масляными пятнами: видать, он не боится никакой работы. Если приглядеться, вскоре можно заметить, что он работает каким-то иным стилем и иным темпом. Другим работают легко, насвистывая мелодию модной легкой песенки, а этот делает свое дело сосредоточенно, напряженно и глядит на вещи каким-то особым, хозяйским взглядом.

Их здесь немало, московских механиков, техников и инженеров. Все они заняты одной мыслью: нужно все сделать, чтобы американский самолет, прибывший на эту английскую базу, поскорее был отправлен отсюда в Россию. Вот почему с раннего утра и до полудня, когда зной становится невыносимым, а затем вечером, когда жара спадает, — до поздней ночи, — они находятся в ангарах, работают, работают и работают. Английские и американские мастера только диву даются. Некоторые по простоте душевной раньше советских рабочих пользоваться молотком. Теперь одни смеются, другие смущаются, когда вспоминают об этом. Учить никого не пришлось. — сразу развернулась работа. Наши объяснили просто: «Нет времени раскачиваться. У нас война! Понятно?» — Высокий рыжеволосый американец, старый опытный мастер, кивает головой: «О, yes! У нас тоже война, затемнение городов и воздушные тревоги. Но у нас, в Лос-Анжелосе, я не видел такой работы». — «Привыкать нужно», — кто-то отвечает ему по-русски, поясняя свою реплику замысловатой жестикуляцией. «Нам с вами нельзя работать и-го-ля».

Никто точно не знает, что означает это «и-го-ля», но все понимают, что имеется в виду. Советские люди, недавно сюда приехавшие, заметили, что арабы, асфальтируя дорогу, четвером поднимают легкую колотушку и, выкрикнув «и-го-ля», быстро ее опускают наземь. Так и повелось работу с прохладцей называть «и-го-ля».

Русские, англичане, американцы, — здесь все работают дружно, хорошо и быстро, хотя у каждого из них своя манера и в работе и в отдыхе. Мартин, английский сержант, четко организует работу, устраняет дефекты и всячески ускоряет сдачу самолетов Красной Армии. Наши люди называют его поэтому стахановцем, и он очень доволен этим. Здесь, на этой арабской земле, под крышей громадных ангаров, замечательно сочетаются деловая организованность янки, спокойная методичность англичан и наша советская работа с огоньком. Здесь сплавляется многообразная энергия людей, объединенных борьбой против общего врага...

Раздается сигнал — время завтракать. Англичане и американцы уходят в свои палатки. Советские механики обычно задерживаются, чтобы закончить начатую работу, затем, умывшись, идут в месс — огромную палатку, где помещается столовая. Начинается ланч. Между столами проворно бегают официанты-арабы в белых костюмах. За буфетом стоит индеец-сержант. Появляется английский капрал, — он наблюдает за порядком. Приходят завтракать и советские летчики. Шум возрастает, и слышна речь русская, английская, арабская и индийская. Как обычно, при таком смещении языков появляются условные выражения, понятные всем. Русские лихо произносят «Ол рэйт», «О кей!» «Финиш» и даже пытаются произносить арабские или индийские слова. «Бой, — обращается майор к официанту, — give me (дай мне) beer. Понятно?» — Бой улыбается, о чем-то советуется с индийцем, снова улыбается, и видно, что он ничего не понял. Майор жестом тысящет, что он хочет пить, и говорит: — «Пиво, понятно?» — Официант оживленно кивает головой: — «О, yes, пиво? — Пиво?» — и он делает прощальный жест рукой, — до свидания». — Все поняли, что пива сейчас нет. Здесь все привозное и нет ниче-

го местного: папиросы — индийские, сыр — австралийский, пиво — тавризское, шотландское, американское, — в консервных банках, и даже шанхайское и голландское, повидному, из старых запасов. А московские газеты поступают сюда двух- и даже трехнедельной давности. Каждая вещь, особенно ценна, и каждого, приехавшего из Союза, здесь встречают, как родного. Велика была радость, когда в мессе узнали, что в Басру на Шатэль-Араб прибыл советский пароход.

Пароход назывался «Арктика», — подходящее название в условиях здешнего климата! Когда мы отплыли на корабль, термометр показывал почти 60° выше нуля. Несколько десятков километров мы проехали по пустыне, раскаленной солнцем. Вдали показалось море, омывающее небольшой островок, украшенный салом. То был мираж. Кое-где видны были окопы — свидетели борьбы против итало-германского ставленника Рашида Али Гайлани. Этот мятежник сбжал в Берлин и оттуда пытается вести свою подрывную работу.

Но в Ираке спокойно. Как и раньше, бедуины кочуют со своим скотом по пустыне. Шумно и многолюдно на площади в арабском селении Аз-Зубер; после нелегкой работы на дороге приятно зайти под навес, сесть на широкую скамейку, покрытую циновкой, заказать стаканчик крепкого цейлонского чая и погугорить с приятелем или послушать багдадское радио.

Нормально течет жизнь и в Басре. В этом городе, в той его части, которая прилегает к реке, много цветов и пальмовых растений. На довольно широких улицах и на площади, украшенной изваянием льва, много пешеходов, велосипедов и машин. Но большая часть города изрезана кривыми и узкими улочками, дома близко теснятся один к другому, а выступы живописных балконов создают впечатление, что дома сплелись своими верхними этажами. Бойко идет торговля на большом крытом базаре. Арабы, в белых живописных балахонах, спускаются до пят, подпоясанные и босые, в белых чалмах, останавливаются у мастерских, чтобы купить серебряный перстень, или заходит

в чайную, чтобы сыграть в вост. Здесь знают, что ничто не угрожает мирному труду. По улице двое несут огромные плакаты, — на них напечатаны сводки советского инфорь-бюро. Арабы читают эти сводки, и тотчас же приятели начинают оживленно обсуждать последние сообще-ния.

Иногда проходит группа англий-ских солдат. К ним привыкли. Но проходящий командир Красной Ар-мии всегда вызывает большой интэ-рес: его разглядывают с любопыт-ством и с симпатией. Многие не зна-ют, кто этот человек, одетый в столь непривычную военную форму. Затем показывают на сапоги, спрашивают: «Русси?» — и добавляют: «О, русси, верп гуд!» (О, русский, очень хоро-шо!). Подростки идут след и, ка-жется, они не хотят расставаться с вами. На набережной услужливые арабы предлагают вам яряо раскра-шенную гондолу, быстро расклады-вают подушки, чтобы удобней было сидеть, и отвозят к пароходу, на котором развевается советский флаг.

Здесь — кусок родины, советские люди, вольная русская речь и ши-рокое русское гостеприимство. Мо-ряки «Арктики» пришли сюда с гру-зом из Владивостока. Они побывали в Гонконге и в Манилле, в Сингапу-ре и в Калькутте, в Коломбо и в Карагге. За долгие месяцы плавания в Тихом океане и в южных морях, где развернулась война, они многое видели и многое испытали. До поздней ночи мы сидели в кают-комп-ании и слушали простое повествова-ние смелого и опытного моряка, умного и спокойного капитача «Ар-ктики».

Утром мы проснулись, услышав громкий голос московского диктора. Солнце стояло уже высоко. Шат-эль-Араб, могучая «река арабов», где во-дятся меч-рыба и акула, светилась тысячами солнечных бликов и все-гда казалась темнее яркого южного неба. Огромные океанские парохо-ды — английские, американские, нор-вежские и греческие, — проходили мимо «Арктики», закрывая на время украшающие берега пальмовые ро-пи. В порту уже было оживлению. Московский диктор, иногда заглу-шаемый протяжными гудками паро-ходов, читал сообщение о поездке то-варщица Молотова в Лондон и Ва-шингтон и текст договора о союзе

между Англией и СССР. Затем он прочитал коммюнике о достигнутом полном согласии относительно неот-ложных задач создания второго фронта в Европе. Едва закончилась передача, как к борту «Арктики» пришвартовался катер и на борт поднялись офицеры английской и американской военно-морской мис-сии. Они пришли поздравить совет-ских людей с заключением договора, который будет иметь историческое значение для судеб всего человече-ства. Они уполномочены были при-гласить советских людей на празд-нество.

Вечером в саду английского коп-сула состоялся прием. У входа раз-вешены были огромные стяги объе-диненных наций — советский, ан-глийский и американский. Стяги украшены были портретами Сталина, Черчилля и Рузвельта. Гремела му-зыка, — она исполняла русские, ан-глийские и американские песни. Англичане и американцы, свободные французы, бельгийцы и арабы — именитые представители города Бас-ра чествовали представителей Крас-ной Армии. Здесь царил подлинная непринужденная близость людей различных наций, профессий и взглядов, понявших необходимость не только объединения, но и актив-ных совместных действий, чтобы спасти жизнь, свободу и честь на-шего и будущих поколений. В пол-ночь мы возвращались к своим па-латкам, и впервые пустыня Ирака слушала замечательные песни со-ветских людей — командиров Крас-ной Армии. Каждый раз, когда кон-чалась песня, шоферы и солдаты английской армии оборачивались и радостно говорили: — Ол райт! Ол райт! — Вдали виднелись яркие огни; там в английских ангарах люди продолжали трудиться, чтобы в ис-правности передать американский самолет летчикам Красной Армии.

Едва светает, а на аэродроме ра-бота уже кипит. Возле самолетов хлопочут английские механики. Май-ор Робертс, англичанин, отличный знаток технической части, отдаст последние распоряжения. Тут же стоит несколько американских лет-чиков, очень опытных: каждый из них имеет большой налет — не ме-нее 500 часов, а некоторые даже 3 000 часов. Среди них — капитан Элинсон. Этот невысокий, всегда

удыбалоющийся американский летчик как-то сразу располагает к себе людей, и с самого начала у него установились дружественные отношения с советскими летчиками. Он побывал в Архангельске, в Куйбышево и в Москве и после первого посещения Большого театра навсегда заболел балетоманией. Немного, но всегда охотно, он говорит по-русски, а когда не может подобрать нужного слова, он щелкает пальцами и смеется. Иногда он уютребляет выражения несколько неожиданные: — Я не понял не черта! Он понял черта! — и подзывает из автомобиля своего товарища. Это летчик из Панамы, который немного говорит по-французски. Он прилетел сюда из США, преодолев широкое пространство океана и трех континентов. Он знает, что машина, которую он провел сюда, передана в надежные руки отважных людей.

Советские летчики быстро и хорошо освоили сложный механизм американских самолетов. Это было нелегко, тем более, что при изучении машины приходилось пользоваться услугами переводчика, а практика была затруднена тем, что в кабине нет места для лишнего человека. Но и тут на помощь пришла русская смекалка. Майор Лукин лег под колпак и, расположившись позади сиденья пилота, наблюдал за управлением. Этот пионер освоения амери-

канских бомбардировщиков вызвал искреннее восхищение трех американских пилотов авиации, наблюдавших его первые полеты. Теперь он обучил и многих наших летчиков.

Нелегко их труд. Самолет отрывается от земли и вскоре должен пробиваться сквозь песчаную дымку. Видимость обычно плохая. Он летит над местностью, которая на карте помечена: «Не обследовано», и вскоре поднимается на большую высоту, преодолевая бесконечные гряды огненных гор. И впереди его ждут горы, пустынные равнины, морские пространства и снова горные пики под снежным покровом. По маршруту часто и быстро меняется погода: облака, дожди и сильные грозы. Быстрое и резкое изменение температуры — от 60° на аэродроме в Басре до заморозков на высотах, в горах. Но чудодейственное сознание преодолевает утомление: впереди советский аэродром. Каждый день там приземляется новая группа американских самолетов.

А на аэродроме в Басре английский мастер, взобравшись под крыло самолета, перекрашивает американскую белую пятиконечную звезду в красную, советскую. Окончив работу, он, посвистывая, отходит в сторону и, глядя на опознавательную звезду, говорит: «О кей!»

Николай СТАРОСТИН

ДЕСАНТНИКИ

Посвящается героическому Ленинско-Сталинскому, дважды орденоносному Кавказскому

1. Курс на запад

Плотную вязкую тьму беззвездной ночи пропорола красная ракета. Сигнал к старту. Грохочущая, ревущая тьма пришла в движение. Один за другим, с небольшими, но ровными интервалами берут разбег тяжелые воздушные корабли. Зеленые и красные звезды — бортовые огни — парами уходят вдаль от старта, поднимаются, набирают высоту и проплывают вокруг аэродрома, как бы в прощальном салюте. Потом ложатся на курс строго на запад.

Сегодня у пилотов не совсем обычный рейс. Их машины полны людьми, одетыми в белые костюмы, у каждого «пассажира» за плечами парашют и объемистый вещевой мешок.

Люди ведут себя как-то особенно. Повышенная пытливость молодых лиц выдает беспокойство, но все сдерживают свое волнение. Хочется приотдвинуть еле заметно занавеску и взглядываться, взглядываться в мчащуюся мимо глухую черную стену ночного неба: для большинства — это первый боевой полет.

Старшие по кораблям еще раз напоминают задачу. Она сложна и ответственна.

В районе деревни, которую мы условно будем называть Лучи, пролегают два большака, связывающие немецкий фронт с тылами: с юго-запада по железной дороге фашисты подвозят боеприпасы и горючее, а с

северной стороны подтягивают людские резервы и продовольствие. Пункт сильно укреплен.

На этом участке фронта известный советский генерал товарищ Б. ведет наступление. Он теснит фашистские войска на запад. Надо помочь ему бить врага с тыла. Бить, не давая передышки.

Немец, отступая, хочет отвести свою технику — надо портить дороги, превращать их не только в непроезжие, но и непроходимые. Фашист бежит, но награбленное добро хочет вывезти, — надо взорвать мосты, разобрать железнодорожное полотно.

Фриц замерзает, он лезет в избу. Нельзя пускать его отогреваться!

Фриц знает, как радуется население, видя бегство грабьармий. Бешеный зверь хочет сорвать свою злобу на беззащитных женщинах и детях. Не пускать его в деревни и села — гнать подальше!

Колхозники добывают оружие у немцев, достают свое, спрятанное, идут в партизанские отряды. Надо помочь им организовать...

...До выброски остался час, командир еще раз проверяет все до мелочей.

Осматривая снаряжение соседа, заметив чересчур сосредоточенный взгляд, весельчак Ваня Галдин стал рассказывать, как в соседней части задолго до полета полковник Казанкин проводил проверку.

С утра всем объявили, что состоится вылет. Приказано было приготовить, получить боеприпасы, продукты, белье и уложить в вещевые мешки. Все волнуются, радостно торжуются, ждут. Вскоре появился полковник, поздоровался и спрашивает: — Ну, орлы, готовы к полету в тыл врага?

— Все в порядке, — ответил боец Иванов.

— Хорошо, что все в порядке, — сказал полковник.

И подал команду:

— Боец Иванов, вы приземлились, на расстоянии четырех-пяти сот метров на нас идут немцы. Огонь! — и тут же добавил: — В вашем автомате патроны нет, они расстреляны, в дисках патроны тоже израсходованы.

Иванов быстро открывает вещевой мешок... а сверху-то оказались сухари!

В это время полковник говорит:

— Немцы продвигаются ближе, надо действовать быстрее и решительнее, товарищ боец!

Чтоб достать патроны, которые лежат внизу, Иванов быстро вытряхнул из сумки все содержимое. Но едва он успел взять запасной диск, как полковник ему снова:

— На вас, товарищ Иванов, идут фашисты, одни слева, другие справа, и в то же время вы видите в стороне от себя небольшой кустарник, откуда десантники ведут огонь по врагу. Фашисты не идут в лоб, они решили взять вас живым или раненым, и вот десяток фашистов уже насаждает на вас с флангов. К вам подполз связной и передает приказ командира: «Отстреливаться и немедленно отползть к своим».

Иванов хотел было схватить сухари и проглотить, но ему надо отстреливаться. Едва успел он собрать боеприпасы, а все остальное так и бросил, отползая к своим.

— Ну, вот видите, товарищи, что значит «все в порядке», — сказал полковник. — На первый взгляд это кажется мелочью. Но вы запомните еще раз и навсегда: в жизни Красной Армии мелочей нет, а особенно у нас, у десантников. Неправильно, небрежно отнесся товарищ Иванов к укладке вещевого мешка, — и остался без продуктов и запасного белья... На меньшее значение имеет и подгонка вещевого мешка, чтобы он не оторвался во время прыжка на пара-

шюте. Как смазать оружие, где и как его держать — все это нужно хорошо знать и точно выполнять.

Ну и смеялись же после над Ивановым! Так и пристало к нему с этого вечера прозвище «Все в порядке».

Галдин хотел что-то еще рассказать про Иванова, но в это время мотор заработал заметно напряженнее, и все поняли, что летчик набирает высоту. Видимо, скоро линия фронта.

Все замолчали. Выключили свет. И сразу еще ошутимее наполнил кабину тяжелый, надрывный гул мотора.

Вскоре внизу замелькали вспышки. Близо возникали и так же быстро пропадали огни разрывов. Немецкие зенитки били по самолетам.

Вдруг в окна упали мертвенно-белые лучи света: вражеский прожектор поймал корабль. Разрывы резко придвинулись, их стало гораздо больше. Свет прожектора не оставлял кабины. Пляшущие блики вырывали из тьмы напряженные голубые лица. Пилот мгновенно приглушил моторы, самолет скользнул вниз. Прожектор шарил уже где-то позади, по огненному столбу змей ползла длинная разноцветная цепь. Это зенитные пулеметы били трассирующими пулями.

Еще несколько минут, и линия фронта пройдена. Скоро в дело.

Старший по кораблю, лейтенант Батенко, оглядел сидящих в кабине.

Вот ближе всех к пилоту боец Безногов, он то приподнимается, то снова сядет и, не отрываясь, глядит в окно. Батенко его понимает: у Безногова мать и маленькая сестренка остались в фашистском плену в том районе, куда летит десант. Живы ли они сейчас? Удастся ли повидать их?..

Вот крепкий, коренастый, всегда спокойный и молчаливый Алексей Лашин. «Трудная задача предстоит тебе, Алеша, — подумал Батенко. — Но ведь все будет хорошо. Правда, Алеша? С таким характером хорошо быть разведчиком». И все же не догадывался Батенко, каким подвигом представит себя Лашин.

У самого люка дремал десантник Андреев. На вид ему нельзя было дать и восемнадцати лет. По широкому лицу Батенко расплылась улыбка. Он вспомнил историю этого «мелкокалиберного парашютиста».

Когда объявили набор добровольцев в парашютно-десантные войска, Андреев вместе со своими друзьями направился на комиссию. Его признали негодным. Обидело это заключение Ваньку: как так негоден? На районных соревнованиях по лыжам во Фрунзенском районе города Иваново занимал не один раз треть-четвертое место, с охоты ни разу пустой не приходил, — а тут вдруг негоден?

Андреев стал горячо уговаривать доктора принять его в десантные войска.

— Ну, кем хотите буду, ну, хоть поваром на первое время, я уже четыре года работаю по этой специальности.

Так и решили. Да помогло делу и то, что среди годных повара не оказалось.

Начались горячие дни учебы. Ванюшка приготовит завтрак, накормит бойцов и бежит на занятия.

Прыгают ребята с вышки, — уговорит услужить ему очередь, а не уговорит, так незаметно влезет и прыгнет. Отдельно учился собирать парашют.

И вот однажды был получен приказ о вылете. Никто не знал, что этот вылет учебный.

И в этот день Андреев работал особенно усердно и еще быстрее обычного приготовил ужин, а раздачу поручил своему помощнику.

На аэродроме он раньше всех надел парашют. Никто без смеха не мог смотреть на этого Паташона. Казалось, ходит какой-то самодвижущийся чемодан, из-за парашюта были видны только пятки да голова.

Затем Андреев исчез. На проверке его не оказалось. В это время он уже сидел в самолете: «воздушный заяц».

Когда открыли люк для прыжков, он выбросился первым: все боялся, как бы его не задержали.

Выпрыгнул-то первым, а приземлился последним. Да еще повис между двумя елками. И когда товарищи, смеясь, просили рассказать, как это произошло, Ванюшка смущенно оправдывался, уверял, что ему достался плохой парашют. Не хотелось признаться, что веса в нем маловато, парашют спускается как бы без груза.

Думали серьезно наказать повара за проделку, но бригадный комиссар Оленин приказал за самоуправ-

ство поругать, а за смелость зачислить в десантники. И вот теперь Андреев хотя и считал себя законченным парашютистом, но на всякий случай сидел поближе к люку.

«Какой замечательный народ...» — думал Батеню.

Десантник летит на борьбу в суровых условиях: холодно, окопоешь, и обогреться негде. Кругом враги, эти места сильно насыщены фашистскими войсками. Еще во время спуска на парашюте тебя могут подстрелить, может случиться, что парашют отнесет от друзей далеко, что тебе, раненому, никто не сумеет оказать помощь. Парашютист знает, что попасть к фашистам в плен — это верная смерть: повесят на строениях парашюта.

И все-таки люди добиваются зачисления их в десантные войска.

Пилот сбавил газ и пошел на снижение. Самолет делает глубокий вираж, звучит громкая команда: «Приготовиться!» Секунда. Штурман открывает люк, и «заяц», точно боясь, что и здесь ему попомашет доктор, падает первым. Парашютисты один за другим торопливо выбрасываются вслед за Андреевым. На лету поправляют лямки, делают разворот своему куполу по направлению ветра. Изнизу расстилаются большие белые поля. На их фоне резко выделяются черные лесные массивы.

2. Попутный ветер

Небо расчистилось. Светало. Отделившиеся от самолета точки были видны издалека. Ветер гнал парашюты с большой силой.

Фашисты, услышав гул советских самолетов, в панике выскакивали из домов, думая, что предстоит очередная бомбежка. Вглядываясь в небо, они поняли, что идет выброска десанта.

...Старший политрук Здановский заметил, что на земле небольшие черные пятна медленно перемещаются по направлению полета его парашюта. Он неотступно смотрит вниз, пятна приближаются. Кто это, свои или фашисты?

Вот уже можно различить длинные, сутуловатые фигуры людей с автоматами наготове. Нет сомнения: внизу фашисты. Они не стреляют, очевидно, потому, что решили взять советского десантника живым. Пара-

плют неуклонно идет прямо на них. Быстро оглядываясь, Здановский видит, что остальные товарищи спускаются значительно южнее, к опушке леса. Здановского тоже стало относить в их сторону, но слишком медленно, слишком поздно.

Здановский с большим трудом просовывает руку за поясной ремень. Наконец ему удается достать гранату. «Карманная артиллерия» бьет с неба. Немцы, видимо, не ожидали таких гостей сверху, они шли кучно, и четверо из них уже корчатся в предсмертных судорогах.

Вот и земля. Но сейчас Здановский был не очень рад променять воздушный океан на твердую почву.

Группа немцев бросилась к советскому парашютисту, уже видны в их руках веревки: они хотят во что бы то ни стало взять десантника живым.

Что делать? В первое мгновение Здановский решил быстро окопаться и отстреливаться, но затем он почувствовал, что северный ветер усиливался — хлопающим парусом бился парашют. «Не гасить парашют!» — мелькнула полусознанная мысль. Это было блестящим выходом из тяжелого положения. Резкий рывок ветра вырвал землю из-под ног Здановского, подхватил парашют и поволок в сторону леса.

Немцы открыли огонь по этой необычайной двигающейся цели. Парашют быстро несло на высоте пяти — семи метров от земли. Из взметнувшихся за ним искрящихся столбов снежной пыли ударил огонь автомата. Это, барахтаясь, скользя на спине, комиссар повел по немцам ответный огонь.

С опушки гремели выстрелы: приземлившиеся бойцы прикрывали посадку своих товарищей. Отсюда было видно, в какую переделку попал Здановский, как подбирались к нему по глубокому снегу фашисты, предвкушая легкую добычу, и десантники, только что опустившись, что называется с лёта, поспешили на помощь.

Теперь Здановский несся им навстречу. На опушке они подхватили низко промчавшийся парашют, помогли отважному политработнику отстегнуть лямки и быстро освободиться от парашюта. Он, полулежа на спине, держал в руках автомат. Встав на ноги, как ни в чем не бывало, отряхнулся, и улыбка трудно

раздвинула его потрескавшиеся губы.

— Вот и я, сказала старушка, упав с четвертого этажа.

— Вот здорово, — сказал кто-то из бойцов, — так и ушли фрицы ни с чем!

— Как ни с чем? — не сдержался молчавший до этого повар Андрей: — Шли с веревкой, теперь на ней притащат четыре своих туши.

— Ну, Здановский! — смеялся Батенко, вытирая пот: он быстрее всех бежал на выручку товарищу. — Ты, выходит, по ошибке в десанниках, тебе бы морячком, да на парусничке. Выходит, для тебя всегда ветер попутный!

— Нам всем будет попутный ветер, товарищ лейтенант, — вставил Алексей Лашин, и озорная искорка мелькнула в его ленивых глазах. — Надо только уметь во-время швырнуть гранату и пострелять из ППП, а там ветер, он всегда поможет. Как говорится: на ветер надейся, а с ППП не плошай...

На опушке собиралось все больше и больше парашютистов, часть росла. Немцы беспрерывно освещали ракетами деревню.

Углубившись в лес, десантники стали разбиваться по своим подразделениям. Время терять нельзя: пока фашисты не успели опомниться и подтянуть резервы, надо выбить их из населенного пункта, овладеть им.

Через эту деревню открывался путь на Лучи.

Десантники приготовились к бою.

3. Белые ангелы

Ветер утих. В небе распростерлись гигантские тучи, повалил снег. Став на лыжи, десантники двинулись к деревне Н. Погода благоприятствовала. Снегопад скрыл парашютистов от немецкой авиации. Скорее вперед! Быстрота и натиск! — вот девиз десантников. Они уже подходили к деревне и развернулись для боевых действий.

В это время со стороны соседней деревни послышалась перестрелка. Никому из группы не была поставлена задача атаковать этот населенный пункт. Но сомнений не могло быть: там шел бой.

Что же это значило?

Позже все выяснилось. Метрах в десяти от околицы той деревни при-

землились отнесенные в сторону политрук Касперский, лейтенант Баканов и сержант Семещенко. Деревня снала крепким сном. Подойдя к крайней избе, парашютисты узгляли на двери бумажку с надписью на немецком языке. Десантники поняли, что тут устроились гитлеровцы. Решили взять «языка». Осторожно заглянули в окно: женщина топят печь. Касперский тихонько постучал. Старушка-хозяйка открыла дверь.

— Немцы есть?

— Есть! А вы-то откуда взялись? Небось, из окружения идете? Скорез тикайте отсюда, а то худо будет.

— Нет, мамаша,— прошептал Касперский.— Не из окружения идем, а в окружение пришли.

Старушка была совсем сбита с толку.

Касперский, оставив Баканова у дверей, пошел с Семещенко в дом. Когда они фонариком осветили помещене, то увидели на полу трех солдат, а немного поодаль, на кровати, офицера.

— Руки вверх!— крикнул политрук.

Солдаты, не вставая, потянулись к оружию. Офицер выглянул из-под одеяла и снова им закрылся. Один немец в ту же секунду выстрелил. Семещенко стал грузно оседать на пол. Касперский пригнулся и выронил фонарик, но тут же резко метнулся в сторону. Немцы изрешетили доски в том месте, где стоял до этого политрук. Вслед за тем Касперский дал очередь из автомата и услышал вопль.

Все разыгралось так молниеносно, что когда Баканов вбежал в дом и зажег фонарик, три немца лежали мертвыми, а офицер дрожал под одеялом: ему требовалось чистое белье.

Перестрелку в этой деревне слышали не только десантники. Немцы, внимание которых было приковано к опушке, откуда к ним двигались парашютисты, также услышали перестрелку и решили, что они окружены— надо немедленно уносить ноги. Два офицера бросили своих солдат и побежали огородами.

На пути они встретили колхозного сторожа Лагутина. Дядя Васильич, как его звали в деревне, давно славился на всю округу своей смелостью и веселым нравом. В юности он выходил с рогатиной на медвежью охоту, лихо пел песни— до старости сохранился у него звучный голос—

и был большой руки выдумщиком, любил и умел лукаво «разыграть» человека. Односельчане говорили о нем восхищенно: «Артист!» Но с тех пор, как пришли немцы, никто уже не слышал его песен, и не до шуток было ему теперь. Только сегодня, узнав, что в соседней деревне появились советские парашютисты, Васильич расцвел.

...Офицеры, запыхавшись, подбежали к Лагутину и ласково заговорили с ним, коверкая русский язык. Васильичу сначала это показалось сном. Он не мог понять, что произошло: немцы перед ним или нет? Когда же офицер протянул ему толстую сигару и зажег спичку, старик просто растерялся, на него нашел столбняк.

— Русски дед,— сказал офицер,— нам надо... надо ходить недалеко, километр десять, абер тихо. Там, где нет русс солдат, партизан.

— Что же, это можно,— сказал Васильич, смекнувший, в чем дело. Причина «ласковости» офицера была ясна, искорки веселого бешенства всыхнули в бедовых глазах старика.— Это можно, это мы, конечное дело, можем вас доставить. А только, господа хорошие, надо будет вам прикрыться на саях получше, а то меня партизаны по головке не погладят.

— Шнелль, шнелль!— торопили его немцы.— Быстро, быстро, можно прятаться, можно!

Васильич старческой рысью выбежал в сени, перескочил в скотный двор, едва не повиснув на плетне, вывел уцелевшую клячу, запряг ее в розвальни, положил сена и сказал немцам:

— Ложитесь, господа хорошие!

Офицеры утеглись в розвальнях. Васильич накрыл их сеном, а сверху дерюгой. В пути из-под дерюги выпунулась голова офицера с выпученными глазами. Он стал глядеть по сторонам: правильно ли старик везет.

— Нет уж, господин офицер,— недовольно закричал Васильич,— ты же выглядывай, а то как бы не заметишь! Чего доброго, неприятность заботага.

Офицер спрятался, Васильич легонько повернул лошадь. Фашистам забивалась в нос сенная труха и пыль с дерюги. Они чихали. Васильич, оборачиваясь, шептал:

— Типе вы там, погубите старика!

Подъехал он к деревне с лицом, расплывшимся в широкую улыбку, и поманил к себе пальцем группу бойцов и командиров.

Первым к нему подошел комиссар Распопов.

— А где тут у вас старшие будут?— спросил старик.— Вот груз привез. Сдать бы мне его надо ангелочкам, да побыстрее.

Ангелочками Васильич называл парашютистов: «беленькие, с неба спускаются».

— А что за груз?

— Да ты, сынок, глянь-ка сам лучше.

С этим словами Васильич приподнял край дюрюги. Из-под нее показались обалдевшие морды двух офицеров. Вокруг стояли бойцы с автоматами. Васильич сиял. Это была лучшая шутка в его жизни. Васильич потребовал у комиссара расписку, составленную по всей форме и удостоверяющую, что он в целостности доставил «ценный груз», старательно убедился в ее правильности и, вернувшись к розвальням, подстегнул клячу.

— Ну, рысачок, поехали искать новых пассажиров!

...Бой в деревне Васильича так и не состоялся. Солдаты, оставшиеся без офицеров, поспешили сложить оружие.

Первый же день боевых действий принес десантникам большой успех. Немцы никак не ожидали внезапного появления наших частей в этом районе, да еще с запада.

Итак, путь на деревню Лучи был открыт. Десантники могли приступить к выполнению своей задачи. Васильич стал их главным разведчиком. Да и все население окрестных деревень наперебой доставляло парашютистам сведения, которые были так необходимы для разработки плана операции.

Деревня Лучи полностью господствовала над прилегающей местностью. С воздуха она была похожа на большое седло. Из Лучей выходило несколько дорог, связывающих этот сильно укрепленный пункт с большим гарнизоном, охраняющим подходы к важнейшей дорожной магистрали. По большакам немцы подтягивали резервы к своему фронту, дававшему к тому времени много трещин.

В Лучах было расположено до пятисот немецких солдат, артиллерийская батарея, несколько минометных батарей, станковые пулеметы. Вокруг деревни были построены сплошные ходы сообщений, под izbami сооружены доты, по чердакам хитро раскинулась сеть снайперов и автоматчиков.

Десантники знали, что взять этот серьезно укрепленный пункт будет трудно. Но взять его нужно во что бы то ни стало. Генерал Б. уже шел с востока на соединение с ними. Командир десантников назначил наступление на ночь. Было решено вести его со всех сторон, применив дальний обход через леса в тыл немцам.

Атаки начались по сигналу двух красных ракет. Началась героическая борьба за овладение немецким опорным пунктом. Фашисты упорно сопротивлялись наступлению десантников, используя свое превосходство в огневых средствах. После ночного сражения, на рассвете, прибыла новая группа десантников и также с полета вошла в бой. Уже к вечеру бойцам удалось обойти неприятеля и просочиться к нему в тыл. Противник снова получил сильный удар отсюда, откуда его не ожидал, и бои завязывались за каждый дот, за каждый дом, за каждый чердак.

4. Вперед

Шел горячий бой за Лучи. Тактическая обстановка складывалась такой, какой она и должна была быть в условиях десантной операции,— противник со всех сторон. В этом смысле советские парашютисты не встретили каких-либо неожиданностей. Еще несколько месяцев назад наши бойцы, очутившиеся в тылу у немцев, считали бы себя окруженными, они дрались бы жестоко и сурово, но их психология была бы совсем не той, какая отличала сейчас десантников.

Недаром отважный командир парашютистов Казанкин любил повторять:

— Мы летим с неба окружать немцев!

Спустя некоторое время после описываемых нами событий на командный пункт десантного отряда пришла в адрес Казанкина и комиссара Оленина радиограмма командующего войсками Западного фронта генерала

армии Жукова: «Сегодня опубликован Указ Президиума Верховного Совета, которым Вы награждены орденом Красного Знамени. Горячо поздравляю Вас с высокой правительственной наградой и желаем новых боевых успехов в героических делах десантников».

В тот же день Казанкин говорил бойцам:

— Наш тяжелый труд на поле брани оценен очень высоко. Моя награда — ваша награда. Вперед, друзья!

Это произошло позже, когда десантники, преодолевая неисчислимые трудности, выполнили уже значительную часть своей главной боевой задачи, а сейчас еще шел жаркий бой за Лучи.

Начальник санитарной службы, военврач 2-го ранга Абусанд Валиевич Исаев, не покидал бойцов и командиров своего отряда, ведущего штурм Лучей. Впереди с авангардной группой шел лейтенант Петров — большой друг доктора. Перед боем, пробегая мимо Исаева, он сказал ему:

— Ну, если что случится, то лягу под нож только к тебе.

— Будь спокоен, — крикнул ему вслед Исаев, — рука не дрогнет.

Когда у фашистов были отбиты два крайних дома, стоящих на пригорке, и бойцы устремились дальше, Исаев решил в одном из них немедленно организовать санитарный пункт.

Вместе с тремя санитарями он вошел в большую прокопченную комнату. Несколько минут тому назад здесь хозяйничали фашисты. На полу валялись грязные тряпки, рваные арзац-ботинки, в углу под маленькой иконой висели приколотые кнопками чернографические открытки. На столе лежал пропуск для посещения публичного дома.

Санитары быстро разобрали нары, устроенные немцами, и стали сооружать операционный стол. В это время из окон со свистом вылетели рамы. У самой избы разорвалась мина. Исаева ранило. Осколок мины ударил его в бок. С помощью санитаров доктор начал делать себе перевязку, но, не закончив ее, потерял сознание.

— Вот не во-время беда приключилась, — успел сказать он негромко. Внешне в этом человеке мало что бы могло вызвать врача. Скорее он похож был на стрессового командира. Подтянутый, энергичный, — таким он был

и здесь, в тылу врага. За время службы в армии Исаев совершил более семидесяти прыжков с парашютом и имел звание инструктора парашютного спорта.

В мирное время, помимо своих врачебных дел, Исаев занимался подготовкой парашютистов-десантников. И не одна сотня его питомцев падала теперь камнем с неба на немцев.

Бывали случаи, когда, поднявшись в первый раз на воздушном корабле, чтобы совершить прыжок, молодой чарнишка или девушка немного робели. Тогда Исаев, показывая на свой значок, говорил им:

— Вот семьдесят раз прыгал, и то не боюсь, а вы по разу боитесь. — И, ласково потрепав юношу по плечу, продолжал с притворной суровостью:

— Ну, пошел, пошел. Все в порядке будет. Я — первый, а вы за мной.

И сразу пропадал страх у людей. Большие черные глаза доктора как бы подчиняли своей уверенной спокойной силе.

Исаев лежал на полу в забытии. Санитары быстро перевязали его, вынесли в соседнюю комнату и бережно положили на стол. Один наспех отремонтировал комнату — забил досками и загородил рогожами выбитые рамы. Другие в это время уже принимали раненых: делали мелкие перевязки, а больше угавривали и ободряли людей.

— Что же нам без врача делать? — сказал в отчаянии молодойенький санитар, вихрастый паренек Вася.

— Да, это, брат, не Москва, не «большой фронт» — в госпиталь не позвонишь. С кем прыгнул, тот и лечит! — отозвался бывалый десантник. — Подождем немного да пошлем за Капланом, может быть он свободен.

Санитар Вася остался присматривать за доктором. Исаев уже пришел в сознание. До этого он лишь с трудом шевелил губами, говорил о своей жене, жившей в Ленинграде и не захотевшей оттуда уехать, о сыне, которого он ждал.

Скоро принесли двух тяжело раненных бойцов: у одного были сильно повреждены обе ноги, у другого — левая рука. Они громко стонали и звали доктора. Один санитар побегал за врачом Капланом, но долго не возвращался. Видимо, тот был очень занят. Стоны раненых были слышны через толстую деревянную

стену. Доктор Исаев открыл глаза, прислушался, и на его пересохших губах появилась печальная улыбка. Он попросил пить. Сделав несколько жадных больших глотков, он попробовал встать. Санитар его поддерживал.

Исаев подошел к раненым и потренировал инструмент. В комнате стало очень тихо. Людям стало стыдно своих стонов. Они уже поняли, что хотел сделать этот раненый человек с горящими глазами. Сейчас он их будет оперировать. Санитары в молчаливом восхищении глядели на Исаева.

Исаев приступил к первой операции. Колоссальным усилием воли он заставил себя забыть собственную мучительную боль. Он ничего не чувствовал, ничего не видел, кроме пораженного участка тела раненого, лежащего перед его глазами. Операция была проведена успешно. Потрясенные до глубины души бойцы следили за каждым движением локтей, не дрожащих рук Исаева. Следующая операция, еще одна...

...В избу, где разместился санитарный пункт, доносились звуки боя. Площадь его расширялась. Из соседних деревень, оставшихся в руках у немцев, десантникам все время грозили удары в спину. Надо было взять два близлежащих населенных пункта. Это сразу перережет важную немецкую коммуникацию, лишит противника выхода на большак. Кроме того, захват этих двух деревень выдавит немцев с опушки большого леса, откуда они могли обстреливать прибывающие к десантникам подкрепления. Было решено взять эти деревни с хода, короткими ударами. Немцы, занятые боем в Лучах и не догадывавшиеся о размерах приземлившегося пополнения, не могли ожидать наступления на свои относительно удаленные фланги.

Группа десантников молниеносным налетом обрушилась на ошеломленных фашистов в деревне далеко к западу от Лучей и выбила их оттуда. Надо было немедленно сообщить товарищам о победе и ликвидация угрозы с этой стороны. Это дело бы десантникам возможность переуплотнить свои силы и усилить наступление на Лучи.

Как всегда аккуратно, радист Иван Парасюта со своим помощни-

ком вошел в дом, развернул радио и немедленно начал передачу.

Радист еще не закончил передачи, как рядом с домом разорвался тяжелый снаряд. Посыпались стекла, затряслись стены, упали висевшие на гвоздях семейные портреты. Затем раздался удар еще сильнее. Грохнулись на пол стоявшие на лавках ведра с водой, треснула печь, и с шумом вылетела из нее заслонка. Радист спокойно продолжал передавать донесение.

Опять мощный взрыв. Упала перегородка, делившая большую комнату пополам. Радио швырнуло в другой конец комнаты, перебило антенну помощника радиста ранило. Донесение не было закончено, раненому нужно было оказать помощь. Да и самого Парасюту сильно ушибло.

Но хладнокровие и самообладание едва ли не важнейшие черты десантников. Парасюта сделал перевязку раненому, быстро собрал куски антенны, снова наладил станцию и приступил к передаче прерванной радиogramмы.

И когда в деревне появился полковник Казанкин, Парасюта в обгоревшем ватнике и в дымящейся шапке подбежал к нему, молодежато вытянулся и доложил:

— Товарищ полковник! Рация работает. Радиogramма передана с опозданием на три минуты.

Командир хорошо знал работу Парасюты. Этот радист, когда потребовалось срочно передать чрезвычайные важные данные командующему фронтом, сумел на своей маломощной станции добиться слышимости на очень большое расстояние: поднимал антенну, изменял ее направление, в соответствии с временем суток менял волну. Ночь, день, снова ночь, тридцать шесть часов без сна — и связь налажена.

Казанкин молча пожал руку радисту.

...Вторая деревня тоже оказалась в руках советских парашютистов. Переуплотнение было произведено сразу же. Все силы десантников двинулись к Лучам. Лейтенант Петров со своими бойцами уже выходил к восточной окраине деревни, соединяясь с группой десантников, прошедших через лес.

...В это время доктор Исаев заканчивал шестую операцию. Прошло не-

сколько минут, и дверь избы с шумом распахнулась. Двое десантников-санитаров внесли лейтенанта Петрова. Он только что был ранен в живот. При виде своего друга, неподвижно лежащего на носилках, Исаев пошатнулся. Он знал, что жизнь Петрова в его руках. Но силы уже отказывали.

Глаза Исаева налились кровью от напряжения, большая прядь его иссиня-черных волос спустилась на холодный, потный лоб. Стыснув зубы, призывая на помощь весь свой профессиональный опыт, делая над собой нечеловеческое усилие, Исаев начал оперировать своего друга, сказав только одну фразу:

— Моя рука не дрогнет, я обещаю тебе, дорогой!

И только он успел наложить последний шов, как вошел врач, за которым ходил санитар. Уже сквозь мутную пелену, заставлявшую глаза, посмотрел на него Исаев. Страшная разрядка потрясла перенапряженный организм. Исаев выронил инструмент, покачнулся и упал.

Герой врач, пожертвовав собою, спас в этот день семь жизней...

Бой шел уже за Лучами. Потеряв этот важный пункт, немецкое командование было вынуждено оттянуть крупные силы с «большого фронта». Переход Лучей и близлежащего района в руки Красной Армии угрожал немецкому командованию полной ликвидацией подвоза и эвакуации по магистрали. Фашистский генерал приказал во что бы то ни стало отбить Лучи.

5. Разведка

Территория, занятая десанниками, дичь за всем расширялась. Уже из небольшой точки на географической карте она превращалась в обширный советский район в тылу врага. Прошло то время, когда вся площадь, находившаяся в руках советских парашютистов, простиралась из конца в конец немецкими орудиями. Островок нашей земли, отвоеванный у немцев, рос и рос, оцетнившись во все стороны штыками, автоматами, минометами и пушками.

...Глухой черной стеной подступал к деревне, охватывая ее полукольцом, старый еловый лес. За этим лесом стояли немцы. Требовалось срочно установить силы противника.

Выбор командования пал на ловкого, умелого разведчика Васякина. В помощь ему дали группу бойцов.

Разведчики-лыжники шли, поглощенные непроглядной тьмой беззвездной ночи. Шли лесом, один за другим.

Вот они, благополучно миновав уже почти всю толщу леса, осторожно вышли на полянку. И еще не успели подтянуться задние, догоняя ушедших вперед, как в черное небо взвилась ракета. Раздался громкий немецкий возглас. «Заметили фрицы,— подумал Васякин.— Ну что сохрется дело?»

— Вот что, ребята,— быстро говорил он,— вы погодите...

Но не успел он закончить, как немцы открыли огонь.

— Лыжи мои возьмите!— уже полным голосом крикнул Васякин.— Не забудьте лыжи взять, а то они мана могут потом выдать. Вы отходите в другую сторону и оттуда постреляйте по немцам, а я пойду один.

И он пополз по глубокому снегу к сараю, стоявшему у опушки. Подполз, стал прислушиваться. В сарае было тихо.

Беспрерывно вспыхивали летучие звезды ракет, но огонь стал реже, и вот неожиданно Васякин услышал близко от себя шаги и глухой кашель. Он быстро приготовил гранату. Сердце работало напряженно. Он чувствовал, как успокоительно холодит тело прижатый к груди пистолет. Фашист громко крикнул, ему ответил другой от дома на краю деревни. Затем снова молчание. Прислушались удаляющиеся шаги.

Васякин пополз к дому. Но едва он успел тронуться с места, как из дома вышло несколько человек. Один говорил на ломаном русском языке, ему отвечал женский голос. Немцы что-то спрашивал у женщины черносотенника. Напрягая слух, Васякин стал различать разговор:

— А где здесь есть дорога, по которой могут пройти парашютисты?

— Да тут дорог много. Я не знаю, а малограмотная.

Звук голосов удалялись. Васякин приложил ладони к ушам, но шепот доносился уже только обрывки слов.

Он решил войти в дом. Но что, если там остались еще немцы? Это, конечно, не так страшно, тут же можно с ними и разделаться. Но подметается переносилок, и, главное, не сд...

лаешь того, зачем пришел. Позазмыслив, он рассчитал, что раз на дворе ночь, то женщина должна вернуться в дом, а она не выдаст. Все так же ползком добравшись до избушки, он спрятался под крыльцо. Ожидания разведачика оправдались. Вскоре он услышал приближающиеся шаги. Женщина возвращалась. Она была не одна. Васякин притаился под крыльцом.

На нем был дерзкий ватник, надевший, чтобы свободнее были движения. Но сейчас притаившемуся разведачику было очень холодно. Деревянные руки и ноги, но он старался не шелохнуться. Женщина вошла с кем-то в дом, потом вернулась на крыльцо и громко сказала кому-то вслед:

— Ванька, ты, смотри, недолго! Быстрее приходи!

Васякин тихо позвал:

— Хозяйка!

Она наклонилась и от неожиданности вскрикнула:

— Кто там?..

— Ты не кричи, это свои, это десантник, — ответил он.

— Подожди, голубок, немного, — быстро зашептала женщина, — они сейчас уйдут. Поползи дальше под сенцы, там я тебе подниму доску. А тут вылезать не надо, чего доброго заметят.

Еще час-два мучительного ожидания, и вот, наконец, в сенцах за скрипели половицы, послышался скрежет засова.

— Скорее, голубчик, ушли! — услышал он вскоре.

Васякин вылез на четвереньках, вошел в избу, разминая окоченевшее тело.

— Мне задерживаться здесь некогда. Я знаю — ты своя. Сколько немцев в деревне, где у них пулеметы? А минометы, знаешь, что такое? Есть у них минометы?

— Ну, как не знать, видела, — ответила колхозница. — Все скажу, только торопиться тебе некуда, сейчас отсюда ты не выберешься, на улице-то совсем светло.

Она достала из печи горячую картошку. Угощая бойца и боязливо озираясь, рассказывала:

— Немцы живут плохо. Дорога-то перерезаны. Едят одну картошку. Людей много: сотни четыре будет. Должны притти финны, человек

пятьдесят, не то семьдесят, на лыжах. Сегодня ночью будут, наверное, здесь... Пойдут, верно, лесом по большой тропе. А пулеметы и минометы у них в лощине и рядом в домах — на чердаках.

Васякин жадно ловил каждое слово, стараясь все точно запомнить. «Что же делать! — думал он. — Знаю, сколько немцев, что у них есть, сколько пулеметов. Эх, сейчас бы доложить!.. Но как же уйти — ведь день?..»

Колхозница волновалась, прислушиваясь к малейшему шороху.

— Полевай в погреб, голубок, неровен час офицеры вернутся. Они ведь у меня квартируют.

Женщина протянула Васякину полушубок.

— Надень, голубок, чтобы не замерзнуть. Поспи там. Когда можно будет, я тебе скажу, как лучше отсюда уйти.

Потянулись часы томительного ожидания. Какие мысли в это время ни приходили в голову Васякину! Иногда ему казалось, что он лежит здесь уже несколько дней.

А хозяйка все не выпускала его. Наконец опять за скрипели половицы.

— Ушли. Дорога тебе прямо через этот дом, на лесочек. Я тебя уведу и покажу. Только иди скорее, пока там немцев нет.

Васякин выскочил.

— А полушубочек-то возьми, — напомнила она ему. — А то, может, отлеживаться еще придется, замёрзнешь.

Васякин поблагодарил и тронулся в путь. Вот он уже прошел один дом, другой, третий, выбрался на тропку, которая вела к дороге.

— Хальт!

Правая рука Васякина сжала гранату. Но в это время ясно отпечатались в типине смачное русское слово. «Что же это такое! Наш секрет!.. Васякин решил рискнуть. Он отошел и быстро подошел к парашютистам, стоявшим в секрете.

— Что же это вы своих немочками словами пугаете! Вот что, ребята, здесь, метрах в пятидесяти, по тропе должны пройти финны. Надо их встретить. Сколько нас? Вас пятеро да я — шесть, а их пятьдесят — семьдесят. Ну вот как раз расчет верный!

Темнело. Двое бойцов залезли на большие деревья, остальные притаи-

лись в кустах по обе стороны тропы.

...Послышался приглушенный кашель и хруст снега. Это двигались финны. Десантники ждали. Вот с ними поравнялся первый финн. Вот второй, третий, четвертый. Они шли чуть ли не в затылок друг другу. Не то боялись чужого леса, не то, наоборот, были очень уж уверены в своей безопасности. Когда застывшие в засаде десантники мысленно разделили отряд финнов на две части, в обе стороны полетели гранаты и полоснули очереди автоматов. Среди финнов поднялась паника. Раздались истошные крики.

Ни один финн не попал в деревню. И когда Васякин убедился в том, что оставшиеся в живых враги повернули обратно, он быстро направился к штабу.

— Разрешите доложить, товарищ командир,— обратился он к лейтенанту Сучкову.

И Васякин начал свой рассказ.

С утра немцы пошли в наступление. Фашистские цепи уже приближались к краю деревни, оставалось не больше ста метров. Немцы уже не делали перебежек, шли в рост. Офицер с вылинявшим лицом самодовольно улыбался: его затея удалась, они подошли к деревне с ее оголенной стороны. Солдаты кричали «хох». А в полусотне метров от них лежали тщательно замаскированные десантники. Командир Ануфриев вместе с комиссаром были здесь же. Он подмигнул Распопову и прошептал:

— Сначала «хох», а сейчас «ох», — и выпустил ракету.

Пулеметный огонь. Ударили минометы, затрещали автоматы. Еще минута, другая, третья, и десантники бросились в контратаку на оголенный немец. Завязался короткий бой, в котором была почти полностью разгромлена наступающая фашистская часть.

6. Как был взят город Н.

Немного раньше описанных нами событий северо-западнее Лучей и на значительном удалении от них приземлилась маленькая группа парашютистов.

Тихая ночь. Полная луна льет свой холодный, голубоватый свет на

снежные просторы. Вдруг среди сугробов в одном месте вспыхивает одна едва заметная красная точка, ей немедленно отвечает зеленая, они так же быстро пропадают, как и появляются.

Это по условному сигналу собираются парашютисты.

Старшим в группе был командир Пикулев. Он разобрался в обстановке и понял, что очутился в чрезвычайных тяжелых условиях. Пункт сосредоточения отряда командира Ануфриева был далеко, а в группе всего девять человек. Окрестные деревни и села заняты немцами.

Что делать? Итти на соединение к основному составу отряда? Ждать подкреплений, а пока бездействовать, прятаться от немцев?

Нет, десантники так не поступают. Их закон — решительные действия. Приземлился — немедленно вступай в дело, не дожидаясь сбора остальных. Если обстановка требует, дерись в любых условиях. Нет старшего начальника — командир ты, прививай команду на себя.

Первая задача — разведка.

Пикулев разослал разведку в разные направления. С ним осталось пятеро.

...Опущка леса, старые кражистые сосны. Вот пролетел вражеский самолет, из лесу на огушку выпорхнула сиротливая сорока.

Сейчас вокруг все было внешне спокойно. Но Пикулев знал, что ему нужно делать. Небольшая группа смельчаков должна поднять людей на активную борьбу с врагом. Приземлившийся парашютист — это уже целый партизанский отряд.

Вскоре вернулись разведчики. Предположения Пикулева оправдались. Они приземлились недалеко от крупного города Н.

Других парашютистов вблизи как будто не было.

В соседней деревне немцев нет. Десантники отправились туда и разбились по хатам.

Сколько радости принесли они людям, томившимся под гнетом фашистов. Слов не требовалось. Крестик видел у парашютистов автомат за плечами, теплую добротную куртку, ватные брюки, видел бодрые, здоровые лица и слышал родные слова о том дорогом и близком, что осталось за линией фронта... Все, что

говорили десантники, дышало уверенностью и силой.

В деревне Пикулев узнал, что неподалеку действует еще группа парашютистов. «Не Мазуркевич ли?» — мелькнула мысль. Он знал, что здесь где-то мог высадиться со своей группой его друг.

Всю ночь десантники провели в душевных беседах с колхозниками. Пикулев долго совещался о чем-то с председателем колхоза. Ночью же из деревни в разные стороны поскакали верховые. А утром десантники ушли в лес.

Лес ожил. То там, то тут зашевелился куст, высунется бородатая голова в теплой шапке, осмотрится... Глухими, занесенными тропками пробирались к парашютистам старики, безусые юнцы, девчата. Люди без конца спрашивали о Москве, о Сталине, уславливались о деле. По всей округе разнеслась правда о родной земле и весть о высадке советского десанта.

Первая часть задачи была выполнена. Теперь группа Пикулева двинулась на юг, оставляя за собой вновь организованные партизанские отряды. По пути десантники резали телефонную связь, взрывали мосты, устраивали на дорогах засады. Каждому встретившемуся советскому человеку рассказывали, что делается на фронтах.

«Найти бы Мазуркевича!» — не оставляла Пикулева мысль. Судьба закадычного друга волновала его. Да и, главное, соединенными силами они сделали бы во много раз больше. Ускоренным маршем, без отдыха вел он группу туда, где, по словам колхозников, находилась другая группа парашютистов.

И вот на лесных дорогах десантники стали находить следы работы своих товарищей: валяется немецкая повозка с убитой лошадей и ездовым, оборван провод... По этим следам, по рассказам колхозников Пикулев нашел группу Мазуркевича. С комиссаром было тридцать человек.

Как описать радость свидания этих мужественных людей. Друзья обняли друг друга.

— Ну, старик, что же ты оплошал? Я ведь говорил — погоди, мы бы к тебе разом пришли.

И сам Мазуркевич первый захохотал — не своей пропой шутке, а тому, что вот как замечательно встре-

тились они под этим слепающим солнцем, в этих снеговых холмах-волнах.

— Вот и нашелся, старина, — отвечал ему Пикулев. — Теперь-то вдвоем нам сам черт не брат.

В сводном отряде было уже два миномета, тридцать пять автоматов, ручные пулеметы, гранаты. Теперь десантники представляли собой большую и грозную силу. Можно было приступать к выполнению основной задачи, которую поставили себе командир и комиссар, — отбить город Н. силами партизан...

...Десантники движутся лесом. Человек с большой бородой, в черной шапке, с лентой патронов через плечо вырастает на дороге и кричит:

— Стой! Кто идет?

Встреча происходит на тропке, по которой двоим не разойтись. В стороне у большого пня журит сизый дымок. Поодаль — навес из еловых ветвей, кухня, у коновязи лошади. С великой радостью узнали Пикулев и Мазуркевич, что они набрали на легендарный партизанский отряд «Дедушки».

От партизан десантники узнали все о положении в городе Н. Немцы чрезвычайно встревожены создавшейся обстановкой. То и дело они устраивают вылазки и налеты на деревни, в которых появились партизаны. В городе они чувствуют сзбя, как на необитаемом острове, и со страхом думают о том, что творится в окрестных населенных пунктах.

Город Н. — большой узел грунтовых дорог. С севера он связан с важнейшими железнодорожной и посейной магистралями. В городе склады боеприпасов и большие запасы награбленного фашистами продовольствия и фуража, мастерские по ремонту и восстановлению вооружения.

Пикулев и Мазуркевич понимают: овладеть городом силами одних десантников и партизан «Дедушки» было бы невозможно. Но их предыдущая работа не прошла даром. Вокруг в округе уже действуют мелкие партизанские отряды. Десантники держат с ними постоянную связь и готовят их к предстоящей операции.

Один из наиболее мощных отрядов, созданных парашютистами, присвоил себе грозное имя «Ураган». Десантники вместе с партизанами занимают одну за другой деревни, окружа-

юшно город. Партизаны создают в них оборону по всем правилам. Пякулев вместе с «Дедушкой» намечают план блокировки города и полного его окружения. Десантники разбиваются на четыре группы — в каждой группе по восемь — десять автоматчиков. Они вливаются в объединенные партизанские отряды, укрепляют в них воинскую дисциплину, проводят военное обучение, поднимают боевой дух.

Началась кипучая работа. Днем и ночью десантники и партизаны шли лес, подтягивали его ближе к дорогам, сооружали снежные валы и блиндажи, минировали дороги.

Никаких диверсий в это время не производилось. Немцы знали, что соседние деревни в руках у партизан, но в городе было все спокойно. Фашисты решили, что они в безопасности. Никто их не тревожил в эти дни. Лес как бы замер. Такая обманчивая тишина стоит в поле рваной весной, когда снег еще лежит ровным тяжелым пластом, но под ним шевелятся уже, пробираются, подтачивая его, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее, весенние ручейки, ручьи, соединяясь, обрушивают настил снега, размывают его и несут полые воды в разлившиеся реки.

Подготовка к блокировке города продолжалась шесть суток. Все были заняты напряженной работой. «Специалисты» работали по особым заданиям. Оружейник Колик занимался вооружением людей, он за эти дни сумел собрать и отремонтировать двадцать пять винтовок, станковый и ручной пулеметы, минометы, собрал по деревням много гранат, до трех тысяч патронов.

В условленный час люди заняли свои места на зыбалах. Десантники с автоматами замаскировались в засадах. Задача была такова: во время штурма города ни один фашист, если он не захочет сдаться в плен, не должен уйти живым. К самой окраине города, где находились склады боеприпасов, протянулась узкая, вырытая под покровом темноты, канавка, дно которой было усеяно порохом.

Все напряженно ждали сигнала. Пякулев и Мазуркевич немного волновались. Сигнал должна была дать диверсионная группа. Но она, казалось, опаздывала.

Парашютисты и партизаны, выткнувшиеся на самые подходы к городу, всматривались туда, где был участок действий диверсионной группы. В глазах от напряжения вспыхивали зеленые круги, маячили огненные кольца. И вот вдруг по сверкающему в лунном свете снегу, как если бы порвалось и упало одно из этих огненных колец, поползла пылающая змея. Этого ждали, а сейчас уже не могли поверить своим глазам. Прогрохотал гром первого взрыва, и зачастили удары: это рвались снаряды на немецком складе боеприпасов. В это же время на краю города вспыхнул большой деревянный мост.

Одних этих диверсий оказалось недостаточно, чтобы посеять среди фашистов дикое смятение. Они бросились вывозить из города имущество. Под адекуму музыку взрывов, в пляшущем свете пожаров по большаку на север поспешно двинулся из города большой обоз.

Десантники подпустили его к засаде и открыли огонь. В это время по другому большаку на юг тронулся другой обоз. Его встретили партизаны из отряда «Ураган». И plainly, ураган, смерч не несет столько опустошений, сколько они произвели в рядах фашистов...

Уцелевшие немцы забегали по городу. Солдаты метались из дома в дом, с улицы на улицу, с дороги на дорогу, но встреча всюду была одинаковой — свинец.

Гарнизон давно уже пытался вызвать на помощь. Но тишето! Вся связь была перерезана десанниками и партизанами. В самом городе вспыхивали короткие стычки: немцев начало бить местное население.

Утром десантники вместе с партизанами вошли в город и над зданием райсовета в синем небе вновь заалел советский флаг. Через три дня организовав оборону города, десантники тронулись в путь, на соединение со своим отрядом, действовавшим в это время восточнее.

7. Патриоты

Весть о советском парашютном сенте переходила из уст в уста. деревни в деревню и разносилась с удивительной быстротой. Из окрестных и дальних деревень, в которых

еще удерживались немцы, население уходило к десантникам.

Лесными тропами, по пояс в снег, обмороженные, голодные, измученные, обходя за десятки километров фашистские заставы, люди шли к своим — шли целыми семьями, шли одиночками...

Они шли в район, который десантники освободили от немцев и в котором восстанавливалась советская власть. Десантники, продолжая теснить врага и восстанавливая советскую власть, использовали приходящих к ним людей. Организовалась мандатная комиссия, возглавлял ее комиссар Распопов.

Перед Распоповым стоит молодой партизанка Вася Козлов; он так же, как и другие парии, пришел с немецким автоматом; он еще слишком молод, но он хочет зачислить его в десантный отряд. Он должен метить фашистам и бить немцев в рядах десантников. У него юное сердце, но много яростных сил и злости; несколько недель тому назад они замучили его мать и двухлетнюю сестренку.

Вася рассказывает, как на деревню налетел карательный отряд, немцы истребили партизан. Офицер приказал всем выйти из домов и построиться. Переводчик спрашивал у каждой колхозницы, где ее муж, брат или сын. И когда очередь дошла до васиной матери, она сказала переводчику, что муж в Красной Армии, а сын пошел в соседнюю деревню к двоюродному брату. Переводчик что-то буркнул офицеру. Фашист с плетью подлетел к матери и, несмотря на то, что она держала на руках маленькую сестренку, со всего размаху ударил ее плетью...

— Врот русс зобак, партизан сын, — прошипел фашист.

Мать вывели из строя, офицер стал размахивать перед ее лицом какой-то бумажкой. Как потом Вася узнал, это был приказ охранки, запрещающий жителям ходить из одной деревни в другую.

После этого подошли солдаты и хотели отнять у матери ребенка. Она не отдавала, офицер долго бил ее плетью, мать твердо стояла на ногах и гордо смотрела ему в лицо — из ее глаз не упала ни одна слезинка. Фашист пришел в бешенство — он еще раз что то буркнул переводчику, переводчик снова спро-

сил, где сын: партизант?.. Мать молчала.

Раздался выстрел, женщина упала, затем последовал второй, третий. Фашист прострелил у лежавшей матери сперва одну, затем другую ногу, сестренка осталась живой на руках у умирающей матери. Что творили немцы с женщинами этой деревни — не в силах постигнуть человеческого разума.

Подстрелено было шесть женщин, офицер не застрелил насмерть ни одной: у всех были пробиты пулями руки и ноги...

Около изувеченных тел он выставил караул. Остальных жителей угнали в тыл. Спасся лишь один старик...

Деревню запалили. Перед этим гитлеровцы обшарили все дома, забрали все до мелочей, нагрузили на подводы и увезли.

Морозы в эти дни стояли крепкие, солдаты, «охранявшие» изувеченных, по очереди бегали греться к горящим домам.

Они слышали душераздирающие крики женщины, истошный плач ребенка, которого крепко держала в объятиях умирающая васина мать, и, чтобы заглушить стоны умирающих, бандиты то принимались громко хохотать, то по очереди открывали пальбу из автоматов в воздух. А когда полуобмороженный ребенок освободился из рук ослабевшей матери и попытался, ничего не понимая, подойти к фашистскому часовому, тот дал по ногам ребенка очередь из автомата, схватил девочку за воротник и на глазах умирающей матери бросил в пламя догоравшего дома.

Когда совсем стемнело и от села остались одни головешки, фашисты снялись и оставили свой «пост», всадив в тела уже замерзших, замученных жертв кинжалы: для верности...

Вслед за Васей к комиссару явился старичок в сильно засаленном кожухе, с большой окладистой белой бородой.

В руках он держал цыгарку, от выкуренных за долгую жизнь десятков тысяч таких же цыгарок у него пожелтели кончики пальцев. Он прищуренными глазами оглядел присутствующих, снял шапку, по-стариковски раскланялся и отрекомендовался:

— Алексей Андреевич Горохов. К тебе пришел, — обратился он к Распопову. — Вот привел вам, освободи-

телям нашим дорогим, подарок.— При этом старик взял комиссара за руку, подвел его к окну и показал на привязанную у изгороди рыжую корову.— Вот, милый,— продолжал старичок,— сам ушел да еще дойную корову привел. Так что для раненых молочко будет... Да это еще не все, что удалось от басурманов схоронить...— Он подсел ближе к столу, пощипал бороду.— Ну, это, так сказать, все будет к своему времени, как, значит, будет ваша деловая потребность. А сейчас надо нам с вами, товарищ командир, или, уж не знаю, комиссар, один вопрос разрешить. Я к вам сюда за этим пришел. Дело-то оно вот в чем состоит. В армии у меня никто не служит: потому как сыновей не было, а старуху немцы запероли... Так вот и прошу принять меня на службу, буду бить немца по своей силе-возможности, а главное — по своему умению. А умение — оно у нас есть; я ведь с ним воевал, знаю, как надо бить немца и что у него к чему... Ты не смотри, что мне седьмой десяток пошел, я не хуже молодых бить его буду.

Распопов стал благодарить старика за подарок, за добрые намерения, но слушать взять не мог. «Тебе надо заняться восстановлением хозяйства, отец, мы уж без тебя как-нибудь побьем их».

Старик и слушать не хотел.

— Я могу все делать: раненых возить, патроны, обед подвозить на передовые, в разведку ходить — я ведь все здесь знаю.

И как Распопов ни убеждал старика, предложил ему даже пойти в отряд самообороны, ничто не помогло. Пришлось уступить и принять нового «десантника».

С этого дня Алексей Андреевич стал незаменимым в отряде человеком.

Нужно ли проводить десантников в тыл к немцам — старик знает такие лесные тропки, по которым и нога человеческая не ступала.

Патроны ли разносить — он и это сделает.

День и ночь старик был на ногах: эвакуировал с поля боя раненых, возил бойцам на передовую питание и боеприпасы, добывал продовольствие — делал все, и никто не знал и не видел, когда Алексей Андреевич спал или отдыхал.

И вот, много времени спустя, когда внезапно с горизонта исчез Митрич, пропал и Алексей Андреевич. Весть об этом загадочном исчезновении передавалась по всей округе из уст в уста: «Деды пропали?.. Что это значит? Где они?»

...Анна Васильевна Рогачева трою суток со дня появления десантников работала не покладая рук — привозила свой загаженный немцами дом в образцовый порядок. Тертым кирпичом, косарем, горячей водой добила высоблила полы. Выбелила русскую печь. Старыми газетами оклеила большую комнату, стало теплее здесь будто еще просторней и светлей. На окна повесила белые, как снег, занавески и, промывая комнатной водой душистые олеандры и блестящие плотным глянцем листья фикусов, обильно разросшихся в больших бочонках на полу, кляла немцев, загадывших и замусоривших все, куда они ступали: «Чтобы и духу вашего здесь не было, ироды. Не примет вас земля русская, сгорите вы на ней».

Когда порядок был наведен, опытным хозяйским глазом осмотрев весь дом, она пошла по тропке в лес. Там, в этом густом, старом хвойном лесу, у нее, как и у других колхозников, был второй дом — землянка; недалеко от землянки, под большим дубовым пнем, был ход в яму, где хранилось самое дорогое, что удалось Анне Васильевне спрятать от немцев.

И в самом уголке потайного хранилища лежала маленькая облупившаяся голубая жестяная коробка, десятки лет служившая семье Рогачевых несгораемым шкафом. Эта коробка досталась Анне Васильевне по наследству от матери; внутренняя сторона ее крышки когда-то могла заменить зеркало, а на внешней было написано красивыми выпуклыми буквами: «Монпансье ф-ки Ландрин и К^о». Бережно открыла Анна Васильевна коробку и достала аккуратно сложенный, вырезанный из газеты портрет. Сколько раз, когда в ее доме стояли немцы и кричали: «Москва канут», «Русс канут», — она мысленно обращалась к человеку, лицо которого спокойно смотрело на нее с этого портрета, и всей своей встревоженной душой простой русской женщины спрашивала: может ли это быть, могут ли отдать немцу Москву? И мудрое спокойствие вели

кого вождя внушало ей глубокую веру: нет, врут, проклятые, не может этого быть, чтобы их поганые ноги топтали Москву. Анна Васильевна верила, что именно в Москве Сталин готовит победу над врагом. Красная Армия разобьет врага, отвоюет всю захваченную немцами землю и освободит ее, Анну Васильевну, из плена. И вот Красная Армия пришла. Сбылось то, о чем жарко мечтала эта старая, одинокая русская женщина, терев уже последние силы под непрекращающимися издевательскими и глумленными фашистских солдат. Пришла армия, посланная Москвой, армия мстителей, армия-освободительница. Как же ей теперь, Анне Васильевне, встретить эту армию, вернувшую ей жизнь?

Анна Васильевна вошла в дом, сделала рамку из елового лапника на стене между двух окон, ловко пристроила в эту рамку портрет вождя и глубоко задумалась. И снова он подсказал ей ответ на мучившие ее вопросы.

Она засобиралась в путь. Надела черные, всего несколько раз ношенные, ботинки, белую с синими полосками ластиковую кофту, шерстяную черную юбку; на голову, как в первые дни замужества, повязала шелковую косынку и, внимательно оглядев себя в зеркало, висящее в углу, отправилась в штаб десантников.

— За ранеными я ухаживала еще раньше, когда была молодая, тогда же и перевязывать научилась, — сказала она комиссару Распопову. — Картошки припрятанной в яме много, коровенка в лесу стоит, белье буду стирать, квартира моя большая, чистая, все есть. Два моих сыночка в Красной Армии. Сделай милость, товарищ комиссар, разреши открыть газарет. Ничего мне не надо, буду ухаживать, как за родными сыночками...

...С тех пор больше ста раненых десантников выходила Анна Васильевна. Каждый боец, уходя из ее газарета в строй, писал ей, пользуясь всяческими оказиями, хотя бы коротенькую записку, полную благодарности. Десантник Королев придал письмо, которое часто доставляла Анна Васильевна из верхнего шкафа комода, где оно теперь лежало рядом с коробкой из-под монпансье «Ландрини Ко», и давала его читать девушкам, приходившим наве-

стить раненых: «...Дорогая мама, я не знал, что такое мать, у меня ее не было, так же как и отца: они погибли в 1919 году, когда мне было полтора года. Рос я в детском доме, воспитала меня советская власть — это моя первая мать. Вот отстоим свою первую мать, разобьем фашистов, кончится война, тогда я всю свою любовь и заботу посвящаю тебе, той милой заботливой старушке, которая снова поставила меня на ноги. Я буду твоим младшим сыном. Вот сейчас я в холодном блиндаже, и когда вспомнил тебя — мне стало тепло».

По несколько раз заставляла Анна Васильевна перечитывать ей вслух письма; аккуратно складывала их и все жалела, что самой-то не удалось обучиться грамоте.

— Не умею писать, а то бы время нашла и всем бы отписала.

Морщинистое лицо ее при этом розовело, и она казалась гораздо моложе своих трудно прожитых лет.

Обещал ей помочь в ведении ее корреспонденции Митрич. Втайне ему льстила возможность писать письма героям-красноармейцам во все концы Советского Союза. И уж непременно вернул бы он два-три словца от себя и о себе, что вот, дескать, шлю и я вам наш боевой привет и, как за вами, так будем ухаживать и за другими, будьте, мол, вполне благонадежны.

Но вот Митрич загадочно пропал вместе с Алексеем Андреевичем. Шел уже третий день, как их не видели в деревне.

8. Заготовка продуктов

У десантников все время переключались «мирная жизнь» в завоеванном районе с буднями боев. И люди всегда готовы были и к труду, и к бою.

Немцы ведут изнуряющий артиллерийский огонь, а техник-интендант Матюшкин с бойцами и колхозными девушками мелет муку:

— Лепешки-то завтра должны быть. Хозяйственнику, действующему в тылу врага, работы много. Там нет ни складов, ни баз снабжения, ни мастерских, ни прачечных, ни бань. А кормить бойцов надо, мыть надо и белье чистое давать надо. Тут

нужно быть очень изворотливым человеком.

Матюшкин прекрасно все это знает и поэтому не откладывает работу в долгий ящик, а принимается за нее немедленно.

Взяв с собой двух красноармейцев, он отправился в деревню Б. за продуктами. Едет он на плохонькой лошаденке, запряженной в большие розвальни, и уже представляет себе, как привезет продукты, приготовит бойцам хороший обед, бойцы будут довольны, может быть, ему благодарность выразят. Так он мог бы долго мечтать, но оторвал его от этих мыслей ездовой Гераськин, вопреки всем уставам ткнувший командира в бок.

— Что же вы молчите? Я уж думал, что заснули. Два раза вас окликнул, вы не отвечаете, — виновато проговорил Гераськин и при этом показал в сторону леса, откуда двигались подводы.

— Кто бы мог здесь ехать? Неужели наши на пяти подводах? Нет. Может быть, партизаны?

Когда Матюшкин поднес к глазам бинокль, то увидел, что это едут немцы, на каждой подводе по два человека. Он взял из рук ездового вожжи, дал гнедому «полный газ» и свернул с дороги вправо, между двух больших деревьев. Не поворачивать же обратно. Надо же людей кормить.

— Чтобы немцы не поняли, что здесь засада, ты будешь действовать на этой стороне. Только не переходи, а переползи через дорогу. Без моего сигнала огня не открывай. Я буду бить по передним, а ты бей по задним. Понял? — спросил он Гераськина. Затем передал Гераськину свой автомат, оставив себе ручной пулемет.

Вот уже показалась из-за поворота первая повозка. Матюшкин подпускает немцев на тридцать — сорок метров и открывает огонь. Гераськин ему помогает. Те, что ехали на передней подводе, так и не встали, на задней — тоже. Один из фашистов, сидевший на третьей лошади, схватил автомат и попытался вести огонь. Но было уже поздно. Матюшкин ловко его срезал очередью.

Операция продолжалась каких-нибудь три минуты, и у дороги осталось одиннадцать немцев. Один пленник поехал с заготовителями. Подводы были полны отбитым у нем-

цев добром, которое они награбили в деревнях.

«Ну вот, и очень хорошо, — подумал Матюшкин. — Ехать далеко не надо. Продукты заготовили, фрицев уложили, пленного взяли, еще лошадок приведем. Да к этому еще трофеи: 12 винтовок, 11 автоматов. Все это пригодится», — по-хозяйски подсчитывал он.

Так поработали в этот день заготовители.

9. Сражение

Неоднократные попытки немцев сжать кольцо вокруг смельчаков так же молниеносно проваливались, как и начинались. Теперь фашисты замыслили что-то другое... Наступил период затишья, но десантники прекрасно понимали, что немцы хитрят, что это затишье перед бурей, и к предстоящей буре готовились.

На рассвете вражеские бомбардировщики в сопровождении истребителей нанесли бомбовый удар с воздуха, одновременно фашисты сосредоточили на обороне десантников массированный артиллерийский и минометный огонь.

Наступление готовилось одновременно в нескольких направлениях.

Цель была ясна. Фашисты решили расчленил район на две части, нарушить оборону десантников, а затем повести круговое наступление, на полное уничтожение советского района.

В течение двух часов десятки фашистских самолетов делали палеты на оборону двух деревень. Немцам казалось, что не только ни одной живой души, но и камня на камне не осталось от обороны десантников.

Блиндажи и дзоты, в которых находились десантники, засыпало снегом, перемешавшимся с землей, горели дома, сарай, над головами со свистом пролетали осколки, но ни один десантник не покидал своего поста.

Вскоре на одну из деревень пошли танки, вслед за ними двигалась пешота. На других участках немцы демонстративно создавали видимость наступления.

На командный пункт Ануфриева и Распопова связной доставил донесение, в нем говорилось:

«1. Противник, числом до двух рот с танками, наступает направлением на «М». Один танк нами подбит».

Убито много немцев. Дорогу удерживаю — несую потери.

2. Противник продолжает по нашей позиции вести огонь из артиллерии и минометов.

3. Одной ротой обходит слева, с целью уничтожения группы. Буду держаться до последней капли крови!

Рева».

Присутствовавший здесь же, на командном пункте, полковник Казанкин приказал немедленно вызвать лейтенанта Сучкова и политрука Долинина, а сам, разложив за маленьким столом большую карту, внимательно стал рассматривать красные и синие скобки, которые показывали расположение наших и немецких войск. После напряженного раздумья он провел рукой по облысевшей голове, и на его усталом лице появилась улыбка. Полковник что-то замышлял.

Почти в это же время на командный пункт полковника Курышева и комиссара Щербина связной доставил донесение следующего содержания:

«Немецкие самолеты продолжают на деревню налеты. Одновременно ведут артиллерийский и минометный огонь. Танки еще не показываются.

У нас самолетов, тяжелой артиллерии и танков нет, но — деревня была — есть — и будет советской.

Ни одному живому фрицу нет и не будет в ней места.

Умрем, но гадов не пустим!

Улитчев».

Прочтя донесение, Курышев и Щербина немедленно организовали быструю переброску подкрепления.

А в эти минуты из леса в сторону южной окраины деревни, подступы к которой оборонялись группой Улитчева, двинулись семь немецких танков. На танках сидели автоматчики, за танками шла пехота.

Фашисты были убеждены, что в деревне не осталось ничего живого и что они беспрепятственно войдут в нее. Но по дорогам свои танки не пустили. Фашисты узнали, что дороги минированы, и пошли целиной. Передний тяжелый танк делает резкий рывок вперед, затем пятится, снова делает разбег: он пробивает путь. Остальные движутся колонной.

Улитчев, согнувшись, подходит к комсомольцу Авакяну.

— Слушай, Жорж, ты будешь бить по третьему. Я знаю тебя — горяч больно. Учти, торопиться не надо — попортишь все дело. Перебьют нас, а мы даже и одного танка не сможем подбить. Будем бить сразу, но каждый по своей цели...

Торопливо перебегает он к Федору Бизяеву:

— С тобой, Федя, разговор короткий. Ты знаешь, мы ведь вместе читали, как двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев защищали Москву. Они погибли, а врага к столице не пустили. Ясно, Федя, — ты же москвич — бьешь по четвертому танку, жди моей команды...

Федя всматривается, танки медленно движутся вперед. Секретарь комсомола уже обошел весь блиндаж.

...Александров, Пузанов, Ключев! Все живы, раненых тоже нет, молодцы ивановцы! И, не дожидаясь ответа, продолжает: — Нас шестеро — танков пока что семь. Вы бьете по последним трем. Александров — старший, он назначает мишени, важно, чтобы бить без промаха. Знайте, друзья, в соседней деревне наш госпиталь. Она отсюда в двух километрах, там наши тяжело раненные товарищи. Если мы сдадим рубеж, танки их раздавят. Я иду на другой конец блиндажа и буду бить по первым двум. Огонь фашистов отвлеку на себя. Когда танки подойдут... ближе к деревне, то колонной не пойдут и обязательно развернутся во фронт. — И, уходя на свой рубеж, вполголоса добавил: — Открывайте огонь только после того, как фашисты сосредоточат свое внимание на мне, — и он быстро удалился.

...Получив подробные указания от Казанкина, лейтенант Сучков шел со своей группой лыжников по глубокому, заросшему кустарником оврагу. Он должен сделать дальний обход — зайти в тыл фашистам, наступающим на деревню, где оборону держит Рева.

Лыжники шли ускоренным маршем. Каждый час делали привал, но он был очень коротким. Надо успеть к вечеру дойти до места, еще засветло провести разведку, как лучше и быстрее отрезать наступающую немецкую группу от ее тылов.

К вечеру удалось пройти овраг и подойти близко к фашистским укреп-

лениям. Вот показалась проволока, а за ней большой снежный обледеневший вал. Замысел немцев был прост — они, видимо, надеялись, что этим валом овладеть десантникам не удастся, да и к тому же это было слишком далеко от места сражения, и немцам казалось, что теперь, когда десантники заняты в обороне, отсюда ожидать удара нельзя. Стоящий в ближайшей деревне немецкий гарнизон жил здесь беспечно.

С краю оврага десантники перерезали проволочные заграждения. Домосились звуки духового оркестра и пьяный немецкий галдеж: фашистские обозники гуляли.

Выполнив первую задачу, десантники принялись за другую, более важную работу. Нужно было сделать ступеньки, по которым все сразу могли бы подняться на вал. Чтобы не производить большого шума, Сучков приказал кору льда снять штыками, кинжалами и кортиками — и когда все было готово, лейтенант посмотрел на часы; до обеда оставалось 15 минут. Надо подождать, когда фашисты усядутся обедать, и тогда нанести им удар, — решил Сучков. Вскоре похожий на голос старого козла прохрипел рожок. Немцы шли на обед. Первым поднялся на вал Сучков, не подавая команды, за ним хлынули лавиной парашютисты и, как на эскалаторе, «сбехали» вниз...

Воздух разрезала воюющая ракета, за ней вторая, третья, немецкий часовой открыл огонь.

Десантники группами на лыжах стремительно наседали на деревню, беря ее в кольцо.

Сучков бился на правом крае деревни, его умелые руки действовали, он точно посылал из автомата одну очередь за другой. Среди фашистов началась паника.

В разгаре боя лейтенант почувствовал, как что-то горячее коснулось его правой руки и сильно обожгло, а пальцы перестали слушаться. Ложе автомата как-то механически перевалилось в левую руку. Надо было первязать рану, но сейчас не время, сейчас судьбу боя решают не только минуты, но секунды. Нельзя немцам дать опомниться и сгруппироваться. Рука ноет, он чувствует, как из раны течет кровь, но он стреляет, и громко звучит его команда. Из-за овина показалась орава пьяных солдат. Они бегут прямо на

группу, которую возглавляет лейтенант.

Сучков, полусогнувшись, делает резкий скачок вперед, левой рукой бросает гранату и падает за сруб колодца. Один фашист упал, остальные перебежали к овину, следом подбегает боец с ручным пулеметом. Сучков поднялся на колени, сделал из своей спины как бы подмосток, боец без слов понимает лейтенанта. Он устанавливает пулемет, и его меткие очереди настигают удирающих к овину фашистов. На другом конце деревни раздается негромкое, но дружное «ура!». Слышатся крики, вопль. Сучков почувствовал слабость. «Сказать бойцу, чтобы перевязал?» — подумал он, но сейчас же эту мысль отбросил: нельзя, выйдет из строя сразу два человека, а бой еще не закончен, остановиться тоже нельзя. Это может внести замешательство, а Рева...

Ведь на него насаждают танки, может быть он уже погиб, а я живой! И снова какая-то магическая сила овладела лейтенантом, он вскочил и продолжал руководить боем.

Кругом валялись трупы фашистов — и вот бой стал затихать. Немцы отошли. Вскоре стали слышны лишь отдаленные одиночные выстрелы...

Сучков присел. С чистого неба светил молодой месяц. Связой, подбежавший доложить, что противоположный край деревни от немцев очищен и десантники преследуют убегающих фашистов, заметил на руке лейтенанта темную повязку. Он понял, почему лейтенант без автомата, отстегнул с пуговицы петлю кармана своих шаровар, достал бинт, посмотрел на мертвенно-бледное лицо Сучкова, на его потный лоб, старательно снял липкую повязку — носовой платок, который от запекшейся крови стал черным...

Тут только Сучков почувствовал невыносимую боль: рука представляла собой бесформенную массу, на ней не осталось пальцев.

— Товарищ лейтенант, это они вас, гады... разрывной! — гневно вскрикнул связой.

— Ничего, Володя, — скупо ответил Сучков. — И это ведь им не помогло.

...Политрук Долинин со своей группой двинулся густым девственным лесом, лыжники шли гуськом: так легче, для задних уже проторенная дорожка. Долинин шел впереди, он

был доволен тем, что ему сам Казанкин поручил ответственную задачу. Он напрягает силы и заметно вырывается вперед. Долинин вспомнил напутственные слова комиссара Оленина: «Убежден, что задачу выполните».

Когда Долинин пришел в армию с костромского силикатного завода, сколько раз ему попадало от комиссара: «Почему вы никак не можете найти себя, Долинин? Где вас ни поставят, вы везде заваливаете работу!» — говорил ему комиссар, и Долинин понимал, что правильно его ругает Оленин. Действительно, все выходило как-то не так... А теперь — теперь не только не ругает, а даже сказал: «убежден» — это он, Оленин, выучил Долинина быть душой бойца. «Здесь, брат, нужно сочетать два качества, нужно быть чутким и в то же время требовательным, и всегда личным примером учить бойца». Долинин вспомнил, как в одном из боев он со своим народом ворвался в немецкую блиндаж и пошел в рукопашную. Много немцев перебили тогда, а своего потеряли лишь одного. Оленин после боя пожал ему руку и сказал только одно слово: «Молодец!»

Задумавшись, Долинин не заметил, как вырвался далеко вперед. Оглядевшись, остановился. Закаркала ворона, и чуть не под ногами, задрав уши, шмыгнул заяц. «Хлопнул бы я тебя, косою, да немцев нельзя спугнуть», — сказал политрук и двинулся осторожно дальше..

...Улитчев напряженно смотрит вперед. Танки ползут, он снова пересчитывает их: семь. Вдруг из-за леса выскочил «примус»: немецкий разведчик, он идет на деревню, дает одну, другую, третью очередь.

— Провоцируешь на огонь, гад! Ничего не выйдет! — кричит ему вслед Авакян.

«Примус» пролетел несколько раз над деревней — пострелял и улетел.

С каждой секундой явственнее доносится до десантников гул немецких танков, расстояние все сокращается и сокращается. Третий танк принял резко вправо, за ним идет второй, задние разворачиваются влево — предположения Улитчева оправдались. Фашисты решили развернуть стрелом атаковать деревню сразу в трех направлениях. Развернувшись, танки открыли ураганный огонь, автоматчики и пехота, следо-

вавшие за ними, стали делать перебежки. На Улитчева мчится тяжелый танк, пехота далеко отстала, но солдаты уже громко кричат, они предвкушают легкую победу.

Сердце Улитчева сжалось в комок, к его голове с надрывным ревом ползет фашистский тяжелый танк. «10 метров, 5 метров», — шепчет политрук, и в воздух летит бутылка с горючей смесью. Она разбивается о кожух, и огненные языки расползаются в разные стороны. «Хорошо! — кричит политрук, — хорошо!» Пылающая громада, закрывая небо, пронесется над ним. Вдгонку летят сразу две противотанковые гранаты. В ушах Улитчева зазвенело, запахло гарью. Воздух наполнился громовым разрывом.

Танк затрясся, что-то сильно грохнуло, и он остановился. Ошеломленная таким внезапным и сильным ударом пехота залегла. Но оставшиеся шесть танков обрушили ливень огня на отважного комсомольца, пехота поднялась и пошла в атаку... Это было условным сигналом для друзей Улитчева, они, как бы по команде, открыли смертоносный огонь по танкам и пехоте противника. Танк, шедший последним, рванулся вперед — фашисты, видимо, разгадали замысел парашютистов — и быстро мчался на Александрова, Клюева и Пузанова. «Саха, бьем крепче! — крикнул Александров Клюеву. — Ивановские никогда не отступали..» — и он упал, не досказав мысли: осколок вражеского снаряда напоял сразил хребца. Но и танк резко остановился; в смотровую щель Клюев метко пропустил очередь. Однако из танка продолжали стрелять, и пехота снова поползла вперед; сквозь свист пуль, гул снарядов и рев моторов слышен голос Пузанова: «Это за друга, это от меня!» В воздух летит граната, а вслед за ней бутылка с горючим. Вспыхнул второй танк. В пылающем танке поднимается люк: фашисты хотят уйти, один из них кричит, как сумасшедший. «Врешь, гад, не уйдешь!» — посылая на танк бутылку, кричит Клюев. Фашистский танкист загорелся. Пламя охватило его с ног до головы. Он пробежал несколько шагов и корчась, упал в снег. Среди гитлеровцев поднялась страшная паника, многие стали отходить назад. Из другого конца блиндажа слышно громкое «ура!»: это кричит Улитчев, отбиваясь от наседающих фашистов. Он

заметил, что на правом фланге немцы отползают назад, и дает знать: он жив и отстаивает свой рубеж. Он подбадривает этим не только друзей, но и себя...

Бизяев бьет из противотанкового ружья; два танка горят, остановились третий. Бизяев заряжает ружье, снова бьет, его охватил озноб боя. К нему кто-то приближается — он стреляет вперед и ежеминутно оглядывается. Перед ним Улитчев. Федя бросает гранату, лезет в карман: он хочет перевязать руки политруку, из них сквозь белые длинные рукава маскировочного халата бежит кровь. Но ничего еще не сказал Улитчев, а Федя уже по его голубым горящим глазам понял, что политрук приполз не за этим...

— Дай мне, друг, мпну, у тебя она была... Здорово мы их разделали, а, Федя? Теперь мало их не пустить вперед, надо сделать так, чтобы гады и обратно не ушли. Быстрее привязывай мне мину к спине! — все сразу высказал Улитчев, он спешил.

Бизяев понял, что хочет сделать этот человек! Он не отговаривал и не мешал ему, а покорно выполнил приказание старшего товарища и просьбу любимого друга. Улитчев посмотрел на Федю, глаза его продолжали так же гореть; он сказал только четыре слова: «Победа наша, Федя, крепись», — и, опираясь на локти, пополз...

На помощь фашистам, наступающим на участок, обороняемый Улитчевым, немецкое командование бросило новую группу танков и пехоты, она движется...

Долинин, отправив группу десантников на помощь Улитчеву, сам, пройдя перелеском, остался встречать фашистские подкрепления у деревни. Быстро занял выгодный рубеж и, разместив десантников, определил, что сейчас самая главная задача будет у пулеметчиков, им предстоит работы больше всех. И он переходил от одного пулемета к другому.

Показались фашистские танки, пехоты еще не было видно: она здорово отстала. Десантники пропустили танки к самой деревне, зная, что там фашистов встретят минные участки и расчеты противотанковых ружей.

Вскоре показалась и пехота, она шла колонной по четыре. Это были «мертвоголовцы». Заговорил пуле-

мет, установленный в кустарнике. Пьяные громилы, сраженные метким огнем, стали разбегаться во все стороны и рассредоточиваться во фланг. Долинин только этого и ждал. Заговорили сразу три пулемета. Немцы попали под фланкирующий огонь — тот самый, который они любят устраивать сами.

«Мертвоголовцы» откатились, но снова пошли в атаку. Долинин был уже на другом участке боя: здесь фашисты наседали большой лавиной. Команду подавать некому, слишком мало людей, а решения нужно принимать немедленные и твердые. Он взял ручной пулемет у раненого десантника и метко стал разить фашистов; десантники не ждали команды, а старались действовать так, как действует их командир.

— Нет танков. Сейчас побегит вшивая команда, — говорит Долинин.

— Эти не скоро побегут, товарищ политрук! — отвечает десантник Королев. — Это мертвая голова.

— Именно мертвая, — скупо добавляет Долинин, — мы им подтвердим, что все они оправдывают свое название! — И, быстро став на лыжи, политрук помчался к расчету противотанковых ружей, где уже завязался бой... Передний танк подбит. Экипаж второго танка подводит свой танк к первому и, прячась за ним, открывает огонь по сараю, в котором засел мастер истребления фашистских танков десантник Заколюкин. Один залп, другой, третий! Соломенная крыша, как связанная, свалилась на сторону, старая обмшелая солома засыпала Заколюкину глаза. Следующий удар, — слетели ворота с крючев, расчет отбросило в сторону — Заколюкин ранен... Долинин получил такой удар бронею, что на мгновение потерял сознание. Ружье вместе с расчетом отлетело в сторону. Фашисты решили, что с бронебойщиками все кончено. Вот они выводят свой танк и направляются дальше, но в это время Долинин, превозмогая боль, берет противотанковое ружье. Выстрел. Танк движется прямо на него. Второй, третий удар, танк рванул и стал. Из люка выскакивают фашисты, они в рост бегут к сараю. Но стрелять нечем! В ружье патронов нет. Раздается длинная очередь. Упал один фашист. Автомат методично ведет огонь. Упал второй,

третий фашист: это раненый Заколкин из автомата своего комиссара добывает последних в этот вечер «мертвоголовцев».

...Надвигались вечерние сумерки. Из леса, с того самого места, где начали наступление немецкие танки против горстки храбрецов Улитчева, раздалось мощное русское «ура», дополняемое ровной, все нарастающей дробью автоматного огня. «Ура» повторилось и с левого фланга — это Долинин со своей группой окружал немцев. Воздух потряс колоссальной силы взрыв, похожий на сильный весенний гром. Это было там, где находился Улитчев. Полковник Курьшев и комиссар Щербина направились к месту взрыва. Они увидели полуразрушенные снарядами блиндажи, заваленные землей, снегом и залитые человеческой кровью. В блиндаже поднялся Бизяев, приложил левую руку к головному убору: хотел громко доложить, что десантники-комсомольцы сдержали врага — рубежа не сдали; он хотел сказать о многом, но прежде всего кивком головы показал в сторону, куда пополз Улитчев, — он хотел доложить о том, что шесть комсомольцев-десантников, защищая родину, дрались так, как подобает драться русским богатырям, но когда он открыл рот, на снег, перемешавшись с кровью, выпали зубы. Он удушливо прохрипел что-то и упал навзничь.

Около рубежа, который защищали шесть богатырей, валялось больше шестидесяти фашистов, рядом с блиндажами стояли два сгоревших танка, поодаль — три подбитых, а у входа в деревню, вместо танка, лежала бесформенная масса железа. В нескольких шагах от нее, ослепляя отблесками на ярком солнце, лежал на клочке защитной материи орден «Красной звезды». А чуть поодаль — серенькая, с темными пятнами крови, книжечка с силуэтом Ленина. Щербина поднял билет, развернул его, прочел: Улитчев Виктор Степанович, 1918 года рождения — русский.

...Сучков, окружив деревню и уничтожив почти весь ее гарнизон, пошел на соединение с Ревой. Десантники вели пленных и на трофейных лошадях везли трофеи; в числе многих лежал костюм успевшего удраить фашистского генерала со всеми его

побрякушками... Ночью немцы попали в полукольцо, и, боясь быть отрезанными полностью, под покровом большого снегопада ушли, но, видимо, так торопились, что не могли даже захватить того, что фюрер посылает арийцам в поощрение за «Переделку России на новый лад».

Здесь были ящики с железными крестами и медалями, аккуратно сложенные стопы карточек на посещенные публичных домов, корзинки с презервативами, несколько вагонов гробов.

Повар Андреев, осмотрев трофеи, вслух заключил:

— Ну что ж, фрицы, за землей пришли? Землю получили: на каждого по два метра в длину и полметра в глубину! А что о гробах фюрера позаботился, так это правильно, он «предусмотрительный».

А вот трофейные лошади доставили и Андрееву и Митричу много неприятностей — Митрич помогал возить обеды бойцам, дело это задрожки не терпит, а тут запряхнешь, «но!», а они ни с места. Подстегнешь — тогда пошли.

— Приехали на место, — сетовал Митрич, — кричу — тпру! — стой, а они идут и идут, окаянные! Хорошо один боец крикнул «хальт!». Тогда они остановились.

Очередная вылазка фашистов снова закончилась их поражением. В этот день фашисты потеряли больше трехсот солдат и офицеров, убитыми, ранеными и пленными.

Было подбито и сожжено десять танков и занято несколько новых населенных пунктов, в которые вскоре вернулись хозяева своих владений — колхозники, укрывавшиеся до этого в лесных землянках...

10. Встреча

Светало. Вой прекратился, наступила какая-то необыкновенная тишина. Парашютисты настороженно глядели в сторону соседней деревни: ожидать можно было всего. И вот из леса вышла фигура в женской одежде. Это мог быть переодетый фашист. Снайпер Коновалов взял свою верную винтовку наизготовку. Но в это время двое десантников, находившихся в передовом охранении, встали и, что-то громко крикнув, пошли навстречу этой фигуре. Женщина подняла руку и продолжала двигаться вперед.

Перед десантниками стояла молодая, уставшая женщина. Она прошла больше пятидесяти километров. Женщина узнала от местных жителей о том, что где-то недалеко действуют советские десантники, и вот уже вторые сутки без отдыха и сна идет она от одной деревни к другой, обходя лесами немецкие заставы и патрули, пылливо расспрашивая, где действуют десантники.

— Неужели уже пришла?

Десантники улыбнулись.

— Да ведь смотря — куда. Если в советский район — то пришла!

— А мы идем вам навстрочу и, по правде сказать, подумали, что это фриц какой-нибудь собрался в разведку.

Женщина стала расспрашивать, какие части действуют на этом участке, затем назвала фамилии нескольких командиров...

— Не шпионить ли она пришла? — подумал молодой парашютист и шепотом поделился вновь возникшими у него опасениями с товарищем. Слишком подозрительным показался ему настойчивый и детальный спрос. Десантник потребовал документы, женщина отвернулась и из чулка неторопливо достала тряпочку. В тряпочке, бережно свернутой лубком, хранился советский паспорт. Боец прочел. Посмотрел на женщину, затем снова на паспорт и растерялся.

— Так вы что же, сестра нашего командира? — изумленно спросил десантник и увидел, как на ее исхудавшем лице заиграл румянец, женщина вытирала влажные глаза.

— Это... Это мой муж, — волнуясь, говорила женщина и с тревогой всматривалась в лица. — Где он?

Парашютист взял жену капитана крепко под руку, но и так, хотя ноги ее подкашивались, он явно от нее отставал. Ведь она не видела мужа больше девяти месяцев.

— Ну, вот мы и пришли. Это штаб, здесь живет наш командир, — открывая дверь избы, проговорил десантник. — Он сейчас на КП, я ему немедленно все доложу, и он обязательно скоро здесь будет, — уже уходя, как бы успокаивающе сказал десантник, увидев вновь вспыхнувшую тревогу в глазах женщины. — Вы покамест отдохните.

В маленькой комнате стояли два топчана и простой кухонный стол,

на нем лежала планшетка и портсигар, — жена сразу узнала свой подарок мужу в день его рождения еще задолго до войны.

Вот тут она сразу почувствовала себя усталой, слабой, измученной женщиной. Беспомощно сгорбилась, сидя на лавочке, и уже не могла удержат слез — и обиды, и мученья, и огромной, такой, что не справишься с ней, радости.

На стенке на гвоздике висело полотенце — его инициалы вышиты красными нитками, она ему давала это полотенце, собирая его вещи. Все здесь так горько и сладко щемило душу.

Маленькая комнатка казалась ей большой и светлой, казалось — в такой комнате никогда и не приходилось жить...

Капитан Хотосенков уже знал, что какая-то женщина вышла на его участок, но он думал, что это просто очередной беглец из фашистского плена, к этому он уже привык и особого значения известно не придал. А когда за ним пришел молодой десантник и доложил капитану, кто его ждет в штабе, не только Хотосенков, но и его комиссар бросились туда бегом.

Встреча... Обычно принято считать, что люди в это время целуются, обнимаются, много говорят друг другу, женщина плачет, а мужчина ее успокаивает. Нет, здесь этого не произошло. Небольшого роста, черноглазый, с чуть хриповатым от простуды и бессонных ночей голосом, решительный, энергичный человек с железной волей, ни пяди не сдавший фашистам отвоеванной в их тылу советской земли... заплакал, заплакал такими же горячими слезами, как за шесть минут до этого плакала его жена. Он уже и так был радостно взволнован тем, что отбили фашистов, тем, что его поздравили Казанкин и Оленин с правительственной наградой — за боевые заслуги он награждался орденом Красного Знамени. Радость выжала слезы у этого человека, прилетевшего в тыл к немцам освободить советских людей от фашистского ита... Сколько людей от радости и горя плакало в этот день!

Вот и боец Безногов...

Будучи первым номером у противотанкового ружья, он вместе с десантником Дыхановым занял блин-

даж и в течение двух часов вел огонь по танкам противника. Снаряд разорвался над блиндажем и коптузил отважных парашютистов. Перебравшись из разбитого блиндажа в окоп, Безногов со своим другом продолжали вести огонь по танкам, но немцы вновь обрушили на окоп огонь. Безногов получил тяжелое ранение в бедро, его оттащили в безопасное место. Дыханов был тоже ранен, но гораздо легче. Он и повез после боя друга в госпиталь. Когда подъезжали к одной деревне, раненый настойчиво просил пить, но Дыханов отговаривал друга: «Немножко потерпи, до госпиталя, а там выпьешь, сколько хочешь... Можно и в деревне, но тут, верно, не найдем кипяченой воды». Однако Безногов, несмотря на уговоры, все просил пить. Дыханов видел, что Безногов чего-то не договаривает, о чем, видно, ему говорить либо тяжело, либо страшно. Дыханов не знал, что это и была родная деревня его товарища и тот сейчас боялся спросить, боялся подумать — а что же с его близкими?

Повозка остановилась у большого крайнего дома.

— Давай дальше, почему же тут? — сказал Безногов, и лоб его покрылся крупными каплями пота.

— Ну вот. Хотел пить, а теперь — дальше!..

Дыханову тяжело было слезать с повозки, и он громко крикнул:

— Кто есть в доме — дайте пить!

Из дома вышла женщина с ковшом воды, подошла к розвальням и остолбенела.

— Сыночек, милый мой, ты ли это!.. — Она не верила своим глазам.

Наталя Петровна с помощью всюду поспевающего Митрича, вывела сына в дом, затем помогла его другу. Появился врач. Раненых быстро перевязали.

Вечером, когда уже совсем стемнело, десантники собрались у постелей двух раненых товарищей. Первым явился со своей неразлучной СВТ Коновалов. За ним вошел с ружьем на повязке Батенко. Затем показался разведчик Ванька.

Повар Андреев возился около большой русской печки и жарил что-то вкусное, запах разносился по всему дому.

Казанкин, Оленин, Ануфриев, Распотов, Курьшев, Щербинин и другие явились в точно назначенное время.

Первым слово взял Казанкин.

Он, как всегда, был краток:

— За время боев с немецкими захватчиками, действуя у них в тылу, мы отвлели на себя с немецкого фронта большие силы, — при этом он назвал части, которые бросило немецкое командование на уничтожение десанта. — Нами освобождено от фашистских оккупантов больше ста населенных пунктов. Истреблено свыше десяти тысяч солдат и офицеров. Уничтожено несколько сот автомашин, десятки танков и много другой техники врага! Взяты большие трофеи: около тысячи лошадей, несколько тысяч винтовок и автоматов, сотни станковых и ручных пулеметов. Взорваны десятки мостов, складов с горючим и боеприпасами. На то, чтобы перечислить все, что сделали десантники, чтобы только сосчитать, потребовался бы целый сегодняшний вечер. Важно сказать, друзья мои, что все наши люди показали образцы мужества, отваги и героизма: они знали, что родина ждет от воинов Красной Армии подвигов. Советские люди ждут, чтобы мы их вызволили из-под фашистского ига. Товарищ Сталин следит за нашими успехами.

Здесь же, в тылу врага, в ряды большевистской партии принято больше трехсот человек. Свыше трехсот человек награждено высшей правительственной наградой — орденами и медалями Союза ССР.

Десантники организовали десятки партизанских отрядов — вооружили их идейно и организационно сплотили. В отбитых у немцев районах восстановили советскую власть и прочно ее удерживают, каждый день расширяя занятую территорию.

Когда предоставили слово матери десантника Безногова, а затем и жене капитана Хотеевкова, они хотели много сказать, но горя было пережито так много, что от волнения обоим ничего не могли произнести.

Наталя Петровна встала, показала рукой на запад:

— Идите туда, родные сынки, там вас ждут вот такие, как мы... — и замолчала, и неловко села; говорить было больше не надо...

Алесь КУЧАР

НА ПАРТИЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Родные места

Чем ближе к Белоруссии, тем сильнее наше волнение. Почти год, как покинули мы эти места. Там осталась частица нашего сердца.

Вот и линия фронта. В стороне, в двух километрах от дороги, городок, блокированный частями Красной Армии. Городок с белыми церквями лежит в ложбине. Оттуда непрерывно доносится грохот пушек, минометов и прерывистый треск пулеметов.

Мы поднимаемся на холм. Сегодня здесь спокойно, но вышка, мимо которой мы идем, изрешечена минами и пулями.

Во всем уже чувствуется Беларусь. В разговоре людей, в лесных лужайках и в том, как выглядят деревни.

— Здесь партизанская земля, и тянется она на добрую сотню километров,— говорит нам комиссар партизанских отрядов товарищ К.

По дороге встречаем толпу мужчин, они идут из занятых немцами районов Белорусии.

— Куда?— спрашиваем.

— Известно куда, в Красную Армию! Не успели раньше отомобилизоваться, вот идем теперь!— ответил человек в шляпе, видимо, деревенский учитель.

— Что слышно в вашем районе?

— Да разве там можно услышать что-нибудь, если всю ночь горит и гремит!— ответил молодой, бойкий парень.

— Что же там горело и гремело?— с усмешкой спросил комиссар партизанских отрядов.

— Известно что! Партизаны ночью подпалили немецкие склады и

взорвали баки с бензином. Но, видно, вы лучше нас об этом знаете!— хитро подмигнул он комиссару.— Не наш ли, партизанский, будете?

— Угадал.

— То-то, я вижу, вы все спрашиваете, а сами усмехаетесь.

Навстречу нам движется телега. На ней, закутанный в кофух, лежит молодой, бледнолицый парень. Он тяжело дышит. Комиссар подбежал к подводе.

— Степан?!— почти крикнул он.— Что с тобой?

— Тяжело ранили его, товарищ комиссар!— ответил подводчик.— Все бредит и мечется по телеге.

— Это золотой хлопец!— обернувшись к нам, говорит комиссар.— Он и два его товарища, Серафим и Пятро, установили пулемет на колокольне церкви и шесть дней не пускали немцев в деревню.

Мы выходим на широкий, просторный большак, обсаженный березами. Вот она — наша красавица Беларусь! С дремучими лесами, с широкими нивами. По обеим сторонам тракта лежат руины сожженных деревень. Молчаливо и торжественно стоят леса. Густые краски на ветвях елей и сосен перемешиваются с прозрачной бледной зеленью березовой листвы. Эта земля до боли дорога нашему сердцу! Заходит солнце. По дороге все чаще встречаются перевернутые пробитые пулями немецкие машины.

— Работа отряда батьки Миная!— с гордостью говорит комиссар.

Мы на несколько минут останавливаемся в деревне. Комиссар подходит к окну и спрашивает:

— Тетка, а нет ли у вас берки? (Так зовут здесь квас-березовик.)

— Есть, есть! Заходите, сынки!

Нас встречает старая женщина. Вместо березовика она предлагает нам молоко.

— Вы же, наверно, устали, дорога, видать, немалая, перекусили бы.

В хате полумрак.

— А где же Роман?— спрашивает комиссар.

— Какой Роман?— растерянно говорит женщина.

— Да сын...

— А кто его знает! Куда-то в лес пошел, хворосту собрать немного.

— А может, в партизанах он?— спрашивает комиссар.

— Нет... нет...— отнекивается женщина.

— Да разве вы, тетка, не узнали меня? Я же комиссар!

— Тыфу, нечистая сила,— ответила повеселевшая женщина,— ей-богу, не узнала! При чужом человеке спрашиваете про Романа!

— Поздравляю вас, тетка, Роман награжден высокой наградой — орденом Красного Знамени!

— Так! Хорошо, сынок, хорошо... Только нет отца, некому порадоваться!— Женщина заплакала.

— Бросьте, мама! Разве мало вы уже плакали... А вы скоро пустите брата домой?— прервала разговор девочка, обращаясь к комиссару.

— Завтра же навестит мать!— ответил комиссар.— Спасибо за угощение, прощайте!

По дороге комиссар рассказал нам историю Романа М.

Зимней ночью пробрался он в родную деревню, чтобы разведать, есть ли там немцы. В первой хате, куда он постучал, предатель-выродок успокоил его: «Нет немцев». Роман пошел в свою хату. А по дороге схватили его два фашиста. Обыскали, но револьвер, который был под полкой кожуха, не нашли. Впереди шел один конвоир, сзади другой. Темень хоть глаз выколи. Роман распахнул полы кожуха, достал револьвер и выстрелил в переднего конвоира, потом обернулся, выстрелил в лицо другому немцу и исчез. На другой день по доносу предателя был расстрелян отец Романа. Роман жестоко отомстил за смерть отца. Не один десяток немецких бандитов он убил в боях.

Поздно вечером мы пришли в штаб отряда. Все на своих местах.

Начальник штаба, светловолосый, по-военному подтянутый и складный человек, дежурит возле телефона; рядом связной, мальчик лет четырнадцати. Я внимательно всматриваюсь в коротко подстриженного паренька и в его лице узнаю девичьи черты.

— А ну, Петя, покликай мне начальника караула!— обращается начштаба к связному.

— Есть!— коротко ответил Петя, взял винтовку и вышел.

— Настоящее имя этого Пети — Клава,— говорит начштаба.— Смелая девушка. Очень обижена на меня, что я не пустил ее на операцию. У нас все ее зовут Петя, и сама она так зовет себя.

Неожиданно завонял телефон.

— Товарищ начштаба! Разведка донесла: около ста немцев с минометами и пулеметами рвутся на большак, в район, занятый партизанами, среди них есть кавалеристы.

— Выслать взвод во главе с Романом М. на дорогу. Автоматным и пулеметным огнем расстрелять фашистов, на территорию, занятую нами, не пускать! Мне звонить!— приказывает начштаба.

Короткий ответ:

— Будет исполнено!

Батяка Минай

В штабе мы познакомились с батякой Минаем. Он высокий згорелый и стройный, несмотря на свои немолодые годы. Черные густые усы придают ему суровый вид, хотя лицо ласковое и доброе.

Жизнь этого мужественного человека — это прежде всего жизнь война. Батяка Минай — старый артиллерист, воевал в 1914 году, был награжден георгиевским крестом. Способный, горячий он сердцем, почувствовал великую правду Ильича и в первые годы Октябрьской революции вступил в ряды большевистской партии.

Когда Ленин бросил клич: «Социалистическое отечество в опасности»,— Минай снова пошел на фронт. Он прошел с боями от Минска до Ровно, сражался с оккупантами в партизанских отрядах. За боевые подвиги получил награду — орден Красного Знамени.

Нападение немецких оккупантов на нашу родину застало батяку Ми

ная на мирной хозяйственной работе. Когда фашисты ворвались в его родную местность, старые товарищи, вместе с ним воевавшие в гражданскую войну, и молодежь, которая любила его, пошли за ним в партизанский отряд.

— Двенадцатого июля, — говорит Батька Минай, — я простился со своими детьми — Лизой, Сергеем, Зиной, с моим малышом трехлетним Мишей и пошел в лес. Тяжело было оставлять детей, мать у них умерла в 1940 году...

Батька Минай умолкает. Взгляд его на минуту туманится, и он говорит глухо, словно про себя:

— Больше я их уже не увижу.

Помолчав, он продолжает рассказ:

— Вы, наверно, видели по дороге в эту деревню перевернутые и пробитые машины? Это наша работа. Не могу вам передать, товарищи, того чувства ненависти, которое охватило меня, когда я впервые увидел, как по-хозяйски, уверенно немецкая сволочь отдыхает на лугу, возле моей родной деревни. Они голые — гоготали, дурачились, купались. В глазах у меня потемнело от злости, и я крикнул: «Пулемет!» Как легко стало на душе, когда заговорил пулемет, когда я увидел, как эти подлые убийцы ползли, бежали и выли, бросались в речку, в траву. Впервые я тогда узнал, что значит радость мести за кровь и смерть на нашей земле.

Дальше пошло все, как полагается. Двадцатого июля мы взорвали машину с горючим, потом взорвали семь мостов на важном тракте. Другой тракт тоже стал непроходимым для немцев, и на нем появилась надпись: «Дорога запартизанена», а если и пробовал проезжать по нему какой-нибудь немецкий обоз, то только в сопровождении танков.

Двенадцатого сентября, через два месяца после того, как пошли мы в лес партизанить, ворвался наш отряд в районный центр. Поперебили мы немецкий гарнизон, убили провокаторов, пробыли в городе до утра, спустили шаром, разрушили мосты и снова вернулись в лес.

К этому времени у нас был уже солидный счет уничтоженных фрицев: двести пятьдесят солдат, сорок девять офицеров. Однажды мы убили генерала. То, что это действительно был генерал, мы узнали по

документам, найденным в генеральском мундире.

Приближалась осень, и наша борьба становилась все более напряженной и тяжелой. Лес — наш надежный защитник — обнажился. За нами гонялись немцы и их наемники, а тут возвратился из деревни партизан и сказал:

— Батька, тяжелая новость. Детей твоих забрали немцы заложниками.

Во мне все похолодело.

— Как? И меньших?.. — спросил я.

— Всех, батька... И сестру Ганну забрали... Всюду вывешены объявления: если батька Минай явится к немецким властям, отпустим детей, иначе они будут расстреляны. За твою голову объявлена награда двадцать пять тысяч рублей.

Тяжелая была для меня эта ночь. Как живые, стояли передо мной дети...

«Дети мои, — думал я, если бы вы были старше, поняли бы меня. Без колебаний я отдам жизнь за всех вас и за каждого в отдельности... Но сотни жизней мне поручены, не могу я отдать их на мучения. Да разве это поможет! Нет и не будет жизни ни мне, ни вам, дети, на одной земле с немецкими палачами».

Зимой наступили тяжелые дни для нашего отряда. Мы жили в землянках, питались только пареной рожью. Однажды на землянку, в которой находился я с небольшой группой товарищей, напало около двухсот немцев и несколько полицейских. нас было четыре человека. Мы отстреливались, отступая по глубокому снегу. Убили фашисты товарища мсего Полубинского, убили его жену Полубинскую, пал следом за ними товарищ Кудельский... Я остался один против наседавших на меня фашистов. Диск для автомата у меня всего один. Стреляя я редко и все время мнил позиции.

До поздней ночи я боролся против банды, пока не оторвался от врагов и не скрылся только мне одному знакомыми тропинками.

Усталый, голодный, я был один в лесной глуши. Выли волки, а я думал: «Кто теперь волка испугается, если немец хуже волка!»

Поздно ночью постучал я в хату к моей девяностолетней матери. Мне открыли. Высохшая, маленькая, она гладила мою голову, как ребенку, плакала и все шептала:

— Мучили, допрашивали меня немцы. Пету, сынок, твоих деток... Застрелили их вчера в местечке. Миша, малый, тот не догадывался, кто с ними будет, и все говорил: «Все равно папка их всех убьет!»

Сердце у меня окаменело от горя, и я не знал, как начну я завтрашний день.

Через моего старого товарища Исаака я собрал своих партизан, которые были разделены на мелкие отряды, и сказал им коротко:

— Вы знаете, хлопцы, какое у меня горе... Вы поймете меня, если я буду жестоким...

Хлопцы меня поняли. И уж никто с того времени не может точно подсчитать, сколько немецких голов скатилось на землю от рук моих партизан. А сколько раз мы спасали целые деревни от фашистских грабителей! Немало добра и нам люди сделали. Бывало и так,— заночуют мои хлопцы в деревне, а их там застанут немцы. Выстроят всю деревню от малого до старого. Молодицы становились в ряд с нашими партизанами.

— Это кто?— спрашивал их немец.

— Не трогай,— отвечала грозно женщина,— это мой муж.

Дети зимой с вениками ходили по нашим тропинкам и заматали следы, либо еловым ветками забрасывали их, чтобы немец нас не выследил.

Вырос и окреп наш отряд настолько, что мы начали отвоевывать у немцев целые территории. Сначала отвоевали пять сельсоветов, а теперь еще пятнадцать сельсоветов. Немец не сунется на нашу партизанскую землю. Можете спокойно поехать до самого города В.— вы не встретите ни одного немца, на нашу партизанскую землю ему вход запрещен...

В партизанском нашем районе засеяно все поле, мы помогаем крестьянам, которых ограбили фашисты, семенами, лошадьми. А какие у нас хлопцы! Слышали вы про нашего молодца Романа?

— Слышал.

— Вот это парен!

— А про Лену К. слышали? Хлопцы наши в одном бою немного одрепфили и попятились было назад, так она их выругала хорошенько и сама первая бросилась в атаку. А Ивана нашего не видели еще? Он хоть и хромой, но здорово погнал шестьдесят немцев. Взяли бы-

то мы его на хозяйственную работу, так где там, сбежал. И теперь на передовой сидит. Говорит: мне в штабе скучно.

Нашу беседу прервал телефонный звонок.

— Слушаю! Это Молния? Говорит Омск... Батька Минай, представление готово, приезжай.

— Что это за представление?— поинтересовался я.

— Это мои хлопцы будут бить из пушки по городку, где засели немцы. Надо поехать посмотреть.

Батька Минай одевает легкую защитного цвета шапку, садится на немецкий велосипед и едет в отряд Григория К.

В отряде Григория К.

В отряде орденноносца Григория К. возле пушек кипела работа. Недалеко, на открытом поле, были расставлены картонные макеты пушек; они были тоже замаскированы деревцами. К всеобщей радости партизан, немцы не раз уже бомбили эти картонные макеты. Настоящие пушки находились на краю леса, и теперь их жертва особенно грозно смотрела в сторону врага. Возле тяжелой пушки сутеллся «главный артиллерийский мастер» — Григорий Федорович. Наблюдатели и корректировщики разместились на деревьях.

— Батька приехал,— сказал Григорий К.— Можно начинать.

Земля содрогнулась от могучего взрыва — это был первый тяжелый выстрел, посланный партизанами в крупный немецкий укрепленный пункт. За ним был послан другой и третий снаряд. Наблюдатели отметили точное попадание.

— Метко бьешь! — залюбовался батька Минай, старый артиллерист, работой Григория Федоровича.— А ну, угости их еще несколькими снарядами, и на сегодня хватит.

Пушка выстрелила еще несколько раз.

— А теперь, ребята, нам нечего здесь делать! — сказал батька Минай.— Пойдем в свои ДЗОТы и посмотрим, как будет беситься немец.

Действительно, через некоторое время напуганные и, как потом выяснилось, выгнанные артиллерийским обстрелом из населенного пункта, немцы опомнились и начали бить минометным и орудийным

огнем поляну, с которой стреляли партизаны, но никого на ней не застали.

— Ну что ж, завтра повторим, Григорий Федорович?— спросил командир отряда.

— Это можно!

Григорий Федорович мастер на все руки. Он и пушки ремонтировал, и танки, которыми пользуются сейчас партизаны. Григорий Федорович помогает мастерам М. и Д. в выработке минометов. У партизан налажен выпуск своих минометов.

— Проще нет штуки, чем миномет!— говорит Григорий Федорович.— Дай ты мне трубу подходящего размера, и я сделаю тебе такой миномет, что залюбуешься!

Отряд Григория К. вел оборонительные бои против немцев, которые стремились выбить партизан из леса и деревни. Все попытки немцев были тщетными. Отряд хорошо окопался, засел в ДЗОТы и не отступал ни на шаг. Партизанские позиции находились в 30—40 метрах от немецких ДЗОТов, так что нередко брехливые немцы пробовали агитировать партизан, или, как говорит Лена, «братъ на пушку». Один офицер все кричал из ДЗОТа на ломаном русском языке:

— Партизан! Здавайсь! Капут!

Лена отвечала ему:

— Сам славайсь, тебе будет капут!

Тогда офицер начал дразнить партизан: надел на палец каску и начал водить ее возле амбразуры ДЗОТа. А партизаны изловчились и убили бокового офицера.

Разозлились фашисты, начали, как бошение, стрелять сразу из минометов, пулеметов и автоматов, а потом бросились в атаку. Наши партизаны не ждали такого напора и попятиться было некуда. Тогда-то вперед и выскочила Лена К. Она закричала партизанам:

— Куда вы, сукныны дети?!

— Так ведь там от мин некуда деваться!— ответил какой-то новичок.

— Пойдем с мной, я тебе покажу, куда от мин деваться!— И Лена бросилась с винтовкой вперед. Ее подержали все партизаны.

* * *

При входе в штаб отряда нас задержал часовой в немецком мундирчике.

— Пропуск, понял?

— Мне нужен командир отряда.

— Не могу! Пропуск, понял?

— Кто же ты такой будешь, что в немецкую форму одет?

— Я бесстрашный снайпер Кайнула У., понял? А здесь делаю два дела: на часах стою и немецкую стрелковую хочю сбить из снайперской винтовки, понял?

Про Кайнулу У. я много слышал в штабе батки Миная. На его текущем счету около семидесяти уничтоженных фашистов. Это он потребовал, чтобы назначили «жюри» для определения результатов его «работы». Завтра он снова собирался идти в снайперскую засаду. Позже мне довелось встретиться с Кайнулой в медпункте отряда. На этот раз парню не повезло: немец прострелил ему ногу. Но Кайнула не покинул свою драгоценную снайперскую винтовку. Пересиливая боль, он тащил ее за собой и не успокоился, пока не вручил командиру отряда.

В отряд Григория К. за последнее время пришло много белорусских девчат. Партизанка Поля В., молодая белорусская девушка, никак не могла ответить на мой вопрос, почему она вступила в партизанский отряд.

— Вступила, вот и все...

— Почему все же?— допытываюсь я.

И, наконец, Поля теряет равновесие:

— Не понимаете... А потому, надо же кому-нибудь гнать немецкую заразу с нашей земли!

Поля наотрез отказалась быть медицинкой сестрой. Эта профессия вообще не в почете у партизанок. Все хотят быть бойцами. Поля храбро себя вела в боях, гранатой, винтовкой уничтожала немцев. В последнем бою ей, как и Кайнуле У., не посчастливилось: она была ранена разрывной пулей в плечо.

Марина К.— незаменимая разведчица. Однажды она выдала себя за жену полицейского, взялась быть проводницей немецкого обоза и привела его в расположение партизанского отряда. Когда немцы догадались, в чем дело, они открыли по отважной разведчице огонь, но она исчезла. Обоз был частично уничтожен, частично захвачен партизанами.

В отряде Григория К. сражаются два брата—Иван Федорович Ч. и Змитрок Федорович Ч. Брат их Михаил оказался предателем—полицейским. Когда об этом узнали бра-

т.я., они написали предателю гневное письмо:

«При первой же встрече с тобою первый заряд из наших винтовок будет пущен в тебя. Не дрогнет рука, потому что мы будем уверены, что убьют изменника.»

Разве ты не видишь, изменник, что там, где красовались наши деревни и города, там теперь гуляет ветер, да возле печных труб на развалинах, как головешки, валяются, обгоревшие кости твоих белорусских братьев, сестер и невинных детей, живыми брошенных в огонь? Почему фашистские звери издеваются над нашим народом? Потому что это нечеловеческие звери, которые питаются человеческим мясом без всяких приправ».

В отряде Григория К. недавно был суд над предателем. Во время стычки с врагом он бросил свое оружие и с криком «спасайтесь!» побежал. Партизаны с удивлением поглядели на «сумасшедшего». Потом выяснилось, это был подосланный немцами шпион-провокатор.

Сурово и неподвижно стояли партизанские ряды, когда командир отряда коротко спросил:

— Изменник заплатил нашу честь! Какой будет приговор, партизаны?

— Отрекся от присяги, смерть! — отозвался хриплый голос из рядов.

«Смерть!» — было написано на суровых лицах, и все сказали:

— Смерть!

Командир отряда выпул револьвер и выстрелил.

Полные презрения, пошли партизаны, не поглядев даже на труп собаки-изменника.

В отряде Алексея Г. и Данилы Р.

Вдоль широкой реки мы едем с большой Миной в глубь белорусской партизанской земли. Под горячим солнцем спокойно несет река свои волны в далекое Балтийское море. На том берегу реки стоит высокий густой лес. Там немцы.

Временами мы сворачиваем с большого на полевую дорогу — ехать прямо нельзя: можно попасть в немца в «гости».

Недалеко от дороги в кустарнике стоят замаскированные партизанские

По дороге идут люди: мужчины, женщины, дети. Идут молодые парни призывного возраста, идут в Красную Армию, в партизанские отряды. Идут, убегая от немецкой чумы, из сожженных фашистами городов и деревень. Идут в партизаны целыми семьями — отец, мать, сын, дочь. Отряд партизан — для всех спасение от немецкой каторги.

На своем пути мы встречаем Михаила Л. Он идет возле высокого воза. Это один из участников славной операции, в которой было уничтожено 800 тонн бензина и 1016 тонн хлеба. На возу лежит его больная жена — она едва выбралась из оккупированного немцами городка. Это она принесла партизанам шесть бутылок бензина для поджога складов. Женщина бежала лесами и болотами десятки километров, за ней гнались немцы. Страшное горе постигло Михаила Л. и его жену — их одиннадцатилетняя дочь Элеонора была схвачена немцами и расстреляна. Теперь Михаил Л. партизанит вместе со своим одиннадцатилетним сыном Игорем.

В отряде Алексея Г. нам показали новые трофеи отряда — оружие, чудесный аккордеон и две моторные лодки, отбитые у немцев. Парни, отбившие лодку, приглашают нас прокатиться по реке. Аккордеон партизаны решили послать белорусскому ансамблю красноармейской песни и пляски, с тем, однако, условием, чтобы ансамбль приехал к ним в гости, либо сыграл для них по радио любимую белорусскую «Лявониху».

В отряде орденоносца Данилы Р. сегодня горячий день. Готовится большой налет на немецкий гарнизон. Решено уничтожить там 300 лошадей, предназначенных для немецкой армии. Из похода партизаны возвратились усталые, но довольные. В разгромленном ими караульном помещении удалось уничтожить около 40 фашистов. Кошюшья, в которой стояли лошади, навесов прострелена пулеметами. Немецкие пушки, стоявшие в деревне, не успели сделать ни одного выстрела, прислуга расчетов была перебита. И хотя враг вел из пулеметов интенсивный огонь, отряд вернулся без потерь.

Командир отряда Данила Р. — агроном, он окончил сельскохозяйственный институт.

— Военным стратегом никогда не был, — говорит он о себе, — а вот вой-

на научила! Правда, обижаются на меня ребята, что я во время боя слишком близко к врагу выношу командный пункт. Говорят, что уж очень я длинный — мишень большая.

Данила — командир действительный и энергичный. Он не ждет врага, он сам ищет встречи с ним. Данила не только боевой командир, он хороший хозяин. В его отряде чудесный хлебозавод, который обеспечивает хлебом многие отряды партизан и даже части Красной Армии. Всегда у Данилы найдется свежая рыба: он организовал рыбаков в артель и снабжает отряды партизан рыбой.

Смеясь, рассказывает товарищ Данила о том, как однажды, захватив немецкие склады с семенами и картофелем, он исполнил роль немецкого бургомистра. На склад этот приехали подводы за семенами и картофелем для немецкой армии и с ними два полицейских.

— Нагружайте, паны полицейские, нагружайте, — сказал я. — Но глядите, — говорю я своим помощникам-партизанам, — чтобы все накладные были как следует оформлены.

— Все в порядке будет, пан бургомистр, — отвечают немецкие партизаны, а сами чуть не прыскают от смеха.

Когда зерно было нагружено, я сказал:

— Паны полицейские, вышла ошибка. К вашему великому сожалению, я не пан бургомистр, а партизан Данила. Прошу вас спокойней, паны. Вы теперь поедете вместе с моими ребятами и сдадите эти продукты нашей непобедимой Красной Армии. А остатки картофеля и зерна мы раздадим крестьянам.

— Так мы сыграли этот спектакль! — заканчивает Данила свой рассказ.

* * *

Мы уже не первый день в партизанских отрядах, а часовые все еще относятся к нам недоверчиво. Но такого свирепого постового, как в отряде Михаила Федоровича Б., нам еще видеть не приходилось. Ему всего лет двенадцать, этому постовому, однако никакие важные удостоверения нам не помогают — он твердит одно.

— Пропуск!

— Но пропусти ты нас к караульному начальнику или к командиру отряда! — просим мы.

— Не подходи, а то пушу в ход оружие! — и он грозно наступает на нас с винтовкой наперевес.

Приходится ждать, пока с другого конца деревни придет начальник караула.

Только тогда Яков Р. становится с нами немного мягче, и я пытаюсь с ним поговорить.

— В школе учишься? — спрашиваю я его.

— Какие могут быть тут школы? — презрительно усмехается он. — Здесь же рядом немцы, воевать надо!

На другом конце села мы встретили не менее грозного постового в красном платке — Марию Ш. Она в свое время была учительницей в школе, где еще так недавно учился Яков.

Утром командир отряда, Михаил Федорович, собрал на совет командиров рот. Партизаны входили, отдавая честь командиру.

— Товарищ командир отряда, по вашему приказу командир третьей роты явился!

— Садитесь!

Речь шла о новых операциях, задача которых заключалась в том, чтобы не дать немцам ни одного пуда зерна. Командир отряда, обращаясь к командирам рот, за которыми были закреплены отдельные деревни для охраны их от немцев, сказал:

— Ну, пусть попробует немец взять у вас хоть одно зерно!

— Не возьмет! — дружно ответили партизаны.

— Не возьмет! — решительно говорит сидящий рядом со мной человек. Это щуплый, небольшой паренек Георгий Ю., один из лучших разведчиков отряда. Спокойный и уверенный, он сидит в широченном галифе и френчике немецкого покроя, курит огромную люльку с крышкой. Все это трофей, добытые им при разгроме волостной управы.

Не так давно пять партизан из отряда Михаила Федоровича Б. из-под носа у немцев угнали грузовую автомашину. В праздничный день на людной площади большого города они сели в машину и поехали в свой отряд. Григорий Ю. сидел в немецкой одежде рядом с шофером. Он изображал немецкого солдата, остальные были дровосеками и сидели в кузове. Машина шла «за дровами» в лес. Когда машина подошла к отряду, навстречу ей вышел

сельский бургомистр. Он прямо расстилался перед приехавшими:

— Пан немец! Ах, боже, боже! Куда же вы! Там же партизаны, вернитесь!

Машина пролетела, как стрела, мимо растерянного бургомистра. Он еще пытался некоторое время бежать вслед за ней, потом вернулся, плюнул и сказал:

— Известно, немчура не понимает нашего языка, вот и летит на гибель. Сломают ему голову партизаны. Ну и чорт с ним!

На фашистских объявлениях, которые расклеены в деревнях и городах, часто можно видеть «резюлюцил», сделанные рукой Григория Ю. и других партизан. На одной из таких листовок они написали:

«Гитлеровская брехня». К плакату с подписью «Гитлер-освободитель» партизаны приписали: «Освободил от еды и одежды». В одном местечке в день Первого мая партизаны вывесили красный флаг. Бургомистр лично полез снимать флаг, но как только дотронулся до древка флага, взлетел в воздух. В том месте, где был вывешен флаг, партизаны заложили две мины.

В конце мая удачно был проведен отрядом налет на волостную управу.

Чтобы миновать полицейские посты, партизаны устроили такой маскарад: двое надели на рукава белые знаки фашистских полицейских. Мария Ш. и Мария А. шли как бы арестованные между вооруженными «полицейскими». Так они свободно вошли в волостную управу, разгромили её, забрали документы, печать и исчезли.

В отряде Михаила Федоровича В. я услышал историю жизни и смерти бесстрашного патриота родины партизана Коля Азеуша. Он был молод, только что окончил среднюю школу. Но когда было нужно, не колеблясь, отдал свою молодую жизнь за родину, за народ. С тремя товарищами он сражался против семидесяти немцев и погиб, погиб как герой. Коля презирал опасность, он говорил: «Я бронированный!»

Старый шестидесятилетний учитель, никогда прежде не писавший стихов, был так взволнован подвигом героя, что написал о нем песню. И песню про Колю Азеуша поют теперь во всем партизанском крае.

Отважным партизаном был Миша

Сильницкий. Однажды послали его в разведку узнать расположение немецких сил в деревне. А он засел на кладбище с пулеметом и один выгнал 38 разбойников из деревни. Когда подошли партизаны, деревня была уже свободна от гитлеровцев.

В памятном бою у деревни П. Миша Сильницкий уничтожил пятьдесят фашистов. Когда не осталось больше патронов, он вышел из засады.

— Мало я вас, подлюг, сегодня скосил?!— крикнул он им и бросился на немцев с кинжалом. Раненый, он уничтожал врагов, пока сердце его не перестало биться.

Беларусь воюет

С партизаном Яковом мы идем в отряд Михаила Ивановича Д. По дороге встречаем подводку. На ней человек с суровым, обветренным, загорелым лицом. Несмотря на жару, он одет в баранью телогрейку.

— Это и есть Михаил Иванович!— говорит мне Яков.

— Поздравляю вас с орденом Ленина!— говорю я Михаилу Ивановичу.

— А что, разве где-нибудь написано об этом?— удивился Михаил Иванович.

Помолчав, он встал, выпрямился и сказал:

— За награду отблагодарим партию и правительество. Скоро это немцы на своей шкуре почувствуют.

Вот и партизанская деревня. Дозоры. У нас требуют пропуск. Через несколько минут мы в штабе сидим в кругу партизан. В штабе этого отряда я встретил своих знакомых по прежней довоенной жизни: преподавателя языка и литературы и учителя математики. В отряде учителя любят и ласково зовут: «наш Сенечка».

Начались воспоминания о том, как организовался отряд, как люди приобщили в партизаны. Смешные эпизоды переплетаются с трагическими, и мы не замечаем, как проходит ночь.

Весть о приближении частей Красной Армии к Белоруссии всколыхнула весь народ, рассказывают партизаны.

Командир партизан Михаил Иванович, узнав о приближении Красной

Армии, ночью ворвался в дом управляющего. Тот пьяный лежал на печи. Михаил Иванович затормошил его, закричал:

— Господин управляющий, слазь!

— Отцепись, я обедаю!— пробормотал тот сквозь сон.

— Оружие твое где?— грозно спросил Михаил Иванович, стаскивая управляющего с печи.

Тот опомнился, покорно ползлелся в угол и подал винтовку.

— А ну, веди к твоим полицейским!

Полицейский оказался более упрямым.

— Дай свою винтовку!— предложил Михаил Иванович.

— А ты мне ее давал?

— Я не люблю дискуссий,— ответил Михаил Иванович и лягнул затвором.

— В чулане винтовка. Берн, чтоб тебя холера взяла!— лениво проговорил полицейский.

— Запрягай коня! Поедем со мной,— приказал Михаил Иванович.

— Так за одну ночь,— рассказывает Михаил Иванович,— я объездил много деревень и добыл немало оружия. Вот тогда в деревне Г. я и встретился с очень странным полицейским.

— Давай твою винтовку, пан полицейский!— говорю я ему.

— Я такой же пан, как и ты,— заискусливо ответил тот.

— Ну, без шуток

— А я не шучу! Ты думаешь, если партизаны поставили меня за полицейского, так ты очень командовать будешь мною?

— А кто же ты такой?

— А Сивер С. Не слышал?

— Из отряда товарища В.?

— Вот именно!

— Ну, тогда поедем, браток, со мной, поможешь мне оружие собирать!

Как только разговор зашел про Сивера С., все тут же вспомнили о его товарище и соратнике по боевым делам, Фоме У.

— Фома! Расскажи, как ты был «господином управляющим»!— говорит кто-то из партизан, обращаясь к застенчивому, спокойному парню, который сидел недалеко от меня.

— Да что там рассказывать!— отнекивается Фома.

— Ну, тогда я расскажу,— отзывается высокый Казимир С., бывший директор средней школы.

— Был у нас Фома,— начинает Казимир,— председателем в колхозе. Очень хорошо налажено было у него хозяйство. Народ им был доволен, обязательства перед государством выполнял в срок. Предложили ему немцы и на будущее время за председателя, по-ихнему «господином управляющим общественного двора». Фома к партизанам: «Как, мол, быть — какой я к чорту господин управляющий? Еще вилами живот распорю господину бургомистру». А партизаны ему: «Будь ты нашим партизанским господином управляющим». Ну и завел же Фома порядки! В волостную управу за председателя поставили Владимира С., меня за секретаря взяли. Даже своего партизанского полицейского назначили Сивера С. И пошла у нас работа! Установили радио в волостной управе. Каждый день сообщения Советского Информбюро слушаем и партизанам передаем. Свидетельства евреям пишем, что они христиане. Фома так загордился, что уже говорил: «Какие там обязательства у меня могут быть перед немецким государством? Да что это за государство — тьфу!» Заготовок не сдает, а все пишет акты, что сдавать нечего, немецкая армия, мол, все разграбляла. Оно действительно так и было — все, что не успели спрятать, забрали немецкие солдаты. Однако кое-что, конечно, было припрятано. Ржи у нас было посеяно девяносто шесть гектаров, а он пишет сорок шесть, да и те потоптаны, мол, немцами. Озимых посевов вместо пятидесяти семи гектаров пишет семнадцать гектаров, да еще семнадцать соток выдумал! «Без соток, говорит, быть не может!» Сдал какую-то каплю ржи, зато очень ухвалился за выполнение лесозаготовок. Отправив одну подводу, за один день выполнил все заготовки, так сказать, досрочно. Наполнил водкой лесного объездчика, тот и удостоверил! А потом этот сумасшедший Фома так разошелся, что ворвался однажды с винтовкой в колонну немцев, пострелял их, да и исчез! Правда, об этом немцы не дознались. Но видят, чорт знает что!

говорится у этого Фомы. Евреев от уничтожения прячет у себя дома, налогов не платит! Приезжает полицейское начальство на расправу с ним, застрелить решили Фому. Ну, а мы сделали наоборот. Их расстреляли, а сами в лес, в отряд. Перед расстрелом, чтобы полицейские не догадались, что им готовится, я еще их пригласил к себе на обед. «Пожалуйте, господа полицейские, я только что женился, к нам на обед!» А тем временем хлопцы готовили им место последнего отдыха.

После этого забрал я жену, и направились мы в отряд.

Партизаны Михаила Ивановича вспоминают о многочисленных своих боевых операциях, о том, как недавно сожгли они два немецких танка и разгромили завод. Здесь же сидят и «винновки» этих дел, Григорий Андреевич и Павел Алексеевич Е.

— Смелый парень был Толя Кириллов, — с гордостью говорит Казимир С., — настоящий был партизан. Он с отцом в одной операции прервал связь немецкого гарнизона и сжег их склад. Молодой парень, а погиб геройски.

— Тяжело живет народ под немцами! — рассказывает партизанка П. — Несколько деревень в нашем сельсовете немцы сожгли дотла. В одной только деревне убили двадцать два человека.

— Налоги немцы установили такие, — отозвался старый партизан, — что и мир не видел... За собаку — сто пятьдесят рублей в год, да еще держи собаку на привязи, либо вози на цепочке! А убьешь собаку — штрафу тысячу рублей! Окно у тебя на улицу смотрит — плати двадцать пять рублей! За дверь — тридцать рублей. За кошку плати во семьдесят рублей, и даже если бороду хочешь носить, и то плати пятьдесят рублей в месяц! Рыбу удить запретили. На это нужно иметь разрешение немецкого команданта. Трех мальчиков в деревне Сеченки немцы застрелили за то, что они удили рыбу.

Документы, которые захватили партизаны при разгроме волостной управы, приказы и распоряжения бургомистра районной управы рисуют жуткую картину ограбления населения. А в делах волостной управы подшиты сотни заявлений ограбленных крестьян, с одним кри-

ком: «Хлеба!» Но они оставлены без внимания. Зато много внимания уделено грабежу крестьян. Вот интересный документ:

«Извещение. Зусько Матрене.

На основании приказа германского командования, Вышедская волуправа обязывает вас слать в Вышедскую управу следующее: шерстяной шарф. Срок сдачи 21/12 1941 года. За несвоевременную сдачу будете отвечать по законам военного времени».

Однако даже полицейский вынужден был сделать приписку на этом же отношении: «У нее не имеется овцы». Действительно, откуда у женщины будет шерстяной шарф, если у нее даже овецки нет — сожрали немцы?

Вообще не повезло немцам со сбором теплых вещей в районе. Вот результаты: собрали три пары рукавиц, две пары носков. Не хотят люди, даже под угрозой наказания «по законам военного времени», но только носки — сено, рожь славать. «Военные части требуют сена. А поступлений сена из нашей управы нет», — начинается одно из предупреждений лесничего, в котором «господин начальник» волостной управы грозно называется бездельным человеком. Он настолько бездельтен, этот «господин начальник управы», что даже полный список немецких могил не мог составить. «Выявлены могилы не зарегистрированные». Немецкие власти недовольны. Да разве выявишь все могилы немецких разбойников, если их тысячи тысяч! Напрасно здесь обвиняют «господина начальника».

А вообще дела у «господина начальника» идут все хуже и хуже. Заготовки не выполняются, и «дело» управы кончается грозным приказом немецкого команданта, объявляющим всю волость целиком партизанской. Приказывается провести перерегистрацию всего мужского населения от 16 до 45 лет с тем, чтобы они были посланы на принудительные работы в немецкие лагеря, «пока не наступит умиротворение волости».

— После этого приказа, — говорит один старик, — мы и очутились все здесь, в лесу, в партизанах.

В делах волостной управы подшиты два документа. Фашистская листовка, в которой говорится о том,

как приятно жить в немецком плену. Листовка отпечатана даже с картинками. Толстомордые немцы, одетые в красноармейскую форму, едят суп. «Горячий суп — приятная вещь! Как вы давно не получали этого!» — говорит листовка. «А я съел так». И тот же немец с поднятыми руками сдается в плен к немцам. «Теперь я сыт и могу от души посмеяться». А рядом с этой листовкой в дело волостной управы подшита бумага со штампом и печатью, следующего содержания: «Председателю Солодухинской волостной управы. Вам разрешает Езериченская райполиция выдать двух павших лошадей для питания военнопленных в лагерь Езериче».

— Вот тебе и рай в немецком плену! — говорят партизаны. — Этих двухдохлых лошадей будут делить на несколько тысяч человек. Пленным бросят чесоточную шкуру дохлой лошади! Чтоб эти немцы сами подошли со своим пленом! Лучше удавиться, чем к немцам в плен попасть!

Уже рассветало, а уходить не хотелось. Хотелось слушать и слушать эти рассказы о суровой жизни, чувствовать рядом с собой людей, всю жизнь свою беззаветно отдавших родине.

Взял гармошку Сенечка, и полилась в землянке белорусская песня. Мы поем: «Как в поле верба», «Что за месяц, что за ясный» «Ой, расцвела роза». Как же сладко петь родную песню здесь, на родной земле! Пускай слышит нашу песню враг! Живет Советская Беларусь! Борется, воюет! И носителями ее славы, чести, культуры являются белорусские патриоты-партизаны.

Под утро мы с Сенечкой вышли из штаба.

— Что, хорошо у нас? — спрашивает Сенечка. — Люблю я наше партизанское житье! А вот был я, можно сказать, человеком далеко не военным, просто преподаватель физики и математики, даже не военнообязанный. Но когда я увидел, что за подлые скоты эти немцы, не мог стерпеть! Презде всего противно было слушать их жлившую пропаганду, безудержную их похвальбу. Я сделал радиоприемник и начал слушать советское радио. Люди стали приходить ко мне, как к учителю, за со-

ветом. Нужно же было мне говорить правду! А раз правду говоришь — значит партизан! Ну и лихо с вами! Стал я настоящим партизаном. И стрелять научился. Вы, должно быть, знаете, что наш район объявлен немцами вне закона как полностью партизанский.

И нужно сказать, что мы себя совсем непохоже чувствуем в своем партизанском краю, у нас полностью восстановили органы советской власти.

В одном из поселков на лучшем здании вывеска «Районный комитет КП(б) Белоруссии», «Райисполком», «Райком ЛКСМ Белоруссии». Во главе райисполкома — наш партизан и отряда Данилы Ф., секретарь райкома комсомола также партизан. В нашем поселке работают больница, аптека, столовая, имеется даже библиотека, хоровой и драматический кружки. Все это организовали партизаны. Немцы берут налог за право обратиться к врачу, а наша партизанская больница лечит и даже бесплатно выдает лекарство. Население занятых немцами деревень приходит за помощью в нашу больницу.

В нашем партизанском краю полностью засеяна земля, готовятся к уборке урожая. Председателям колхозов мы рассказали, как надо прятать хлеб от немцев, как организовать защиту урожая.

В городском поселке начали работать небольшой кожевенный завод, кустарная артель, хлебозавод. Райисполком оказывает большую помощь семьям красноармейцев, партизан и населению, пострадавшему от немецких грабежей.

Уже совсем рассвело. «Мастера по ремонту мостов» — так здесь называют партизан, специализировавшихся по подрыву мостов, — вернулись с работы, и неутомимый Михаил Иванович говорил с ними о результатах «ремонта». Где-то слышны были глухие взрывы. Это заложены партизанами мины делали свое дело. Еще дальше непрерывно говорили пушки и минометы. Солнце вставало яркое и чистое, как завтрашний день Белоруссии.

*С белорусского перевода
Е. МОЗОЛЬКОВ*

А. В. ГОЛУБЕВ

ЛЕТО 1942 года

Лето 1942 года войдет в историю великой отечественной войны народов Советского Союза против фашистской Германии как период напряженной борьбы за советский юг.

Стянув крупные силы на южных направлениях огромного советско-германского фронта, немецко-фашистские войска после тяжелых боев потеснили части Красной Армии, захватили восточную часть Донецкого бассейна и глубоко вторглись в пределы Дона, Кубани и Северного Кавказа. Они угрожают низовьям Волги, пытаются овладеть Сталинградом и Черноморским побережьем, упорно рвутся в глубь Кавказа, стремясь добраться до основных нефтяных источников Советской страны — района г. Баку. Перед Советской страной и ее Красной Армией во весь рост стоит задача — отстоять советский юг, сорвать планы врага и напряжением всех сил и средств добиться над ним полной и окончательной победы. Для решения этой задачи, несмотря на всю напряженность положения на юге, наша страна располагает всеми необходимыми данными.

Наступление германских войск на южном участке нашего фронта характерно тем, что оно отражает прежде всего новые стратегические планы германской армии в борьбе против Советской страны. Эти планы своей конечной целью имеют то же самое, что и наступательные планы Германии летом прошлого года, а именно: разгром главных сил

Красной Армии, оккупацию всей советской территории, порабощение всех народов Советского Союза.

Однако конкретные пути и приемы борьбы для достижения этой цели значительно отличаются от того, что было летом прошлого года.

Летом прошлого года германские войска наступали по всему фронту, стремясь к одновременному захвату всех решающих центров Советской страны и к разгрому всех сил Красной Армии, имевшихся к началу войны, ранее, чем страна сможет мобилизовать и ввести в дело свои основные резервы. Теперь германское командование стремится к последовательному захвату отдельных важнейших советских районов, к поражению сил Красной Армии по частям. Ранее германское командование стремилось вести борьбу методами «молниеносной» войны и на это ставило свою решающую ставку. Теперь оно признает неизбежность затяжного характера войны и ставит ставку на ослабление в этой войне Советской страны путем отторжения от нее отдельных районов и областей, путем раскола советского фронта на отдельные, изолированные друг от друга участки борьбы.

Общее наступление германской армии по всему фронту летом и осенью прошлого года свидетельствовало о том, что фашистская Германия считала свою армию значительно более сильной, чем вооруженные силы Советской страны, и стремилась поэтому смять последние одновременно на всех участках и направлениях фронта. Теперь она не

считает себя сильной настолько, чтобы вести одновременное наступление всюду. Она располагает силами, достаточными только для удара на отдельных направлениях. Она вынуждена маневрировать резервами по всему фронту, ослабляя одни участки этого фронта и собирая превосходные силы на тех участках и направлениях, где фашистским командованием ставятся сейчас активные наступательные задачи. Именно в результате этого германские войска оказались вынужденными изменить свои планы и приемы борьбы с Красной Армией.

Изменение этих планов, а одновременно и те результаты, к которым на сегодня пришла борьба в южных и юго-восточных районах нашей страны, говорят также и о том, каких результатов достигла Красная Армия на прошлых этапах борьбы и какие задачи оказались нерешенными ею в эти периоды.

Тяжелой, упорной борьбой летом и осенью прошлого года части Красной Армии обескровили германские войска, вторгшиеся в пределы нашей страны. За первые четыре месяца войны, то есть до подхода германских армий к Москве, германская армия потеряла убитыми, ранеными и пленными около 4½ миллионов человек. Если считать общую численность германских войск, начавших вторжение в советские пределы, примерно в 5 миллионов человек, то выходит, что к моменту подхода к Москве общие потери их примерно равнялись первоначальной численности. Эти потери германское командование пополнило за счет имевшихся тогда резервов и запасных частей и путем переброски на советско-германский фронт новых дивизий, частью ранее находившихся в оккупированных странах, частью заново сформированных на территории Германии.

В осеннее наступление на Москву германское командование бросило почти все наличные силы германской армии. Этому наступлению, как известно, придавалось решающее значение. Битва под Москвой, по планам германского командования, должна была решать участь войны.

Эти расчеты не оправдались. Силы Красной Армии оказались более значительными, чем предполагало германское командование. В период

сражения под Москвой советские войска получили новые резервы сформированные в глубине страны и искусно введенные в дело главным командованием Красной Армии в решающий момент на решающих участках борьбы. Ввод этих резервов изменил соотношение сил в пользу Красной Армии и вызвал успешный отход германских войск. Неожиданный отход и поражение поставили в этот период германскую армию в критическое положение. Внезапность нападения, как важнейшее орудие в борьбе против Красной Армии, исчезла из арсенала германских войск. Судьбы войны стали решаться «не таким превходящим моментом, как момент внезапности, а постоянно действующими факторами: прочностью тыла, моральный дух армии... организаторские способности начальствующего состава» (Сталин).

К подобной перемене общего характера войны германская армия в ту пору оказалась неподготовленной. И именно это определило острый кризис как самой германской армии, так и всей системы ведения войны фашистской Германией. «Стоило исчезнуть в арсенале немцев моменту внезапности,— писал в своем приказе в феврале 1942 года товарищ Сталин,— чтобы немецко-фашистская армия оказалась перед катастрофой». Эта оценка исключительно верно определяла обстановку, сложившуюся для германской армии к зиме 1941/42 года. Правильность этой оценки нашла подтверждение в тогдашних приказах германским войскам захваченных впоследствии частями Красной Армии.

«Цепляться за каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего солдата, до последней гранаты,— вот чего требует текущий момент»,— писал Гитлер в приказе своим войскам от 3 января 1942 года.

В приказе немецким армиям, действующим перед нашим Западным фронтом, говорилось:

«Общая обстановка военных действий властью требует остановить быстрое отступление наших (т. е. немецких.— А. Г.) частей на рубеже р. Ламы.

...Позиции на р. Ламе должны защищаться до последнего человека.

...Вопрос поставлен о нашей жизни и смерти».

Зимнее наступление Красной Армии дало крупные результаты. От немецких войск были освобождены обширные территории. На важнейших направлениях части Красной Армии продвинулись вперед на 400 и более километров. Германские войска, согласно приказу Гитлера упорно цеплявшиеся за каждый населенный пункт, за каждый рубеж, снова понесли жестокие потери.

В первую годовщину советско-германской войны Советское информбюро подвело общие итоги первого года войны. По данным, опубликованным Совинформбюро, Германия за год войны потеряла около 10 миллионов человек убитыми, ранеными и пленными, из них около 5 миллионов человек были потеряны в период наступательных операций Красной Армии.

Тем не менее зимнее наступление Красной Армии не повело к общему разгрому германских войск. Причин к этому было несколько. Прежде всего, с исключительной силой сказались условия суровой, многоснежной зимы, затруднявшей продвижение и действия наступающих войск.

К действиям зимой Красная Армия в целом оказалась более подготовленной, чем германские войска. Но она в это время была наступающей стороной. Наступательные действия советских войск развертывались в открытом поле, в то время как германские войска оборонялись, цепляясь за населенные пункты. Наступление в крупном масштабе всегда оказывается связанным с необходимостью больших передвижений, чем оборона. В этом отношении зима в целом всегда более благоприятствует обороне, чем наступлению. Таким образом, в отношении природных условий Красная Армия оказалась в менее благоприятной обстановке, чем оборонявшиеся германские войска. Резко сказалось и то обстоятельство, которое товарищ Сталин решительно подчеркивал в ноябрьском докладе пленуму Московского Совета.

«...наша армия и наш флот, — говорил он, — еще молоды... они еще не успели стать вполне кадровыми, тогда как они имеют перед собой кадровый флот и кадровую армию немцев...» В зимний период значительная часть Красной Армии состояла из формирований, созданных в время войны. Эти формирования не

имели до этого непосредственного боевого опыта. Они не могли обладать и большой боевой выучкой как в отношении подготовки бойцов, так и в отношении подготовки командного состава. К этому следует прибавить то, что к этому периоду германские войска оказались и технически оснащенными больше, чем части Красной Армии. Большое значение имело и то, что Красная Армия продолжала вести свои действия, опираясь только на свои силы, в то время как Германия выбросила на линию фронта и войска своих союзников. Все это вместе взятое и повело к тому, что германским войскам, хотя и ценой исключительно тяжелых потерь как в людях, так и в военной технике, все же удалось остановить наступление наших армий.

После того как продвижение наших войск остановилось, германское командование получило возможность произвести реорганизацию и пополнение своих частей. Угроза катастрофы, выросшая в результате поражения под Москвой, вызвала бешеную энергию со стороны правителей Германии и ее военного командования.

В Германии, как и в оккупированных ею странах, был усилен и доведен до последнего предела кровавый фашистский террор. Гитлер «получил» особые «полномочия», вплоть до полномочий верховного судьи. Ряд генералов был смещен. Части, проявившие нестойкость, были подвергнуты массовым репрессиям. Во всех дивизиях были созданы особые отряды, задачей которых являлся прямой расстрел частей, дрогнувших на поле боя или начавших отход без особого на то приказа высшего германского командования. Внутри Германии были собраны под ружье все оставшиеся ресурсы людской силы, мало-мальски способной носить оружие. Фашистское правительство, удовлетворяя требование военного командования, не остановилось даже перед тем, чтобы изъять сотни тысяч германских рабочих с военных предприятий, из тяжелой промышленности и с транспорта, заменив их принудительно привезенными иностранными рабочими из оккупированных и «союзных» с Германией стран. Это мероприятие ослабило внутренний тыл Германии для ведения всей войны, но тем не менее для лета

1942 года оно дало германской армии новые резервы живой силы.

В период зимнего наступления и весенних боев части Красной Армии перемололи, втянув в бой, многое из того, что Гитлером предназначалось как резерв для нового наступления летом. Однако последующие события показали, что перемолотым оказались не все резервы германской армии. Часть этих резервов сохранилась к лету 1942 года, а вся германская армия в целом оказалась реорганизованной для летних операций.

Используя это положение, германское командование, ведя оборонительные действия на большей части советско-германского фронта и оставив по существу лишь наблюдение за побережьем со стороны англичан, предприняло новое наступление и вторглось в наши южные районы.

На сегодня является фактом, что это наступление дало германским войскам значительные успехи и осложнило положение нашей страны. Однако свидетельствуют ли эти успехи о том, что германская армия летом 1942 года стала сильнее, чем это было, скажем, год тому назад, когда Германия только начинала вторжение на советские территории? Ответ на этот вопрос может быть дан только отрицательный. В самом деле, потери германской армии за первый год войны составляют около 10 миллионов человек убитыми, ранеными и пленными. Кроме того, германская армия за этот год потеряла свыше 24 тысяч танков, более 30½ тысяч орудий и не менее 20 тысяч самолетов. Поскольку на техническое обслуживание германских войск сейчас работает вся промышленность Западной Европы, постольку наиболее узким и невосполнимым местом для фашистской Германии являются ее людские потери. Небезынтересно отметить, что то же имело место и в первую мировую войну 1914—1918 годов, кончившуюся разгромом тогдашней Германии. В этой войне германская армия потеряла общей сложностью около 7½ миллионов человек, в том числе убитыми 1 миллион 980 тысяч человек. Такого размера потерь Германия 1914—1918 годов не смогла выдержать и была разбита.

Общее количество призванных по оружию в первую войну составляло в Германии около 13½ миллионов человек, что равнялось примерно 20% всего населения Германии. 20% населения составляло все то, что германское командование могло использовать для войны. В внешней Германии 20% населения составляет около 16 миллионов. Общие потери германской армии во второй мировой войне (1939—1942 гг.) к июню 1942 года составляли (включая потери не только на советско-германском фронте, но и на других фронтах) около 11 миллионов человек, из них убитыми до 3 миллионов 800 тысяч человек. Данные статистики говорят о том, что количество раненых, имеющих возможность возвратиться в строй, на советско-германском фронте составляло около 40% от их общего количества. Таким образом, безвозвратные потери германских войск за первый год войны с Советским Союзом составили около 8 миллионов, то есть примерно 50% общего состава населения Германии, способного носить оружие.

Численность полевой (то есть находящейся на театре военных действий) германской армии в первой мировой войне (1914—1918 гг.) не превышала 5½ миллионов. В современной войне эта армия составляет примерно 7—8 миллионов человек. Таким образом, получается, что для того, чтобы довести свою армию летом 1942 года примерно до той численности, которую она имела летом прошлого года, гитлеровское правительство должно было заново влить в свои войска за первый год войны с Советским Союзом не менее 6—7 миллионов человек. Это говорит, во-первых, о том, что в зимне-весенний период 1942 года гитлеровское правительство действительно оказалось вынужденным «взять» под метелку все остатки людей, способных держаться в руках оружие, в том числе ограниченно годных, имеющих крупные физические недостатки (из сообщения Совинформбюро); во-вторых, о том, что в летний период 1942 года враг должен был бросить в бой действительно свои последние людские резервы.

Таков итог первого года войны. Для того чтобы пополнить потери второго года войны, фашистские заправилы более не расплачут люд-

скими резервами, — такова обстановка, в которой немецко-фашистская армия начала наступление летом 1942 года.

В таких условиях является вполне уместным вопрос: если это так, то чем же объяснить тот бешеный напор и тот жестокий расход людских резервов, к которым германская армия прибегает сейчас при наступлении на южных участках нашего фронта? Ответ на этот вопрос нужно искать, во-первых, в международном и внутреннем положении самой Германии к началу этой кампании; во-вторых, — в существовании нового стратегического плана, с которым германское командование открыло свое летнее наступление.

Германия ведет захватническую, грабительскую войну. Грабеж захваченных территорий и жестокий всеподвальный террор являются основными факторами,двигающими германскую армию вперед. Гитлер ведет войну под лозунгом превращения высшей «арийской» расы, в господь всего мира, в отношении которых все остальные народы мира должны стать в положение немецких рабов.

Легкие победы гитлеровской армии в странах Западной Европы в прошлом и сравнительно быстрое продвижение германских войск по советской территории в первые месяцы войны создали в Германии иллюзию легкой осуществимости этого лозунга. Немецкий обыватель надеялся, что и ему кой-что перепадет от грабежа тех народов, чьи земли оккупируют германские войска. Этим в значительной мере и объясняется тот бешеный напор, который германская армия проявила летом прошлого года. Гитлеровской клике перспективой грабежа удалось разложить значительную часть не только германской армии, но и германского народа.

Однако этот стимул мог действовать лишь тогда, когда германская армия вела наступательные действия и продвигалась вперед. Всякая задержка в наступлении, а тем более откат назад должны были неизбежно надломить настроения германских войск и населения Германии, поколебать их уверенность в победном исходе войны. В версальском при-

казе Красной Армии, подводя итоги первым десяти месяцам войны, товарищ Сталин писал:

«...за этот период фашистская Германия и ее армия стали слабее, чем десять месяцев тому назад. Война принесла германскому народу большие разочарования, миллионы человеческих жертв голод, обнищание. Войне не видно конца, а людские резервы на исходе, нефть на исходе, сырье на исходе. В германском народе все более нарастает сознание неизбежности поражения Германии. Для германского народа все яснее становится, что единственным выходом из создавшегося положения является освобождение Германии от альянсистической клики Гитлера — Геринга».

Германское командование летом 1942 года не могло отказаться от наступления. Оно нужно было для того, чтобы успокоить население внутри Германии. Успех наступления должен был поднять уверенность германских войск в конечной победе, а захват и грабеж богатых южных и юго-восточных районов нашей страны должен был дать некоторое облегчение положения Германии в отношении сырья, продовольствия и, особенно, жидкого топлива. Поражение германских армий зимой 1941/42 года шло глубокий отклик во всем мире, а прежде всего в оккупированных и поработанных Германией странах Западной Европы, и особенно на Балканском полуострове. Оно послужило могучим толчком к освободительной борьбе народов этих стран против гитлеровской Германии и дало этим странам перспективу и уверенность в конечном победоносном исходе этой борьбы.

Ведя захватническую войну, тероризируя оккупированные и «союзные» с нею страны, напрягая до последнего собственные резервы и ресурсы, фашистская Германия могла и может искать выхода из затеянной ею войны только в новых наступлениях. Наоборот, переход к обороне, свидетельствуя о невозможности новых захватов, должен был неизбежно стать преддверием не только военного, но и политического краха фашистской Германии.

Южные, а не какие-либо иные районы Советского Союза были избраны

германским командованием для новых наступательных операций отнюдь не случайно. Прежде всего эти районы как объекты для новых наступательных операций более всего соответствовали новым стратегическим планам германского командования. Отказавшись от мысли покончить с Советской страной одним ударом, фашистская Германия решила попытаться добиться победы путем отторжения от Советской страны таких районов, которые бы одновременно имели жизненное значение для нас и могли бы дать непосредственное облегчение для внутреннего положения Германии.

Советские южные районы богаты продовольствием и сырьем. Они имеют на своей территории несколько крупных промышленных центров. Через них лежит путь к важнейшим нефтяным источникам Советского Союза. Их захват являлся бы, несомненно, тяжелым ударом по экономическому и военному положению советского государства. Продовольственные ресурсы и нефтяные богатства, если бы они оказались в руках германских войск, могли бы оказаться средством, облегчающим Германии дальнейшее ведение войны.

Наступая на южных направлениях, которые связаны с центральными районами Советской страны ограниченными количеством дорог, германская армия одновременно рассчитывала и на то, что в этом наступлении она не встретится с главными силами советских войск, а будет иметь дело лишь с теми частями, которые находились на южных направлениях. Это давало германскому командованию основание надеяться на возможность сосредоточения здесь к началу наступления численно превосходящих сил.

В летнем наступлении 1942 года, как и раньше, германское командование решающую ставку ставило на свои танковые войска и авиацию.

В отличие от северных и центральных районов, покрытых в значительной мере лесами, наши южные районы носят открытый степной характер. Такой характер местности, при превосходстве в танках и авиации, облегчает действия войск и дает возможность рассчитывать на быстрое развитие наступления.

Все это вместе взятое и определило то, что новое наступление германских войск развернулось на наших южных направлениях.

Начиная новую наступательную кампанию германское командование не могло не учитывать, что малейший неуспех этого наступления будет означать этого быстрого конца германской армии. Для того чтобы получить успех, оно вкладывало в это наступление все силы германской армии и вело к нему длительную подготовку. В наши южные районы постепенно стягивались крупные силы германской армии. Для создания ударных группировок перебрасывались части из глубины Германии, снималось все, что можно было снять с территории оккупированных стран. Чтобы создать превосходство в силах на участках наступления, германское командование оказалось вынужденным резко ослабить свои западные направления. В частности, были сняты крупные силы и с территории оккупированной Франции. Наряду с этим фашистская Германия прибегла к массовому использованию армии своих вассалов. На южные участки нашего фронта были стянуты крупные силы венгерской, румынской и итальянской армий, значительные отряды словаков и финнов. В самих германских частях оказались прослойки из солдат, принудительно набранных на территории оккупированных стран. Сюда были переброшены также главные силы танковых и авиационных частей германской армии. В этом отношении германское командование даже пошло на то, что оставило очень слабые воздушные силы на западе, против англичан, и даже сняло значительную часть авиации с бассейна Средиземного моря и из Северной Африки. За частями, предназначенными для наступления, были сосредоточены дивизии «СС», задачей которых являлось подгонять с тыла наступающие войска угрозой расстрела.

Наступательные операции на юге немецкая армия начала с решения вспомогательных задач. Первые удары немецких армий были обрушены на вспомогательные участки нашей борьбы в Крыму — на части Красной

Армии и Флота, находившиеся на обороне Севастополя и на Керченском полуострове. Наши войска в этих районах оказали немцам жестокое сопротивление, но огромный численный и технический перевес врага решил дело. Наши войска после упорного сопротивления оказались вынужденными очистить сначала район Керчи, затем район Севастополя. Вслед за этим главные силы германских войск были брошены в наступление на Харьковском, а затем Курско-Воронежском направлениях. После прорыва германских частей в сторону Воронежа, наступление было расширено к югу, и германские войска вторглись в пределы Дона и Кубани.

Не имея возможности вести одновременно наступление на широком фронте, германские командование стремились прорвать наш фронт на узких участках, чтобы затем бросить в тыл нашим войскам крупные танковые части, мотопехоту, отряды автоматчиков.

Эти новые приемы наступления германских войск можно проиллюстрировать на примере их наступления на Курско-Воронежском направлении.

Здесь наступление немецко-фашистских войск началось 28 июня. Целью наступления являлся перехват наших железнодорожных магистралей, соединяющих Москву с югом через Елец, Касторная, Валуйки и через Воронеж, и пркрытие левого фланга южной группировки германских войск, готовящихся к вторжению на Дон и Кубань.

Для наступления на узком фронте были сосредоточены 5 танковых, 5 пехотных и 2 моторизованных дивизии немцев и 2 корпуса венгров. В первой линии наступающих войск насчитывалось до 1 000 танков, свыше 500 самолетов и большое количество артиллерии и минометов. Первоначальный фронт наступления составлял 70—80 километров. На этом фронте немецкие войска имели значительное превосходство в силах.

Наступление германских войск встретило упорное сопротивление находившихся здесь частей Красной Армии. Однако первоначальное превосходство в силах дало возможность германским войскам продвигаться вперед и почти вплотную подойти к Воронежу. Вводом резер-

вов части Красной Армии задержали в районе Воронежа дальнейшее движение этой ударной группировки гитлеровской армии. Немецкие войска понесли жестокие потери, потеряв на подступах к Воронежу сотни танков, орудий и самолетов и десятки тысяч солдат и офицеров. Ливны, Елец, Воронеж, к которым шло основное устремление германских войск, остались в руках Красной Армии.

Таким же методом сосредоточения на узких фронтах большого количества войск и техники германские армии действовали южнее Воронежа, на направлениях, выходящих на Дон и Кубань. Здесь события развернулись менее благоприятно для советских войск. Танковым, моторизованным, а затем пехотным дивизиям немцев удалось прорваться в глубь донских и кубанских степей. Врагу удалось захватить Ворошиловград, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, подойти к району Сталинграда. Форсировав после упорных боев в районах Цымлянской и Батайска реку Дон, немецко-фашистские орды появились в пределах Кубани. Развивая успех и вводя в дело новые силы, они овладели Краснодаром, Армавиром, Ворошиловском, Майкопом. К началу сентября на юге линии фронта вышла на подступы к Новоросийску и Грозному. В районах Дона и южной части Волги обнаружился новый сильный нажим немецких войск в районе Сталинграда. Враг рвался к этому городу, чтобы закрепить свое положение в захваченных им наших южных областях.

Эти успехи дали врагу тяжелой ценой. По данным Советского информбюро, только за первые три месяца летних операций (с 15 мая по 15 августа) немецкие войска потеряли 1 миллион 250 тысяч солдат и офицеров убитыми, ранеными и пленными. Количество убитых составляет не менее 480 тысяч человек. Кроме того, они потеряли за это время 3 300 танков, 4 тысячи орудий, не менее 40 тысяч самолетов. Эти потери говорят о значительном истощении предназначенных для летних наступлений войск. Но силы врага еще полностью не исчерпаны. Враг будет стремиться продолжать наступление дальше, бросая в бой новые силы. Приняв новый план дей-

ствий, германское командование снова не жалует и не будет дальше жалеть своих войск. Его расчет сейчас строится на том, чтобы захватом новых наших районов компенсировать потери своих войск, сделать так, чтобы понесенные Советской страной потери более ослабили Советскую страну для дальнейшего ведения войны, чем ослабляют германские войска понесенные ими потери. Нашей задачей является сейчас снова возможно большее истребление немецко-фашистских войск. Нужно сделать так, чтобы из операций на юге германская армия и ее союзники вышли настолько обескровленными, чтобы они оказались лишенными возможности предпринимать новые наступательные операции в крупном масштабе. Эта задача является для нас вполне посильной, если учесть, что враг бросил на юг все силы, что он не располагает резервами в прежних размерах.

Однако решение этой задачи сейчас происходит в более сложной и напряженной обстановке, чем на первых этапах войны.

На этих этапах мы потеряли значительные территории. Сейчас борьба приблизилась к тем районам, которые для дальнейшего ведения войны имеют исключительно жизненное значение. Всякая новая потеря осложняет наше положение. Мы должны организовать уничтожение немецко-фашистских войск без потери каких бы то ни было территорий. Большое значение в борьбе приобретает удержание каждого нового района, каждого нового города, каждого рубежа там, где развертываются бои, куда рвется немецко-фашистские захватчики.

Мы должны противопоставить врагу все упорство сопротивления советских бойцов и активные контрудары наших частей по ударным группировкам врага.

Опыт борьбы говорит о том, что там где это есть, там враг не имеет продвижения, там он откатывается под нашими ударами назад.

Мы имеем сейчас против себя не старую германскую армию лета 1941 года, уверенную в успехе и располагающую многочисленными хорошо

подготовленными кадрами. Мы имеем перед собой армию врага, уже знавшего тяжелые поражения, растерявшего свои лучшие военные кадры и вынужденного вести в дело все свои наличные резервы.

Враг прорвался на юге потому что он нашел слабое место в нашей обороне, навалился здесь превосходящими силами и развил успех в глубь наших территорий раньше, чем ему было противопоставлено решительное и активное сопротивление.

Врага можно задержать, и он должен быть задержан на всех направлениях. Таково сейчас требование всей страны к своей Красной Армии.

Немцы наступают, стягиваясь в ударные группировки на узких участках фронта и маневрируя своими силами. Это объясняет их успех на юге. Но этот факт отнюдь не является каким-то «неизбежным» преимуществом германских войск. Сосредоточение ударных группировок может быть своевременно вскрываемо хорошо поставленной разведкой. Ударным группировкам врага можно противопоставлять ударные группировки наших войск.

Возможность этого определяется теми организаторскими способностями начальствующего состава армии, о которых, как об одном из решающих факторов войны, говорил товарищ Сталин еще в феврале этого года.

В ходе войны Красная Армия выковала многих талантливых и способных генералов. Она имеет перед собой могучий образ своего победоносного полководца Михаила Васильевича Фрунзе, пришедшего на руководящие военные посты без систематической военной подготовки, но выросшего в ходе самой войны в полководца, чье имя может быть поставлено в один ряд с такими гениальными полководцами, как Суворов и Кутузов.

Товарищ Сталин зовет Красную Армию к постоянной учебе и совершенствованию. Он требует от командиров «изучить в совершенстве дело взаимодействия родов войск, стать мастерами дела вождения войск». Выполнившие этого требования — одно из важнейших условий нашей победы в войне.

К. ОСИПОВ КУТУЗОВ

Михаил Илларионович Голенцев-Кутузов — человек, о котором прозорливый Суворов говорил: «Хитер, хитер! Умен, умен! Никто его не обманет», которого Наполеон назвал «северной лисой», которого русский народ теперь, почти сто тридцать лет спустя после его смерти, вспоминает как одного из любимых своих героев, — этот человек родился в 1745 году в Петербурге. Отец его был образованным инженером, прозванным друзьями за большую эрудицию «разумной книгой». Отданный отцом в инженерный кадетский корпус, Михаил окончил его с отличием и уже в семнадцатилетнем возрасте получил роту в Астраханском полку.

У Суворова, несравненного знатока военного дела, прошел молодой капитан свою начальную школу. Первые же его самостоятельные действия показали, что он хорошо усвоил заветы своего великого учителя. Во время первой польской и первой турецкой войн он отличался неизменным хладнокровием, энергией и распорядительностью.

Однажды Кутузов, в кругу друзей, копировал главнокомандующего Румянцева. Тот узнал об этом и уволил из армии через чур острого на язык офицера. Этот случай произвел на молодого человека громадное впечатление. С этих пор, по выражению одного современника, «сердца людей открыты Кутузсу, но его сердце для них закрыто». Он стал скрытен и невооружив.

Кутузов перевелся в Крым. Здесь в бою при Шумле его ранило в голову. Пуля прошла навылет, врачи не надеялись на выздоровление, но Кутузов остался жив. Долго лечась

от раны за границей, он внимательно ознакомился с тогдашней европейской культурой, а вернувшись, поступил опять в Крымскую армию.

Вторично он оказался под начальством у Суворова, и на этот раз прослужил с Суворовым шесть лет, дослужившись в Крыму до генерал-майорского чина. Затем началась вторая турецкая война. Кутузов — опять на боевом посту. Во время одной вылазки он снова был ранен: почти в то же место, что и впервые. Пуля опять прошла навылет через голову. Врачи единодушно предсказали смертельный исход. Но Кутузов выжил. «Если бы такой случай передала нам история, мы сочли бы это басней, — писали медики, — но мы сами видели чудо, свершившееся с генералом Кутузовым».

Однако в результате ранения Кутузов лишился правого глаза.

В 1790 году Кутузов командует одной из колонн во время знаменитого штурма Измаила.

— Он был на левом фланге моей правой рукой, — выразился Суворов о роли Кутузова. В разгар боя Суворов послал Кутузovu приказ о назначении его комендантом Измаила. После взятия крепости Кутузов состоял комендантом ее, но через некоторое время вернулся в действующую армию. Этот этап его деятельности ознаменовал превосходно проведенным Мачинским боем, когда Кутузов, выйдя во фланг туркам, решил дело штыковой атакой.

В 1793 году Кутузов получает назначение на пост русского посланника в Константинополь. Он отлично справляется с этой задачей, успешно борясь с французским влиянием в Турции. Уже здесь выявилась его

способность приноравливаться к любым условиям. Он мгновенно усвоил восточные обычаи, в разговорах с турецкими вельможами держал себя стоишь церемонно, выражался так цветисто, что те диву давались; острооты его были так метки, что заставляли улыбаться нашей, давших зарок не смеяться.

Через два года его вернули в Россию, где он последовательно был директором кадетского корпуса, командующим армией на Волыни, петербургским генерал-губернатором.

В 1802 году он был удален «по прошению» со службы: старый суворовец не пришелся ко двору Александра I. Живя в своей деревне подле Житомира, Кутузов в 1804 году писал в одном письме: «Я здесь совсем без компании и по вечерам бывает очень скучно». Для характеристики его настроения в это время стоит привести следующий случай. В результате двухратного ранения у Кутузова часто болел правый глаз. Лечивший его врач перепробовал много лекарств, но все они не достигали цели, а одно лекарство вызвало явное ухудшение. К своему удивлению, врач однажды узнал, что Кутузов продолжает усиленно применять это средство. На вопрос перепугавшегося врача, зачем он причиняет себе вред, старый полководец ответил:

— Так-то лучше, любезный! Раз нельзя излечить, то пусть уж конец будет. Хоть болеть не будет. Да и нужен ли он мне, старику?

Этот случай характерен и в том отношении, что показывает одно из глубоких убеждений Кутузова, подказанное ему его многообразным жизненным опытом. Убеждение это заключалось в том, что иногда обстоятельства не оставляют человеку выбора, нужно подчиниться им, но суметь при этом свести до минимума отрицательные стороны и извлечь максимум пользы даже из неблагоприятной ситуации.

Дальше мы еще не раз встретимся с этой чертой кутузовской психологии.

Ему было около 60 лет, и все чаще им овладевала тревога «видеть потерянными все труды и опасности молодых лет и раны».

Но жизнь скоро рассеяла эти опасения.

В 1805 году Александр I назначил старого суворовца командующим армией, которой предстояло, в союзе с австрийцами, встретиться на поле брани с Наполеоном. Проходя по 45—50 верст в день, кутузовская армия менее чем в месяц достигла границ Баварии. Ее приход совпал с позорной капитуляцией австрийцев в Ульме, когда генерал Макк сдался Наполеону со всей армией. Австрийский император в полной растерянности обратился к русскому главнокомандующему с просьбой спасти положение, суля ему «вечную благодарность». Кутузов сдержанно ответил в том смысле, что капитуляция Макка «весьма чувствительна, однако не в такой степени, чтобы нельзя было загладить ее мужеством».

Наполеон, справедливо усматривая в армии Кутузова основного противника, двинул против него свои главные силы. Кутузов начал отступать из Браунау в Цнайм. Отход к Цнайму—это шедевр военного искусства. Кутузову приходилось не только сопротивляться Наполеону, стремившемуся использовать свое преимущество в силах и уничтожить русскую армию, но и преодолеть опасное влияние двух императоров: Александра и австрийского Франца, навязывавших свою волю русскому главнокомандующему. Император Франц, например, потребовал от Кутузова, чтобы он «сохранял войска целыми, не вступал в сражения с Наполеоном, но удерживал его на каждом шагу». Примечательна та манера, с которой Кутузов парировал попытки вмешаться в его действия. Он поступал так, как диктовали ему его собственный разум и военный опыт. Но отказ выполнять нелепые требования коронаванных бездарностей он облекал в изысканную форму, отвечающую всем требованиям придворного этикета. Так, в письме императора Франца он ответил терпеливым и вежливым разъяснением: «Если мне оспаривать каждый шаг у неприятеля, я должен буду выдерживать его нападения, а когда часть войск вступает в дело, случается необходимость их подкрепить, отчего может завязаться большое сражение и последовать неудача».

В другой раз император Франц потребовал, чтобы русская армия защищала предместные укрепления на правом берегу Дуная. Кутузов ушел на левый берег, перед австрийским же императором вежливо извинился, что не мог выполнить его желания. При этом он не без сарказма пояснил, что был лишен возможности защищать предместные укрепления, ибо таковых вообще не оказалось: очевидно, австрийские саперы, вопреки приказанию императора, не построили их.

Там, где дело касалось стойкости сопротивления врагу, Кутузов неизменно был тверд, как скала, — верный ученик Суворова, свято хранящий его заветы. Однажды, когда численно превосходящие силы Удино и Мюрата теснили русский арьергард, и к Кутузову обратился с вопросом, продолжать ли бой, он ответил:

— Вы русские! Так и поступайте, как подобает русским!

Французы были отброшены.

Преследуемый по пятам вчетверо более сильной армией Наполеона, не получая от австрийцев никакой помощи, обремененный больными и ранеными, Кутузов отступал в полном порядке, разгромив чуть ли не на глазах у Наполеона сродный корпус Мортье. Так как Наполеон не прекращал преследования, Кутузов выделил восьмитысячный арьергард и, сознавая, что посылает его почти на верную смерть, поручил ему сдерживать натиск Наполеона, пока ядро русской армии с обозом не оторвется от преследователей. Командование арьергардом он вручил горячо любимому им и, однако, посылаемому на смерть в интересах общего дела князю Багратиону.

Под Шенграбелем Багратион со своим отрядом, который сами французы прозвали «Дружиной героев», отбивал атаки чуть ли не всей наполеоновской армии в течение 18 часов; ночью Багратион оторвался от французов и нагнал главные силы Русской армии.

Солдаты, участники этого боя, носили впоследствии особый значок: «6 против 30», в знак того, что Багратионовы успешно сразились с врагом, имевшим шестерное превосходство сил.

В 1799 году Массена назвал героический обратный марш Суворова

из Швейцарии «Une belle retraite» («замечательное отступление»). Эта характеристика всецело приложима к кутузовскому маршу на Цнайм, когда было пройдено 400 верст, и, несмотря на громадный перевес врага в силах, русская армия полностью сохранила свою боеспособность.

Но судьба была жестока к престарелому полководцу! Спасши армию от Наполеона, он не смог уберечь ее от Александра I. Этот последний, вкупе с австрийским императором, требовал немедленного сражения.

Еще после Шенграбена император Франц настаивал на прекращении отступления русской армии и на немедленном генеральном сражении. Кутузов вновь оставил без внимания настояния императора и, как обычно, облек горькую пиллюлю отчаяния в золотую оболочку выспренных фраз. «Одной преданности моей к Вашему Величеству, — писал он Францу, — было бы достаточно для точного исполнения повеления Вашего, если бы даже не понуждал меня к тому священный долг повиновения воле Вашей. Не смею однако же скрыть от Вас, государь, сколь много представлял бы случаю доверить участь войны одному сражению; тем труднее отваживаться мне на битву, что войска хотя исполнены усердием и пламенным желанием отличиться, но лишены сил, — и так далее, все в том же высокопарном тоне, в котором чудилась скрытая издевка.

Своим соратникам престарелый главнокомандующий так формулировал свою оценку положения:

— Надо отходить дальше, и в Галиции я погребу кости французов.

Это было как бы предвещание будущей тактики 1812 года. Однако в этот раз Кутузову не удалось выполнить свой замысел.

Мечтая о лаврах победителей, августейшие «главнокомандующие» во всем положились на австрийца Вейротера (начальника штаба союзных армий), уверявшего, что у Наполеона всего 40 тысяч человек и Наполеон пуле всего боится, как бы кто не атаковал. На самом деле у Наполеона было 60 тысяч и он всячески провоцировал наступление русско-австрийской армии, искусно представляясь «слабым». На военном совете Вейротер зачитал доктринерскую диспозицию, целиком основанную на предположении, что французы будут

только обороняться. Когда ему был задан вопрос, какие меры предусмотрены на случай контратаки Наполеона, Вейротер ответил, что «этого не предвидится».

Ознакомившись с диспозицией, Багратион прямо заявил: «Завтра мы будем разбиты». Кутузов вполне разделяя этот взгляд, но был бесилец что-нибудь изменить: оба императора санкционировали план Вейротера, да и поздно было менять его, так как оставалось всего несколько часов до начала сражения. И, как всегда, когда обстоятельства не оставляли выбора, Кутузов принял неизбежное, — но не как безвольный фаталист, а как активный участник предстоящего события. Он не уклонился от ответственности и не дал повода отнять у него командование, он хотел испить чашу до дна.

На следующий день, когда союзные армии, выполняя вейротеровский план, потянулись в дальний охват левого французского фланга, Наполеон пробил ослабленный обходом центр союзников и наголову разгромил их. Ни доблесть русских солдат, ни талант Кутузова и Багратиона не могли спасти положения. Наполеон праздновал грандиозную победу — победу под Аустерлицем.

В этом бою был убит на глазах у Кутузова его зять, Тизенгаузен.

Семь лет спустя Кутузов взял блистательный реванш у великого корсиканца. В бою под Красным, в числе других знамен, у французской армии было захвачено знамя с надписью: «За победу под Аустерлицем».

— Нагните его, — тихо сказал Кутузов. — После всего, что совершается теперь перед нашими глазами, одной выигранной мною победой или одной понесенной мною неудачей больше или меньше — все равно! Но вспомните после: в том, что произошло под Аустерлицем, я не виноват.

Александр I, однако, пытался переложить тяжесть поражения на плечи главнокомандующего. Кутузов был удален из армии и получил пост киевского генерал-губернатора. След за тем он состоял помощником немощного старца Прозоровского, командующего Молдавской армией, потом был переведен в Вильно на должность генерал-губернатора, и только после того как выяснилась бесперспективность происходящей

в это время войны с Турцией, было решено вручить главное командование на турецком фронте старшему генералу.

В апреле 1811 года Кутузов принял командование, а в июне того же года он наголову разбил вчетверо сильнейшую армию турок под Русюком. Характерно, что он занял плохую позицию, — «не совсем выгодную, но единственную», как он выразился. Обстановка требовала того, чтобы дать бой, и Кутузов, верный своему правилу довольствоваться тем, что есть, избрал позицию, отлично видя ее недостатки, но рассчитывая искупить их своим искусством и доблестью солдат.

Дальше он повел дело так, что даже приближенные офицеры не могли понять его. Он не преследовал турок, а, напротив, отступил и увел всю армию на левый берег Дуная. Замысел его заключался в том, чтобы побудить турок предпринять новое наступление (ибо у Кутузова было недостаточно сил для совершенного разгрома противника, если тот будет отходить в глубь страны, под защиту крепостей).

Этот замысел удался: турки, осмелев, возобновили активные операции, но попали в расставленную им ловушку и оказались в окружении.

Кутузову нетрудно было бы добиться уничтожения всей неприятельской армии, но он преследовал иную цель. Он был не только полководец, но и политик, и понимал то, что оставалось неясным Александру и его ближайшему окружению: неизбежность вторжения Наполеона. Поэтому его цель — заключить как можно скорее мир и освободить южную армию для решающих боев на западной границе.

Осуществляя эту цель, Кутузов совершил целый ряд поступков, скончательно поставивших втупик российское правительство. Он посылал осаждаемому неприятелю хлеб (впоследствии он пояснил, что если бы вся турецкая армия сдалась или погибла, султан не имел бы стимула к скорейшему заключению мира, поскольку же отборные полки, которые доставались русской армии, еще существовали, султан стремился спасти их). Узнав, что великий визирь собирается бежать на лодке из лагеря, Кутузов запретил препятствовать ему. Визирь имел полномочия для

ведения переговоров о мире, если же он был бы взят в плен, не оказалось бы подходящего лица с турецкой стороны, и возникла бы неизбежная задержка. На другой день после побега визиря к нему явился адъютант Кутузова с цветами, поздравил с благополучным путешествием и предложил отереть мирные переговоры. Начего и говорить, что Кутузов снял у турок все шансы к спасению, отрезав все пути подвоза и подавив попытки прорваться. В конце концов он убедил визиря «отдать в обменение» ему турецкую армию.

Мир с Турцией был подписан накануне вторжения Наполеона в Россию и, кстати сказать, накануне приезда адмирала Чичагова, назначенного на место Кутузова и, конечно, сорвавшего бы все планы Кутузова, если бы не было уже поздно. Естественным результатом подписания мира явилось освобождение с турецкого фронта нескольких десятков тысяч русских солдат, что сыграло не последнюю роль в исходе кампании 1812 года. Недаром французский император бушевал, как никогда, узнав о заключении русско-турецкого мира.

«Никогда еще не делал я столь обширных приготовлений», — писал Наполеон маршалу Даву, касаясь подготовки похода на Россию.

Французский император собрал для нападения на Россию колоссальную по тому времени армию в составе свыше 500 тысяч человек при 1350 орудиях. В привольных степях были устроены провиантские склады с пятидесятидневным запасом продовольствия на 400 тысяч человек. Россия была наводнена шпионами, осведомлявшими Наполеона обо всем, что происходит в стране.

В свою очередь, русское правительство принимало свои меры. Был построен укрепленный Дрисский лагерь, по течению Немана возводились тет-де-поны, вдоль границы устраивались продовольственные магазины.

По совету прусского эмигранта Пфуля, Александр I приказал разделить войска на две армии: первую — под начальством Барклая-де-Толли, в составе 110 тысяч человек, и вторую — под командованием Багратиона, в составе 50 тысяч. Эти армии прикрывали подступы к русским сто-

лицам. Кроме того, для защиты южных районов была образована отдельная 40-тысячная армия Тормасова, в основном сформированная из войск, действовавших до того против Турции.

План Пфуля заключался в том, что армия, на которую будут наступать французы, станет отходить, притягивая за собой противника, а тем временем вторая армия выйдет на коммуникации неприятеля; в случае неудачи обеих армий надлежало идти в Дрисский укрепленный лагерь (на Двине) и там обороняться. К счастью, план дрисской мышеловки был, под влиянием настоятельных заявлений русских генералов, забракован. Барклай-де-Толли начал осуществлять с первого дня войны отход в глубь страны, стремясь соединиться с Багратионом.

В ночь на 24 июля 1812 года началась переправа «Великой армии» через Неман; французы заняли район Вильно, где Наполеон надеялся окружить и уничтожить русское войско. Но обоим русским армиям своевременно отошли, избегая сражения в невыгодных условиях, и французский завоеватель скрепя сердце вынужден был последовать за ними в огромную, неизвестную для него страну. Это решение было принято Наполеоном не сразу: он провел в Вильно почти три недели, взвешивая все «за» и «против». С первых же дней вторжения французской армии начала испытывать тягостное воздействие климата, в ней вспыхнула эпидемия, начался повальный падеж лошадей. С другой стороны, русские арьергарды и даже простые крестьяне-ополченцы дрались с таким мужеством и яростью, которые не оставляли сомнений в исключительных трудностях кампании.

Все же Наполеон решил продолжать вторжение. 3 августа Барклай соединился в Смоленске с Багратионом, но отступление не прекратилось. Сильная жара и сменившие ее ливни, плохое качество дорог, вдобавок испорченных русскими, невозможность добыть в опустевших деревнях продовольствие или фураж, начавшиеся налеты партизанских отрядов — все это способствовало быстрому разложению и порчи французской армии. Напротив, дух русских войск был чрезвычайно высок. «Я сам свидетель, — доносил го-

порал Раевский, — что многие офицеры и нижние чины, получив по две раны и перевязав их, возвращались в сражение, как на пир. Не могу довольно выхвалять храбрости и искусства артиллеристов: все были герои».

Войска рвались в бой и не хотели понять целесообразности отступления. На Барклай сетовали и офицеры, и солдаты, и даже сам Багратион. Все стойчивее раздавались требования поставить во главе армии полководца, пользующегося общим доверием в народе; все чаще называли имя Кутузова.

Несмотря на неприязнь к Кутузову, царь принужден был уступить общим настояниям. «Зная этого человека, я вначале противился его назначению, — писал он своей сестре, — но... должен был остановить свой выбор на том, на кого указывал общий глас».

Кутузов прибыл в армию 29 августа. Он понимал, что войска ждут от него решительных действий, что отступление без боя дальше невозможно. Однако в течение недели он продолжал отступать, не находя удобной позиции для битвы. Наконец такая позиция была избрана: то было Бородинское поле, в 110 километрах от Москвы, несколько западнее Можайска. Это поле перехватывало обе Смоленские дороги, ведущие к древней русской столице, представляло возможность хорошего обстрела неприятеля и, на случай неудачи, имело удобные пути отступления.

Наполеон подошел к Бородину, имея 130 тысяч человек и 587 орудий; русская армия насчитывала 120 тысяч и 640 орудий.

5 сентября началась атака выдвинутого впереди русского расположения Шевардинского редута. Весь день шли бои, и только к ночи редут был оставлен, по распоряжению Кутузова. Несколько изменив позицию войск, Кутузов обесценил значение редута. Наполеону донесли, что во время кровопролитного боя не было взято в плен ни одного русского. Усомнившись в этом известии, он лично проехал на Шевардинский редут.

— Сколько вчера взято в плен русских? — спросил он.

— Они не сдаются в плен, госу-

дарь, — ответил французский генерал.

Главные силы заканчивали приготовления к бою. Утром 7 сентября, узнав, что русские стоят на месте и ждут атаки, Наполеон воскликнул:

— Наконец мы их держим! Вперед! Откроем ворота Москвы!

Основной удар Наполеон нацелил на левый фланг русских, на так называемые Семеновские флеши. Это не было неожиданностью. Левый фланг был в наибольшей степени подвержен обходу. Однако Кутузов решил защитить его не посредством концентрации там главных своих сил, а иным, более сложным путем. Хотя Бородинское сражение мыслилось им как оборонительное, он хотел обеспечить себе свободу маневра. Действия Наполеона на левом русском фланге он хотел парализовать активностью на правом фланге. Даже на угрожаемом левом крыле Кутузов задумал систему маневренных контрударов. Корпус Тучкова он велел «поставить скрытно», так, чтобы «пустить во фланг и тыл французам, когда они употребят последние резервы на левом крыле».

Таким образом, Кутузов, правильно предвидя план Наполеона (очень интересно, между прочим, свидетельство очевидцев, что ночь перед битвой Кутузов прошагал по комнате, бормоча: «Так... не так...», — то есть мысленно проиная в планы Наполеона), анализируя все возможные варианты, решил бороться со своим сильным противником его же оружием: мастеру тактических маневров он противопоставлял маневр как систему обороны.

Существовала, впрочем, еще причина, почему Кутузов сконцентрировал главные силы свои на правом крыле. Тут проходила новая Смоленская дорога, в то время как левый фланг прикрывал старую Смоленскую дорогу. Кутузов считал, что именно новая дорога служит стратегическим путем к Москве, а старая имеет только тактическое значение. События оправдали его прогноз: отступление русской армии от Бородины происходило по новой Смоленской дороге, и произошло во всех отношениях блестяще.

Утром 7 сентября началось сражение.

После целого ряда неудачных атак, сосредоточив против левого русского

фланга 30 тысяч человек и 400 орудий и понеся огромные потери, французы заняли Семеновские флеши. Здесь был смертельно ранен Багратион, по замечанию одного современника, со смертью его «душа отлетела от левого фланга». Необычайно упорная защита Семеновских флашей была в значительной степени обусловлена мудрыми распоряжениями Кутузова. Его план контр-удара на левом фланге не удался по вине Бенингсена, приказавшего Тучкову выйти на открытую позицию. Но Кутузов своевременно подкреплял резервами угрожаемые участки, парировал удары французов. Когда же определилась невозможность отстоять далее флеши, Кутузов принял смелый маневр. Он бросил в атаку стоявшую на правом фланге конницу и этим внес смятение в ряды противников, заставил их позаботиться об укреплении своего тыла и тем самым воспрепятствовал Наполеону двинуть в бой главный его резерв — старую гвардию.

Образ действий Кутузова во время знаменитой битвы заслуживает того, чтобы хоть кратко остановиться на нем. Лев Толстой изобразил Кутузова безучастным наблюдателем, понавившим ничтожность роли военачальника и потому делавшим лишь вид, что он руководит; это изображение Кутузова, соответствовавшее общей исторической концепции Толстого, является, конечно, неправильным. Справедливо в нем лишь то, что Кутузов знал эфемерность кабинетных, бумажных планов, знал, что в грандиозных столкновениях масс неизбежны непредвиденные случайности, и старался не теряться перед лицом их и не позволить растеряться своим генералам. Поэтому он держался с философской невозмутимостью, показывая всем видом: «Все идет, как я предвидел». Но за этой внешней невозмутимостью скрывалась кипучая энергия.

Кутузов и Наполеон напоминали в день 7 сентября 1812 года двух борцов, застывших в тесном объятии, почти не двигавшихся, хотя каждый мускул и каждый нерв у них напряжен до крайности. Оба они знали, что, если удастся провести дополнительный маневр, дать добавочный толчок, это может иметь решающее значение для всей битвы. Но знали они и то, что неудача или

запоздание такого маневра чреваты роковыми последствиями, потому что, отвлекая часть сил на осуществление маневра, они ставили себя под угрозу быть разбитыми в ослабленном пункте.

Ни один из противников не имел решающего превосходства в численности. Если бы одна из сторон придерживалась тактики пассивного сопротивления, другая могла бы собрать «кулак» и попытаться нанести смертельный удар. Но обе стороны были в равной мере активны. Кутузов и Наполеон оба знали, что всякая переброска сил будет использована противником в своих целях. Наполеон опасался направить все резервы для развития достигнутого уже им успеха на левом фланге русских, ибо Кутузов мог прорвать его ослабленный центр. Кутузов не рисковал развивать успешные действия кавалерии Уварова на своем правом фланге — в свою очередь опасаясь прорыва центра.

Оба полководца перебирали в уме десятки различных вариантов, но, зная противника, были уверены, что тот сумеет найти противоядие, и потому предпочитали отказаться от этих вариантов. Они напоминали двух шахматных гроссмейстеров, видящих, что позиция на доске не содержит в себе, при безусловно правильной игре обоих партнеров, выигрыша; оба гроссмейстера уважают в противнике собственную силу, оба уверены, что противник будет избирать лучшие ходы, и потому они отказываются от попыток, которые могли бы увенчаться успехом против более слабого игрока. Их окружение не понимало этого. Если гроссмейстеры рассчитывали на двенадцать ходов вперед, их соратники вели анализ только на шесть ходов и потому советовали применить тот или другой вариант, не зная, что этот вариант уже рассмотрен и отвергнут, ибо на него может быть — а, значит, будет — найден, в конечном счете, удовлетворительный ответ.

— Всякая другая армия на месте русской была бы разбита и уничтожена к 12 часам дня, — сказал один французский генерал.

Наполеон напряг все силы своего таланта, войска его сражались не менее — а, может быть, более — храбро, чем обычно, но победы не было.

Не было даже значительного успеха. Хотя командные пункты переходили постепенно в руки французов, но боеспособность русской армии не уменьшалась, дух ее оставался на прежнем, необычайно высоком уровне, а потери французов были так велики, что исключали возможность продолжения массовых атак в прежних масштабах.

Это понимал Наполеон, не желавший лишиться последнего резерва — старой гвардии, которая воювала равно не могла бы совершенно сокрушить мощь русской армии. Э о понимал и Кутузов, еще лучше Наполеона знавший героические свойства русской армии, видевший штурм Измаила, научившийся у Суворова великому и простому искусству стоять до конца. И потому, когда даже такой храбрый и опытный генерал, как Барклай-де-Толли (искавший, к слову сказать, на Бородинском поле смерти, чтобы смыть горечь отставки), прискакал к Кутузову с заявлением о невозможности далее держаться, престарелый главнокомандующий, впервые выйдя из равновесия, яростно закричал, что ему лучше известно положение, что русские прочно удерживают позиции, а завтра разобьют неприятеля. Барклай не знал русских солдат так, как знал их старый суворовец. К тому же Кутузов понимал, что отступление во время боя чревато грозной опасностью, что французы бросят все силы для преследования, и отступление в этих условиях почти неминуемо станет беспорядочным.

Таким образом, роль Кутузова в сражении была очень велика.

Интересно, что даже в эти страшные часы предельного напряжения всех сил Кутузов в обращении с придворными придерживался всегданшего церемонного этикета. Когда он узнал о ранении Багратиона, он послал командовать левым флангом находившегося в его свите принца Бюртембергского. Тот, еще не доехав до места, прислал за подкреплениями. Кутузов болезненно поморщился, велел отозвать принца и вместо него послал Дохтурова. Но распоряжение об отозвании принца он не забывает сформулировать в том смысле, что не может-де обойтись даже часа без его ценных советов.

В четвертом часу дня французы овладели батареей Раевского, расположенной в центре позиции. Но боеспособность русских войск не уменьшилась. Обе стороны были до крайности утомлены невиданной по ожесточению битвой. Наполеон решил продолжить бой на следующий день, а пока отступил, очистив те несколько квадратных километров, за овладение которыми он заплатил такой страшной ценой: свыше 50 тысяч убитых и раненных.

Потери русских были почти так же велики. Первоначально Кутузов предполагал возобновить сражение на другой день, но, выяснив масштаб потерь, составивших почти половину русской армии, он приказал отступать, приняв на себя всю ответственность за оставление Москвы.

Не говоря уже о современниках, даже потомки Кутузова редко оценивают поразительную глубину кутузовской стратегии; Кутузов отдал одновременно два приказа: сдать Москву и отступать по Рязанской дороге. На первый взгляд это второе решение было нелогичным. Кутузов оставлял без прикрытия дорогу на Истрбург и дорогу на Калугу, в плодородные южные области. Но дело заключалось в том, что старый фельдмаршал, пробиравший дальнейший ход войны, был уверен в попытке Наполеона пробиться к Калуге. Он стремился прочно оседлать Калужскую дорогу, однако повернуть туда прямо с Бородинского поля он не мог, так как ему пришлось бы подставить французам свои фланги. Между тем Рязанская дорога, в силу природных условий, была защищена от фланговых ударов. Совершив марш по этой дороге и перейдя реку Москву, Кутузов круто повернул на Калужскую дорогу. Это было сделано так искусно, что Наполеон только через пять дней узнал о перемещении русской армии. Недаром Кутузов говаривал, что даже полудушка, на которой спит полководец, не должна знать его мыслей.

Отступление происходило образцово. Мюрат, выдавший на своем веку много отступлений, сказал Нему:

— Что же это за армия, которая после такой страшной битвы отошла в столь замечательном порядке?!

Мюрат лишний раз мог убедиться

в силе сопротивления отступающих. Он пригласил Наполеона ночевать в Можайске. Император приехал, и у него на глазах русский арьергард отбросил кавалерию Мюрата, так что ночевка в Можайске в эту ночь не состоялась.

Вряд ли нужно описывать дальнейшие, широко известные события. Первоначально сдача Москвы опеломила Россию. Кутузов знал, что это может деморализовать армию, но надеялся преодолеть все трудности. Даже ближайшние сподвижники отвернулись от него. Недаром, проезжая через оставляемую Москву, Кутузов велел проводить его так, чтобы никто не встретился ему. Но вскоре ход событий оправдал дальновидное решение Кутузова. 4 октября к Кутузову в Тарутино приехал Лористон, предлагая от имени Наполеона кончать войну.

— Кончать? Да ведь мы только начинаем войну,— ответил Кутузов. Как он и предполагал, положение французов с каждым днем ухудшалось.

18 октября французская армия покинула Москву и устремилась к Калуге. Кутузов преградил ей путь у Малоярославца и, в результате ожесточенного сражения, принудил вернуться на опустошенную Смоленскую дорогу. Александру I, еще недавно писавший Кутузову: «Вы еще обязаны ответом оскорбленному отечеству в потере Москвы, теперь присылаю ему любезные письма, но пребовал атаковать отступающих французов. Между тем Кутузов, понимая, что и без того Великая армия быстро распадается и гибнет от голода, холода и болотней, не хотел напрасно жертвовать русскими солдатами.

Он лишь заботился о том, чтобы преследование велось с неослабной энергией, чтобы неприятелю не дали передышки. Он вполне достиг этого. «Никогда преследование неприятеля в большом масштабе не велось так энергично и с таким напряжением сил, как в эту кампанию,— писал Клаузевиц.— В ноябре и декабре, после крайне тяжелой, напряженной кампании, среди снегов и льдов России... преследовать бегущего неприятеля на расстоянии 120 миль в течение 50 дней пред-

ставляет собой, пожалуй, нечто беспримерное».

Для характеристики трудностей преследования показателен тот факт, что из 110 тысяч человек, которые насчитывались в русской армии в начале преследования, до Вильно дошло только 40 тысяч человек: прочие остались позади в качестве больных, раненых или истощенных.

Вот, например, один из приказов Кутузова, датный осенью 1812 года: «...настают зима, вьюги и морозы. Но вам ли бояться их, дети Севера? Железная трудь наша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов, она есть надежная стена отчужества, о которую все сокрушается».

Все же русские несколько раз совершали частные операции, гоня отдельные французские корпуса. Под Красным Милорадович разбил один из лучших корпусов Наполеона, на реке Березине погибли многие тысячи французов. 12 декабря близ Ковно около тысячи сохранивших вооружение французов переправлялось обратно через Неман, да еще тысяч тридцать обмороженных, полуживых солдат Великой армии в разных местах пробрались в Польшу. Вся артиллерия и все имущество были брошены в снежных равнинах России. Сам Наполеон еще 6 декабря из местечка Сморгонь умчался во Францию, покинув разгромленные остатки своей армии.

В беседе с пленным французским офицером Пюибюском Кутузов однажды изложил основные принципы своей стратегии.

— Как скоро ваша армия оставила Москву,— сказал он Пюибюску,— я запер вам все те новые выходы, которыми вы хотели пробраться... Наша армия шла за вами, и одна ее часть подле взятого левого фланга не допускала ваших фуражиров отдаляться от дороги. Как пленных, так точно и вас вел от Вязьмы до Смоленска. От меня зависело истребить вас еще до прибытия в сей город, но я, уверенный в вашей гибели, не хотел жертвовать ни одним из своих солдат... Вот как мы, северные варвары, сохраняем людей. Бесспорно, у вас были прекрасные солдаты. Их мужество было достойно лучшей участи и лучшего начальника.

Кстати сказать, Кутузов, долгое время присматривавшийся к Напо-

леону, отлично изучил его. Показателем с этой точки зрения, ответ, данный им тому же Пюибиеску на его завершение, что Наполеон хотел зимовать в Смоленске, отложив до весны поход в Москву. Кутузов возразил, что французский император слишком привык к коротким кампаниям, чтобы оказаться в состоянии следовать такому образу действий.

— Нельзя думать,— сказал Кутузов,— чтобы он решился употребить два года на завоевание одного государства. Кто его знает хорошо, тот может быть уверен, что в его предприятиях не имеет места то, что требует времени, терпения и рассудительной медлительности.

Сам он был мастером этого рода вещей. Интересны слова, сказанные им Пюибиеску:

— Если бы Наполеон захотел продолжать свои завоевания далее за Москву, мы могли бы еще миль пятьсот уступить ему, но его силы истощились уже до Москвы.

При всем том Кутузов продолжал считать Наполеона военным гением. Когда один молодой офицер пошутил как-то над французским императором, Кутузов с необычайной резкостью сказал ему:

— Молодой человек! Кто позволил тебе так отзываться о величайшем полководце?

В декабре 1812 года русские войска перешли границу. Кутузов с обычным искусством руководил кампанией. Ночной атакой был взят Кенигсберг, обороняемый маршалом Макдональдом. Вскоре был занят Берлин, затем Лейпциг. Войска приближались к Франции.

Но Кутузову не суждено было ступить на территорию неприятеля, изгнанного им из русской земли. Он занемог. Ему было уже 68 лет, организм его был обессилён невероятным напряжением последних месяцев.

Когда престарелый главнокомандующий лежал на смертном одре, к нему приехал Александр I. Теперь уже можно было судить о том, кто был прав: Кутузов ли, или Александр, постоянно вмешивавшийся в его распоряжения, заставлявший его жертвовать жизнями русских солдат в угоду иностранным союзникам.

— Прости меня, Михаил Илларионович,— произнес Александр.

— Я прошу,— ответил умирающий,— но простит ли Россия?

28 апреля 1813 года, в маленьком немецком городке Бунцлау, Кутузов скончался.

История показывает, что всякий раз, когда великому народу угрожает серьезная опасность, он находит в себе силы отбить занесенный удар, а из среды его выходят люди, как нельзя лучше отвечающие требованиям момента. Кутузов был одним из таких людей.

Полководческое искусство Кутузова представляет собой образец презвского и правильного учета обстановки. Если Суворов действовал в эпоху наступательных войн, которые Россия вела на чужой территории, то Кутузову приходилось вести в большинстве случаев оборонительные войны. Это требовало соответственно иной тактики. Кутузов как нельзя лучше справился с этой задачей. Он умел быть мудрым и осторожным, умел терпеливо ждать. По когда наступал благоприятный момент, он наносил удар со всей смелостью и решительностью.

Еще современники Кутузова поражались дальновидностью его действий. Временные неудачи не смущали его, частные успехи не прилекали. Перед ним всегда была конечная цель: выигрыш всей кампании, и он шел к этой цели сложным путем, прибегая то к выдержке, то к маневру, ища решения и в сложных передвижениях войск и в нужный момент,— в открытом бою.

Имя Кутузова — символ стойкости и мужественной решимости. Сказанные им 130 лет назад, в день Бородинской битвы, слова: «Стоять насмерть» стали лозунгом, который вдохновляет сейчас героев великой отечественной войны.

Советское правительство учредило орден Кутузова первой и второй степени. Этот орден дается высшему командному составу армии за искусное осуществление вынужденного отхода крупных соединений, с сохранением полной боеспособности и одновременно изматыванием врага, за исключительное упорство в удержании позиций и т. д.

Командир Красной Армии, грудь которого будет украшена орденом Кутузова, будет признан достойным учеником замечательного русского полководца.

Н. КОМОВСКАЯ

СКАЗКА В ГОСПИТАЛЕ

(Опыт работы со сказкой в госпитале)

I

— Не хотите ли послушать сказку?— с таким вопросом обратилась я однажды к бойцам в госпитале, куда я ходила читать газеты и писать письма раненым.

— Сказку?— переспросил удивленно один из них.— Вы и сказку можете?

— Конечно, могу.— засмеялась я и коротко рассказала им о своей профессии и о моем любимом сказочнике Михаиле Ананьевиче Сказкине, от которого я записала немало хороших сказок.

Бойцы слушали внимательно.

— Ну, давай сказку!— сказал решительно один из них, по фамилии, как я после узнала, Меркулов.— Послушаем! Смерть сказки люблю! На фронте— там, конечно, не до сказок было! А дома, бывало, слушаешь, слушаешь, так до петухов! Верно!

А другой, Демидов, укладываясь неудобнее, лишь попросил:

— Подлинней которую, чтобы до сна хватило!

Остальные молчанием подтвердили свое согласие.

Я прочла им сказку об Андрее Стрельце, очень им понравившуюся, и с этого дня сказки вошли прочно в госпитальный быт.

С маленькой палатой у нас завязалась большая дружба. Бывало, ходячие больные бродят по коридору, заглядывают в палаты, заходят и к нам.

— Послушайте вы сказку!— предлагаю я им.

Но Меркулов недоволен:

— Ходит какие-то, сами не слуша-

ют и другим слушать не дают! Им что? Пришел, дверью хлопнул, ушел! А сказка порядок любит! Ее без толку не сказывай, без толку не слушай!— И он без церемонии выпроваживал заходящих, крича им с постели:— Тут люди делом занимаются! А вы что? Проходите, проходите, в коридоре места много!

Я смееялась, протестовала, разъярялась, но должна была уступить. Уж слишком ревностно относились мои слушатели к процессу сказывания сказки, слишком уважали сказку и все, с ней связанное.

Кроме Меркулова и Демидова, в палате был еще боец Яхрименко, койка которого находилась поодаль. Обыкновенно он лежал молча и молча слушал, иногда даже с закрытыми глазами. По лицу его я никогда не могла определить во время чтения, нравится ему сказка или нет. Но каждый раз, когда я уходила домой, он говорил:

— Вот спасибо за сказочку! И руке полегшало, и грудь словно не ломит! Завтра придете аль нет?

Через несколько дней ко мне пришел делегатом один из холячих больных соседней палаты с просьбой «зайти к ним со сказкой». Я согласилась. Это вызвало неудовольствие Меркулова.

— Теперь к ним переметнешься?— грустно спросил он. И на мои уверения, что их я не оставлю, заметил:— Ну да, знаем! За двумя разве угнаться?

Особенно мне запомнился боец Борисенко, украинец лет сорока пяти. Живой, насмешливый, веселый, не-

взирая на боль в переломанной руке, он встречал меня приветливой улыбкой, спрашивая:

— Вы сегодня у нас, ай к «ним» спешите?

И, узнав что спешу к «ним», то есть в соседнюю палату, мрачнел, делался неразговорчивым и сказку слушал как-то неодобрительно. Зато если я отвечала, что к «тем» не спешу, он сразу укладывался поудобнее, просил свернуть ему папиросу, пожимивал на соседей, чтобы прекращали разговоры, и командовал мне:

— Давайте которую подлиннее! Руку чтой-то ломит. Со сказкой легче!

Вот эти слова: «со сказкой легче» я потом слыхала не раз. Они-то и вливали в меня бодрость, уверенность в необходимости начатого дела, силы читать сказки по три-четыре часа подряд.

Обычно читала я сидя между Борисенко и Кулаковым, бойким молодым пареньком лет двадцати трех. Записованная рука заставляла его лежать неподвижно. Он был непоседа, и это было для него мучительно. Рука болела, он потихоньку ругался, пробовал вставать, но снова должен был ложиться, не находя себе места. И вот сказка пришла ему на помощь, как некоторое отвлечение. Слушая ее, он порою забывал и про боль, а иногда даже громко смеялся или негодовал. Нравилось ему все больше сказки новеллистические, о супружеской измене и верности, с любовными приключениями, романтическими коллизиями, авантурными эпизодами. Борисенко же любил, напротив, сказки волшебные, со спокойной развивающимся, хотя и неожиданно фантастическим действием. Происходили споры, какую сказку читать. Каждый предлагал свою. Мнения разделялись. Степанный Синявин, лежавший справа от Борисенко, и его сосед Борисов держали сторону Борисенко. Кулакова поддерживал его сосед Дурачков, тоже молодой парень, и лежавший поодаль бледный Кафтанов, вечно с книгой в руках. Я читала и для тех, и для других.

И вот, бывало, читаешь, читаешь и не знаешь никогда, слушает меня или нет еще кто-нибудь, кроме близлежащих. Напротив сержант закрылся с головой простыней. Справа

лейтенант лежит на боку, спиной ко мне. В глубине палаты высокий боец Сутулов охает от боли в плече. «Бедняжка, — думаю о Сутулове, — не дает рука ему слушать!» А о лежащих и не реагирующих на сказку стараюсь угадать, мешаю я им, или они меня попросту не слышат. Мучаюсь вопросом: перестать читать или, наоборот, выбирать сказки поинтереснее? Изредка бросаю взгляды на неподвижно лежащих под простыней — ожидаю, не скажет ли кто! «Перестаньте!» или: «Читайте!» Ни звука, ни шороха, ни намека.

Но случалось и так.

Читаю. Среди моих слушателей один «простынный». Читаю негромко, решив, что он спит. Заканчиваю сказку и обращаюсь к палате с вопросом: «Хотите еще?» Как вдруг из-под простыни голос:

— Давайте, давайте!

А то, бывало, лежит кто-нибудь с закрытыми глазами: не то спит, не то дремлет. Начинаю читать вполголоса, чтобы не мешать ему, а мне говорят:

— Вы что тихо читаете? На него не смотрите — не спит он. А что глаза закрыты, этак слушать способней!

Что с закрытыми глазами «способней» слушать, мне говорили не раз, а из «простынных» слушателей рассказывали мне после, что и они не пропускали чтения сказок. «Просыпаемся, — говорили они, — слышим, кто-то читает. Прислушиваемся — интересно. Послушаем немного. А сон клонит, опять заснешь! Проснешься — опять читают. Опять послушаем. И так без конца».

То, кому боль не давала слушать, все же уснаивали кое-что в светлые промежутки, когда боль временно отступала. Тот же Сутулов, который ранее без конца подзывает к себе няню или меня, прося поправить ему руку или перевернуть на другой бок, встретился мне много времени спустя в коридоре, после вечера для выздоравливающих.

— Сестрица, — воскликнул он, увидя меня, — вы ходите еще к нам?

— Хожу, — отвечала я, — а вы где теперь?

— Да на этом этаже. Заболит со сказочкой. Смерть как скучно! Все бывало, сказочку слушаешь, а те- перь и того нет.

— А вы разве слушали?— удивилась я.

— А то как же! Как плечо отпустит, так и слушаешь. Плечо уж больно захватывало, а то разве от сказки отстанешь?

Не всегда, однако, сказка являлась желанным гостем больного. Поредко сказка привлекала его лишь в тяжелый период болезни, а затем интерес к ней постепенно исчезал.

Попала я к лейтенанту Х., тяжело раненному в правую руку. После мучительной перевязки он лежал неподвижно, тихо стонал. Хочу уйти, не пускает:

— Так легче, сидите.

Начинаю говорить о пустяках, чтобы отвлечь мысли от болей, предлагаю рассказать сказку. Несколько удивленный, он согласился. Обстановка для рассказываний была сложна: раздробленный локоть лейтенанта давал о себе знать жесточайшими приступами боли, поврежденные пальцы содрогались от малейшего неосторожного движения, шороха, стука. Лейтенант все время следил за мною, заранее предупредив о необходимости быть осторожной. И я приучилась рассказывать сказки тихим полуполотом, не двигаясь с места. Раненый слушал меня внимательно, просил рассказывать подольше. И так продолжалось все время, пока он был прикован к постели. Но стоило ему начать ходить, брать в библиотеке книги, как его интерес к сказке исчез и больше не возвращался.

В противовес ему выступает в моей памяти фигура бойца, пожилого, лет сорока пяти — пятидесяти, Петра Григорьевича (фамилии не помню). С первого моего появления в палате он стал ревностным моим слушателем. Сам он читал плохо, поэтому или слушал меня, или просил соседей почитать ему. Бывало, спрошу, давая сказку:

— Вы, Петр Григорьевич, такие сказки знаете?

— Какую знаем, какую нет, — отвечал он. — Да так не расскажем, уж больно хорошо они, мудрено сложены!

Частенько заходила я к Петру Григорьевичу и перечитала в его палате сказок немало. Но вот Петр Григорьевич стал поправляться, наряду с ним появились другие больные, более слабые. Я перешла со сказкой

к ним, и к Петру Григорьевичу почти не ходила.

Сижу я как-то вечером в одной из палат, рассказываю о богатыре Илье Муромце. Вдруг дверь тихонько открывается, входит Петр Григорьевич, молча садится и слушает. Прослушал всю до конца и ушел. На следующий день повторилось то же самое. С тех пор, как только он узнавал, что я в госпитале, он разыскивал меня, где бы я ни была, входил в палату и слушал сказку второй раз, третий, пятый, восьмой. Так продолжалось долго, пока его не выписали из госпиталя.

Познакомилась я с политруком Е. Читал он сказки с увлечением, про себя и всей палате вслух. Сосед его, старший лейтенант Ф., тоже любитель сказок, всегда говорит мне:

— Вы только оставляйте нам все, что у вас есть. Уж мы тут разберемся!

И действительно «разбирались», да так, что я не успевала им сказки носить. Бывало, принесу одну, две, а на следующий день уже слышу:

— Сестрица, а сказочки где?

Политрук даже обижался:

— Чужим носите, чужим читаете, а мы что? Хуже, что ли? Коли не читаете, так носите почаще!

Одним раз подхожу к их палате, слышу за дверью читают. Ну, думаю, войти не буду, чтобы не мешать. Взгляну одним глазом и уйду!

Открываю тихонько дверь: политрук читает вслух, с выражением отчеканивает каждое слово. Кругом тишина. Вглядываюсь — все спят! А он и не замечает! Оказывается, читает уже давало.

— И когда они заснули?— удивляется он. — Только, вот разговаривали, смеялись над Иваном, и вот нате-ка — спят!

Он был озадачен, я смеялась. А после заснувшие оправдывались:

— И сами не помним, как заснули! А как сладко спалось!

Должна сказать: под сказку засыпали нередко. Но это не обескураживало меня: я знала, что имею дело с людьми больными, физически еще неокрепшими, что главное для их поправки — это сон, сон здоровый, спокойный. Именно таким сном они и засыпали под звуки сказочной, мерно звучащей речи. Зато, окреп-

мув, эти же больные становились самыми внимательными слушателями.

Я вспоминаю Ивана Епифановича Елкина. Первое время более пятнадцати минут он слушать не мог. «Притомился, сестрица», — обычно говорил он, как бы извиняясь. И засыпал. Так было недели две. А после, начав выздоравливать, он уже сам просил меня:

— Не почитаете ли сказочку, коли время есть?

В соседней с ним палате лежал другой боец, Степан Ильич, не только страстный любитель сказки, но и деспотично ревниво относящийся к ней. И тот и другой хотели слушать меня ежедневно, а времени было мало. Как быть? И я нашла выход: открыла двери обеих палат и читала сидя в дверях. Впрочем, читала больше Степану Ильичу, так как Иван Епифанович первое время, как я говорила, был слаб. И вот, выздоравливая, Иван Епифанович начал все чаще и чаще зазывать меня к себе. Тогда Степан Ильич стал ворчать:

— Все к нему, да к нему, когда же к нам?

И требовал, чтобы я приносила сказок как можно больше.

Узнав однажды, что у меня с собой только три сказки, он махнул безнадежно рукой:

— И до ночи нехватит! Что хоть делай, хоть вешайся! Сказок нет!

— Степан Ильич, завтра еще принесу, — пробовала я утешить его.

— Завтра? — мрачно говорил он. — А до завтра что делать? Нет, ты нам вечер отдай, вот это сказка будет! Всем сказкам сказка! А то три сказки! Да разве это дело?

Сам он читать не мог. Но в палате их был «чтец», боец-художник М. Ему-то я передавала все сказки, зная, что они будут прочитаны, и прочитаны хорошо.

Обычно М. сидел на койке и рисовал. Соседи его, и все больные с этажа, узнав, что он художник, не давали ему покоя, прося их изобразить. И он рисовал всех без конца. Вся койка его была покрыта рисунками. Рисунки были на тумбочке, в ящиках, под подушкой. Руки его были всегда измазаны в красках и туши. Он нарисовал, я помню, «Смерть Гитлера», «Встречу Гитлера с Наполеоном», «Конец державной оси» и т. д. Нарисовал он также иллюстрации к моим сказкам «Жар-

птица» и «Ерусалан Лазаревич». Большие, в лист величины, рисунки эти в красках так понравились больным, что переходили из рук в руки и, наконец, исчезли, увезенные кем-то.

Лежали в палате напротив два старших лейтенанта, один из них с орденом Красного Знамени. Читали они много книг, которые я им то и дело меняла. Про сказки я им ничего не говорила. Зайду, побеседую на разные темы, принесу новые книги и иду. Однажды они спросили меня:

— А где же сказки?

— Какие?

— Да ведь вы читаете, уж мы знаем!

— А откуда?

— Кругом говорят. Так вы что же? Всем читаете, а нам нет?

Пришлось читать и им. И все время, пока они не стали на ноги, слушали они сказки, также первое время засыпая от слабости.

Случайно разосея газету «Красная звезда», попала я в так называемую «командирскую» палату, где были исключительно врачи, инженеры, комиссары, старший командный состав. О сказке они заговорили с интересом, но не без иронии.

— Сказку? Прекрасно! Голова отдохнет, — отозвался на мое предложение почитать сказку врач Л., по жилкой, хорошо владеющий пером, как я после узнала, сотрудничающий в медицинских журналах.

— Сказку? Это дело! Мы сейчас только сказки и можем слушать. мозги не варят! — заметил инженер В.

А молодой комиссар, лежавший на койке с письмом в руке, вскочил: «Вот чудно! Сказок я никогда не слышал! Читайте!»

— Хорошо, — сказала я, — сказки я вам почитаю. Но вижу, к ним у вас какое-то предвзятое отношение. Давайте я буду читать первые пятнадцать минут. Понравится сказка — буду продолжать. Не понравится — чтение прекращаю без обиды. Согласны?

— Согласны, согласны! — закричали все.

— Сеня, дай стульчик, — обратился к комиссару.

— Сестра, садитесь, — предложили мне.

Стул придвинут, лампа ввернута, все легли поудобнее, и я начала читать.

Читаю десять минут. Посматриваю искоса на своих слушателей. Вижу, на лицах внимание. Прерываю сказку и шарочно на самом интересном месте.

— Что же вы стали?— кричит комиссар.

— Прошло пятнадцать минут,— говорю я, лукаво улыбаясь.

— Что же, я думаю, чтение можно продолжать,— решает врач Л., как бы взятый на себя руководство чтением.

— Продолжайте, продолжайте!— кричат остальные.

Участь сказки решена. Я дочитываю ее до конца.

Иронических улыбок теперь я уже не вижу.

— Откуда эта сказка?— допрашивает меня врач.— Где вы ее записали?

Рассказываю подробно.

— А еще почитаете?— спрашивают меня.

— Нет, лучше завтра.

— Ну, хорошо, завтра,— соглашаются с неохотой.

Но я не попадаю в эту палату ни завтра, ни послезавтра. Мы встречаемся лишь через неделю. Меня встречают радостными возгласами.

— Все-таки пришли! А мы думали, вы уж больше не зайдете!— говорили одни.

— Товарищи, не мешайте, время дорого! Давайте слушать,— останавливали их другие.

— Да у меня нет сказок!— пробовала отговориться я.

Но они только молча указали на папку со сказками. Мне пришлось сдаться, читать им снова! На этот раз я выбрала сказку героическую, про Илью Муромца, прослушанную с наименьшим вниманием, а затем я стала и в этой палате постоянным поставщиком сказок.

Для наблюдений и выводов палата была исключительно интересной. Сказки подвергались здесь строгому отбору и критике не только по содержанию, но и по стилю, языку, форме. Все сатирические, юмористические были отвергнуты. Новеллистические вызвали большие споры смешением городских и деревенских черт, изменением психики и внешнего образа героев, разноречием стиля. Предпочтение отдавалось сказкам богатырским, про Илью Муромца, Еруслана Лазаревича, Бову Королевича, затем волшебным, самый сюжет ко-

рых нередко привлекал внимание, и, наконец, бытовым.

В этой палате читала я даже свою статью о Сказкине, выбирая те места, где говорилось о его творческом лице и бытовом окружении. Здесь обсуждался вопрос и о творчестве других сказочников и о фольклоре вообще, его судьбах, измененных условиях его бытования, и т. д.

II

Захожу как-то в одну из палат, наиболее для меня «трудных», так как обитатели ее, люди в достаточной мере с литературой знакомые, иронически относятся к сказке. Несмотря на это, скорей даже именно благодаря этому, я не бросаю чтение сказок в этой палате, а стараюсь постепенно преодолеть предвзятость создавшегося о сказках мнения. Вижу у майора И. в руках се ребряный портсигар, на задней стенке которого прекрасно вырезан смеющийся фавн.

— Это ваш?— спрашиваю.

— Нет, полковника.

— Но рисунок ваш?

— Мой.

— Вы, верно, и рисовать умеете?

— Конечно.

— Сделайте мне иллюстрации к сказке, какой хотите.

— Я-то сделаю, да вы недовольны будете!

— А что?

— Я могу дать только сатирические.

— Хорошо, давайте сатирические,— согласилась я.

Майор рассмеялся:

— А что, если я изображу Андрея Стрельца, вашего любимого героя, в самом жалком положении: летит он на птице, ноги волочатся по земле, сам он не в силах держаться, вот вот упадет?..

— Рисуйте, как хотите!..

— Хорошо!— согласился майор.

Через несколько дней рисунки готовы. Но где же сатира на Андрея Стрельца? Вот он, традиционный сказочный богатырь, летит на волшебной птице, чтобы выловить у рыб и гадов морских, где находится «то, не знай что». Вот его верная помощница, ведьма, сидит на ступе в зайчьем тулупе; ступа под ней, как добрый конь, разъезжает, помелом она след замает. Вот царь требует от министра, имевшего неосторож-

ность показать ему красавицу Софью, уничтожить мужа ее, Андрея и т. д.

Спрашиваю:

— Где же ваши карикатуры?

Майор смеется:

— Пожалел сказку, дай, думаю, нарисую как следует.

Слушателем майор был очень оригинальным. Он не столько следил за развитием сюжетной линии сказки, сколько за влиянием ее на окружающих, искренне радуясь, когда какой-либо поворот сказочной фантазии или непредвиденная развязка ошеломяли слушателя.

Странное дело, однако: сатирические сказки он не очень любил, предпочитая им все-таки волшебные. И это было типично для целого ряда лежачих больных. Правда, сатирическая сказка возбуждает смех, она развлекает, равно как и сказка юмористическая. Но по своему малому объему, сконцентрированности действия, скупому изложению событий она звучит выигрышнее с эстрады, где анекдот, скэч, короткий стих, кусок поэмы более приемлемы и более имеют шансов на успех.

Сказка играет среди больных различную роль: нередко мало читающий боец, отнюдь не склонный к литературе, интересуется сказкой из-за волшебного, сложного сказочного действия, бесконечного развития приключений, словом, из-за всего того, что давало широкий простор для фантазии, выдумке. Его влекло к сказке «чарование сладких вымыслов», сила «цветистого домысла» (Горький). А значение этого, как мы знаем, велико.

Я помню целый ряд таких больных. Вот мечтательный лейтенант Ф., совсем еще мальчик, ему не больше 20—22 лет. Он слушает молча, высоко подняв раненую руку, держа ее неподвижно над головой. Вот пожилой, вылавший виды боец А., веселый, превратившийся в слух при рассказывании волшебной сказки. Он как бы боится неосторожным движением спугнуть фантазию, нарушить очарование. Вот веселый, жизнерадостный сержант Л., искренне переживающий все злоключения Иванушки и радующийся благополучному исходу его похождения, и т. д.

Но кроме фантастических, в большом ходу были сказки богатырские и наравне с ними сказки про Степа-

на Разина и его удалых молодцов. Некоторые слушатели после сказок о Степане Разине с трудом переходили на волшебные, почувствовав все очарование и аромат сказок историко-богатырских.

Но вот я читаю сказки о Чапаеве, Ворошилове, Щорсе, Буденном из книги «Чапай», «Творчество народов СССР» и «Красноармейского фольклора». Сразу картина меняется. Слушать и читать эти сказки очень легко. Они образны, близки современности, коротки. Но именно эта краткость их часто вызывает недоумение.

— Только прислушаешься, уже конец, — ворчит недовольно боец Н. — Есть ли каких подлинней? — спрашивает Кафтанов.

А сосед его, боец П., говорит прямо:

— Неужто подлинней сложить не могли? Про старину вон какую сложили, не переслушаешь. А про наших что же?

И мне приходилось рассказывать об особенностях современного фольклора.

Особый интерес вызывали сказки новеллистические, к которым имели склонность не только молодые бойцы. Лирически-любовный элемент этих сказок обеспечивал им общий успех. Очень понравилась бойцам «Пичужечка» — типичная новеллистическая сказка про двух братьев, мать которых, купчиха, чуть не погубила своих детей из-за прихоти своего возлюбленного. С большим вниманием выслушивали сказку об Елене Прекрасной, которая, вопреки всем сказочным традициям, оказалась весьма изменчивой особой, пытавшейся насмеяться над простодушным Иваном и в конце концов ставшей жертвой своих же коварных замыслов.

Изменение традиционного характера героини вызывало, однако, некоторое недоумение слушателей.

— Как это так? Елена прекрасная чудо-девица, а вдруг вытаскивает ковер-самолет из-под Ивана, завладевает его шапкой-невидимкой и улетает на ковре? Где же облучное для волшебных сказок развитие действия? — говорили мне больные, уже искушенные в сказочной «премудрости».

Не меньше возражения вызывал и язык сказки в тех случаях, если он

воспринимал выражения и обороты современности.

Меня подзывает к себе товарищ Ш., лейтенант-орденоносец. Спрашивает строго:

— Прочел вашу сказку. Хороша. Но откуда вдруг такие выражения: «экстренно», «павильон», «километр»? Это вы от себя?

— Нет,— говорю,— это влияние современности на язык сказки.

— А зачем не вычеркиваете? Раз-ве это меняет суть?

И пошел разговор на тему о редактировании сказки, об осторожном подходе к языку ее. Нас обступили. Беседа приняла более широкий размах. Много было сказано за и против пестроты языка, «осовременивания» сказки и пр.

Захожу в палату к капитану В., которому не раз читала сказки. Сам читать их он не любил, но слушал их с удовольствием. После чтения одной из сказок он неожиданно нападает на меня:

— Испорчена сказка.

— Да чем?

— Вот этими новыми словечками. Вы плохо редактировали, что ли?

— Нет, нарочно оставлена так, как рассказано. Это дает представление об эволюции старой сказочной речи под влиянием современности.

— Нужно ли? Как вы думаете?

И снова длинная беседа об особенностях речи современных сказочников, о невольной пестроте сказочного стиля, о внедрении современности в сказочный традиционный быт и т. д.

Нередко чудесные свойства волшебных образов и предметов вызвали ассоциации с современностью.

«Вот бы этой дубинкой Гиглера по голове!» — говорили больные при упоминании о драчун-дубинке, избивающей насмерть злобного колдуна. «Подкрался бы в такой шапке к фашистам, сгреб бы всех в мешок да и айда к своим!» — восклицали они при рассказывании о появлении Ивана-богатыря в чудесной шапке-невидимке. «Вот бы мне такое колечко: повернул — и мигом дома, посмотрел своих, снова повернул, и опять на фронт — вой до победного», — мечтает боец при повествовании о волшебном золотом колечке, обладающем свойством исполнять желания его владельца и т. д.

Многие слушатели, познакомившись с героями русского эпоса, вы-

ражали желание познакомиться также с героями эпоса национального и иностранного.

Приношу полковнику С. русские сказки. «А нет ли у вас татарских?» — озадачивает он меня вопросом. Неродю был спрос на сказки турецкие, армянские, азербайджанские. Вообще интересы больших были очень разнообразны. Военврач С., по происхождению крымский татарин, с удовольствием читал «Ахмет-Ахай» и легенды о Наср-Эддине, найдя много для себя интересного в знакомых ему деталях татарского быта.

И наоборот, часто человек, хорошо знающий свою национальную литературу, хотел ознакомиться с русской. Так было с бойцом Ф., армянином по национальности. Чтобы заинтересовать его, я ему начала читать армянские сказки. Он не удовлетворился этим и просил дать ему сказки русские. Майор Н., хорошо знакомый с западной литературой, заинтересовался сказками братьев Перро, Гримм, а потом перешел к Андерсену. Врач же С., живший последнее время в Алма-Ата, не хотел читать никаких сказок, кроме русских, и т. д.

Чтение сказок будило творческую активность самих больных. «Красноречия нехватает оформлять, а то бы и я сказал», — не раз приходилось мне слышать от бойцов.

Однажды один из моих слушателей прямо предложил мне:

— А может, от меня сказочку запишете? Давно хотел сказать вам, да все не подгадывал никак: то вам ровно некогда, то у меня ее из памяти вышибет. А теперь, как полегше стало, могу всю пересказать.

Два вечера записывала я от него сказку под названием «Прекрасна» Алена». И оказалась она чудесным вариантом сюжета о Портупей-прапорщике, вариантом, почти не испорченным городским влиянием и новеллистическими наслоениями. По том я стала ее рассказывать в госпиталях лежачим больным, среди которых она имела всегда большой успех, как занимательная любовно-лирическая сказка с типично волшебной ситуацией. «Знатная сказка», — говорили о ней часто.

Или бывало и так: кто-нибудь из раненых неосторожно замечал во время чтения или рассказывания:

— Я это слышал.

— Ты что сказку перебиваешь?— говорили ему.— Отрывки какие-то знает и туда же лезет! Подожди, дай людам послушать, а после бор-мочи!

— А может, он действительно слы-хал эту сказку?— заступалась я за него.

— Где ему слышать? Собрал от-рывки и думает, вся сказка тут! Нэт, ты послушай да разумом пораскинь, а потом говори.

И раненый сконфуженно замолчал, давая мне возможность бесприсят-ственно рассказывать сказку до кон-ца. А послю я все же подсаживалась к нему, и у нас подымался разговор о том, так ли он эту сказку слышал, не было ли в ней чего-нибудь иного и т. д. Опять рассказывался вариант сказки. И обычно услышанный мной вариант несколько отличался от пре-дыдущих, уже известных.

III

Однажды ко мне обратился врач одного из госпиталей:

— Не зайдете ли к товарищу В.? Что-то он мне не нравится: неразго-ворчив, лежит, мало читает, угрюм. Может, сумеете для него что-нибудь подобрать позанятнее?

Я стала придумывать, что могло бы подойти в данном случае. Вы-брала несколько сказок. Встречаюсь с В. Начинаю обычный разговор, на-щупывая осторожно почву, узнавая, что он любит из литературы, может ли сейчас сам читать или предпочи-тает слушать и т. д. От разговоров о литературе переходим к театру. На-чищаем перечислять виденные им по-становки. Затем переходим к кино. И в разговоре В. неожиданно назы-вает среди картин, наиболее ему по-правившихся, «Василису Прекрас-ную».

— Чем же она вам понравилась?— спрашиваю.

— Хорошо «чудеса в решете» сде-ланы. Правда, местами уж очень видна бутафория, а в общем занят-но. Смотришь, а сам думаешь: ре-жиссер, видно, долго эти штуки об-мозговывал.

— А вы со сказками знакомы?

— В детстве читал. С тех пор не прихожусь. Не к чему!

— А что, если я вам сказку почи-таю? Возражать не будете?

— Если почитаете, послушаю.

Начинаю ему читать про походе-ния Ивана-богатыря.

— Нравится?— спрашиваю.

— Слушать можно — говорит. — А еще есть?

Читаю про жар-птицу, Иванушку-дурачка, Португей-прапорщика, не-верную жену. Нарочно беру различ-ного типа сказки, чтобы посмотреть, что получится. Убеждаюсь, что свое-образие сказочной речи, образов, сю-жетного стержня вызывает интерес у больного. Я стала заходить к В. каждый раз, когда бывала в госпи-тале, приносить ему книги для чте-ния. Прошло около месяца. Прибли-зился срок выписки В.

— Ну, как мой больной?— спраши-ваю доктора.

— Хорошо, жаловаться не могу.

Вскоре мы расстаеться с В. в са-мых дружеских отношениях.

И вот что интересно: выслушав от меня более десятка сказок, агитируя своих товарищей по палате за сказ-ку, он сам ни за что не хотел чи-тать их.

— Терпенья хватает, — призна-вался он откровенно. — Слушать еще могу, а читать — нет.

И я не настаивала: в данном слу-чае важно было не пропагандиро-вать сказку, а использовать ее в ка-честве подобного лечебного сред-ства.

Бывали случаи и в другом роде. Вхожу в палату. Больных не знаю вижу в первый раз. Здравуемся. Начинаю разговоры о газетах, кни-гах, кино и пр. Вижу, один хочет писать письмо, ему трудно — раненая рука не дает. Предлагаю помочь. Он диктует:

Любимый листок,
Лети с запада на восток,
Сядь любимой супруге нашей,
И папаше,
И родной мамаше,
Сядь тихонько на плечи
И скажи им про меня подробно
речи.

— Что это?— спрашиваю. — Откуда Сам сочинил, или слышал где?

— А он у нас завсегда так склал-но говорит, — вмешивается в разговор другой боец. — Уж мы над ним сме-емся: ты бы сказочником, что ли, заделался!

— А вы и сказки знаете?— обра-щаюсь к нему.

— От сказок не откажемся, — отвечает он.

Оказался большим любителем и мастером сказки. И пошел у нас долгий разговор, а потом начались сказки. Он рассказывал, читала и я. К сожалению, его сказок записать не удалось. Его скоро эвакуировали.

IV

В одном из госпиталей мне попадает навстречу мальчишка лет двенадцати с взъерошенными волосами, весь в веснушках. Рука на перевязи, лицо смеющееся.

— Что ты здесь делаешь?

— Лечусь.

— Читаешь или все балуешься?

— Не люблю читать. Некогда.

— Вот как! — удивляюсь я.

Вижу, мальчик смысленный, только палун большой.

— Ну, а сказки знаешь?

Он презрительно оттопыривает нижнюю губу:

— Сказки? Что я, маленький?

— А меня, вои, и большие слушают, — говорю я, указывая на больших.

— Ну и пусть слушают, а я не хочу, — твердит он упрямо.

— Это наш герой, — говорят мне больные, — винтовок нам в полк натаскал сколько, страсть! Вот только балуется очень.

Я решила внушить мальчику любовь к сказке, и когда встретила его в следующий раз, опять завела о сказке разговор. Он милостиво согласился выслушать. Я рассказала ему об Илье Муромце. Надо было видеть, как загорелись его глаза! Тогда я прочла ему про Ивана-богатыря и Светлану. Ему понравилась и эта. Вероятно, сказочная пропаганда моя продолжалась бы и дальше, но его перевели в детдом, и я скоро потеряла его из виду.

Нельзя обойти молчанием аудиторию, также тесно связанную со сказкой, — детскую.

С детством сказка неразрывна. И именно теперь, когда часть детей неожиданно соприкоснулась с самой жестокой действительностью, когда чужбное и милое детство многих было нарушено насильственным вторжением в него грубой руки фашистского варвара, сказка более чем когда-либо предьявляет свои права на существование.

Я пробовала рассказывать сказки

детям выздоравливающим, еще не вполне оправившимся от пережитых потрясений, физических и моральных. Рассказывала сказки детям, вывезенным из временно оккупированных районов. Рассказывала сказки и детям в детдомах, живущим в Москве и ее окрестностях.

И между интерес к сказке был громадный — и к сказке богатейшей, герои которой восхищают детей, и к сказке волшебной с ее мифом фантастики и вымысла, и к сказке бытовой, в которой обычные предметы и люди вдруг подчиняются сказочным законам необычности, и к сказкам сатирическим, высмеивающим устои прошлого, и к сказкам юмористическим, построенным на причудливой выдумке, неожиданном повороте фантазии.

Ребенок, побывавший на войне или около нее, первое время относится к сказке презрительно. «Маленький я, что ли?» — говорит он, подобно моему веснучатому знакомому. Но властная сила сказки увлекает его. Незаметно для себя он начинает к ней прислушиваться, в особенности если герои сказки богатырь, если он сражается с чудовищами, если перед ним стоит задача — освободить страдающего от притеснения злых насильников.

Я знала мальчика-героя. 12 лет, много сделавшего для Красной Армии в той деревне, где располагалась рота. Он многое видел, многое пережил, мечтал о дальнейших подвигах, о настоящей работе в армии. Детство как будто отошло от него. Взгляд его был не по-детски серьезен.

И вдруг он услышал от меня сказку, старую волшебную сказку о жар-птице и сером волке, такую обычную для всех детей и странно звучащую для него.

— Разве теперь рассказывают сказки? — наивно спросил он меня.

— Конечно, — ответила я. — А тебе хочется послушать сказки про наших героев?

И, не ожидая его ответа, стала рассказывать ему о Чапаеве, Ворошилове, Вуденном.

— Таких сказок я не слышал! — проткнул он недоумеваяще и быстро прибавил:

— Дайте почитать!

Я дала ему книгу «Красноармейский фольклор», в которой таких ска-

зок было немало. Через несколько дней книга была прочитана.

— Дайте еще! — попросил он.

Я достала ему сборник «Чапай» — сказки, легенды и сказы о Чапаеве. Он прочитал ее в несколько дней и попросил затем «что-нибудь сказочное». Принесла я ему сказки из тома «Творчество народов СССР». Он написал некоторые для себя в тетрадку.

Вскоре он уехал из Москвы. Что стало с ним — не знаю. Но думаю,

что знакомство с фольклором не прошло для него бесследно.

Работа со сказкой сложна и многогранна. Новые условия жизни создают ей новые условия бытования. Ознакомить раненых со всем богатством сказочного репертуара, поставить сказку на службу бойцу, командиру и политработнику, сделать ее средством не только развлечения большого, но и культурного его облуживания — вот наши ближайшие задачи.

Р. МИЛЛЕР-БУДНИЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

(О книге Н. Тихонова «Черты советского человека»)

В прекрасной языческой поэме-романе Ромэн Роллана «Кола Брюньон» есть такая сцена:

Чума охватила округ. Жители частью вымерли, частью разбежались в паническом ужасе. Брюньон остается один, всеми брошенный и забытый, на опустелых улицах, среди трупов и умирающих, сам пораженный смертельной болезнью. Но неистребимая воля к жизни не покидает его ни на мгновение. Он борется со смертью — и побеждает ее. Он остается в живых, чтобы очистить родную землю, этот цветущий плодоносный сад, от мертвецов, от мора, от гибели.

В грозные дни, когда коричневая чума охватила Европу и угрожает нашей стране, книга Николая Тихонова «Черты советского человека» звучит таким же подлинным утверждением жизни, призывом к мужеству и человечности.

Фашизм исповедует культ смерти. Он объявил войну всему живому, человечному. Для него единственный акт творчества — убийство; единственное искусство — пытки; единственная цель жизни — уничтожение, разрушение. Фашисты — подлинные рабы смерти. Они возвели в культ психологию могильщика и заплечных дел мастера. Недаром один из этих «идеологов» плахи и топора утверждает: «Мы, фашисты, говорим, что нас отделяет от людей,

живших до фашизма, мысль о смерти».

Советский народ, борясь с фашистскими мерзавцами, борется за жизнь, за радость бытия, за право свободно дышать и ходить по земле, смеяться и петь, и любить, работать и творить. Ибо мы любим жизнь кровной, неистребимой любовью и боремся за нее на фронте и в тылу, на заводах и на полях, в партизанских отрядах и осажденных городах. Наша ставка — ставка жизни против смерти. И мы победим, не можем не победить, потому что жизнь бессмертна.

Таким городом побеждающей жизни среди мрака осады, мора, голода и воздушной войны стал город Ленина.

Этот город задыхался в кольце блокады. Враг залег у самых его предместий, сеял смерть с высоты, стремился убить все живое.

И все же Ленинград не сдался. Он был и остался городом жизни. И самая дорога к нему, та трасса, которая была проложена ленинградцами, сквозь штормы, метели и льды Ладожского озера, недаром прозвана «дорогой жизни». Это имя останется за ней навсегда.

В книге Николая Тихонова перед нами вновь встают картины Ленинграда зимой 1941/42 года. Грозные ленинградские ночи, освещенные заревом пожаров, огнями прожекторов

и вспышками разрывов, наполненные грохотом канонады, визгом снарядов и надрывным воем сирен. Черные ледяные пустыни улиц, сугробы, напоминающие северное море в шторм, айсберги огромных зданий, обвалы разрушенных домов над засыпанными бомбоубежищами. Военные корабли вдоль тихих, пустынных набережных длиной вереницей тянутся через весь город. Засыпанные снегом, замаскированные под цвет зимнего неба и моря, они стоят, погруженные в молчанье и неподвижность, обратив на врага зияющие жерла многочисленных орудий; мы помним их языки зениток во время воздушных бомбардировок. В такие ночи кажется, что понимаешь язык камней Ленинграда, слушаешь переключку улиц и площадей, наблюдаешь как, словно часовые на постах, сигнализируют друг другу заводы, и видишь впереди, в железных ленинградских ночах тень Кирова.

Таким возникает перед нами на страницах этой книги осажденный Ленинград. Город-фронт, не знающий отдыха ни днем, ни ночью, весь изрытый окопами и щелями, оцетилившийся баррикадами, превративший свои площади в полигоны, улицы — в траншеи, дома — в ДОТы. Город-крепость, с ненавистью глядящий в сторону врага узкими врачками бойниц, пустыми глазницами разбитых окон.

Но прежде всего — это книга о людях города Ленина. Вот они бредут по заснеженным улицам, вдоль обледенелых стен, скупые на слова и движения, опираясь на палку, шатаясь от усталости и изнеможения. Глубоко запавшие глаза горят на черных от грязи, зеленовато-бледных опухших лицах, обмотанных от мороза тряпками до самого рта. Это те, кто вместе с Красной Армией отстоял город, без хлеба, света, огня и воды, кто стер границу между фронтом и тылом, кто обтачивал снаряды, тушил зажигательные бомбы, рыл окопы и строил укрепления, откапывал раненых из-под развалин и копал братские могилы. Что из того, что у маленьких детей старческие, морщинистые лица, что промерзшая вглубь земля тверже гранита и не поддается лому, что отекли ноги скруаны пынгой? Никогда среди мух, казалось бы, превышающих

силы человеческие, не оставляла этих людей огромная, несдающаяся любовь к жизни.

Вот эти люди ленинградских будней. Машинисты водили поезда под бомбами и пулеметными очередями фашистских стервятчиков. Женщины посылали мужей добровольцами на фронт и сами становились на их место у станков. Матери пробирались к сыновьям-красноармейцам на передовые позиции, на линию огня. Девушки подбিরали раненых на улицах под снарядами и сами падали рядом с ними. Подростки и дети днем помогали строить баррикады, а ночью дежурили на крышах во время тревоги.

Особенно выделяется в книге рассказ: «Рождение человека».

На перекрестке занесенной снегом улицы, глухой ночью, в лютый мороз, под вой снарядов, случайный прохожий помогает беременной женщине, застигнутой метелью и рожающей тут же, на обледенелом тротуаре. Ни телефона, ни кареты скорой помощи, ни врача. Ледяное молчание ночи прерывает слабый плач новорожденного. И вот уже истекающая кровью, измученная и счастливая мать через силу встает и плетется сквозь сугробы, спотыкаясь и падая, и за ней несут закутанного младенца. Они «идут как победители ночи, холода, канонады». Так жизнь побеждает смерть. И рождение нового человека, гражданина нового, счастливого мира — это проблема будущего в черной ночи осажденного города.

Вот другой рассказ — «Яблоня».

Поздняя ночь. Только что кончилась многочасовая тревога, и народ понемногу выползает из убежищ. Вместе с другими в толпе выходит художник, истерзанный бессонницей усталостью, нервным истощением, пыткой страха. Его возбужденный, воспаленный мозг лихорадочно работает. Творческое зрение, способность воспринимать краски и формы обострились. Перенапряженные нервы воспринимают все окружающее в новом, необычайном виде. Он выходит из мрака подвала на лунный свет и не узнает свой дом, свой двор, яблоню у фонтана. Внезапно мир предстает ему сказочно преобразенным, очарованным садом, в котором он жил до сих пор, как слепой, не видя его красоты. И он

слагит жизнь, неувыдающую, бес-
смертную, прекрасную жизнь.

«Он оглянулся и увидел город,
залитый фиолетовой колдовской лу-
ной. Прекрасный город вставал во-
круг него в неизмеримой, неповто-
римой красоте. Художник смотрел на
него, как будто родившись заново...
Как! Уехать из этого изумительного
мистра трасоты, героизма, труда, вели-
колепия? Разве отсюда уедешь? Ни-
когда и никуда! Этот город надо за-
щищать до последнего вздоха, до по-
следней капли крови, надо отбросить
от его стен врага, надо истребить его
без остатка, а уехать — нет, и когда!
И художник все стоял и смотрел и
не мог насмотреться и надивиться,
полный великой радости и гордо-
сти».

Этим чувством великой радости и
гордости за свой город, этой гордо-
стью ленинградца, человека и гражд-

данина! ~~проникнутое~~ книга одного из
лучших сыновей Ленинграда, Нико-
лая Тихонова.

И, какова бы ни была литератур-
ная незавершенность этих расска-
зов, зачастую носящих характер на-
броска, эскиза, черновой записи, все
же велика сила воздействия этой
книги на читателя, сила художе-
ственного слова, сказанного во весь
голос и в нужное время.

История знает немало героических
городов. Мы помним стены Нуман-
сии, отражавшей натиск легионов,
ворота Иерусалима, наглухо зам-
кнувшиеся перед врагом, удивные
бои Сарагоссы, баррикалы Мадрида,
бастiónы Севастополя. И мы, совре-
менники одной из величайших войн,
когда-либо переживавшихся челове-
чеством, можем завещать будущему
еще одно имя — город Ленина.

Редколлегия: *Вс. Вишневский, А. Дебах, В. Лебедев-Кучач, В. Лугов кой*
Е. Михайлова (отв. секретарь), *А. Нозиков-Прибой, М. Соколовский,*
Л. Тимофеев

Подписано к печати 5/X 1942 г. А61307. Тираж 30 000 экз.
Печ. л. 12. Уч.-авт. л. 18. Зн. в печ. л. 59 600. Цена 5 руб. Заказ 554

18-я типография треста «Полиграфкнига». Москва, Шубинский пер., 10.